

*НОВЫЙ
Журнал*



*THE NEW
REVIEW*

НЬЮ-ИОРК

Statement required by the Act of August 24, 1912, as amended by the Acts of March 3, 1933, and July 2, 1946 (Title 39, United States Code, Section 233) Showing the Ownership, Management, and Circulation of The New Review, Inc. Published Quarterly at New York, N. Y., for October 1, 1956.

1. The names and addresses of the Publisher, Editor, Managing Editor, and Business Managers are:

Publisher, New Review, Inc., 2700 Broadway, New York, N. Y.; Editor, Prof. Michael M. Karpovich, 898 Memorial Dr., Cambridge, Mass.; Managing Editor and Business Manager, Roman B. Goul, 506 West 113th St., New York, N. Y.

2. The owner is: (If owned by a corporation, its name and address must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual member, must be given).

New Review, Inc. No stocks. 2700 Broadway, New York 25, N. Y.; President, Michael M. Karpovich, 898 Memorial Drive, Cambridge, Mass.; Secretary, Alexis Goldenweiser, 523 West 112th St., New York 25, N. Y.; Treasurer, David Shub, 920 Riverside Drive, New York 32, N. Y.

3. The known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities are: (If there are none so state).—None.

4. Paragraphs 2 and 3 include, in cases where the stockholders or security holder appears upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such trustee is acting; also the statements in the two paragraphs show the affiant's full knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which stockholders and security holders who do not appear upon the books of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than that of a bona fide owner.

5. The average number of copies of each issue of this publication sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers during the 12 months preceding the date shown above was: (This information is required from daily, weekly, semi-weekly, and triweekly newspapers only).

Roman B. Goul, Managing Editor

Sworn to and subscribed before me this 5 day of September, 1956.
Irving Light, Notary Public, State of New York, No. 31-2362800,
Qualified in New York County, Com., Expires March 30, 1957.

**THE
NEW REVIEW**
Новый Журнал

Основатель М. ЦЕТЛИН

Шестнадцатый год издания

**КН.
XLVIII
1957**

Редактор М. М. КАРПОВИЧ
Секретарь редакции РОМАН ГУЛЬ

NEW REVIEW, March 1957.
Quarterly, No. 48.
2700 Broadway, New York 25, N. Y.
Publisher: New Review, Inc.
Subscription Price \$7. — for one year,
Second Class Mail Privileges authorized
at New York, N. Y.

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
<i>М. А. Алданов</i> — Бред Шелля	5
<i>Алексей Ремизов</i> — Плачужная канава	49
СТИХИ:	
Георгий Иванов (99), Иван Елагин (100), Ольга Анстей (103), Олег Ильинский (104, 121).	
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:	
<i>Н. С. Трубецкой</i> — О методах изучения Достоевского	109
<i>Н. Нароков</i> — Чехов-общественник	122
ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:	
<i>Ек. Кускова</i> — Давно минувшее	139
<i>С. В. Панина</i> — На Петербургской окраине	163
ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:	
<i>Ю. Денике</i> — К вопросу о советской эволюции	197
<i>М. Вишняк</i> — Сорок лет	210
<i>М. Карпович</i> — Комментарии. О Феврале	227
ПАМЯТИ УШЕДШИХ:	
<i>М. А. Алданов</i>	242
<i>С. П. Мельгунов и С. В. Панина</i>	243
<i>Н. С. Тимашев</i> — Встречи с С. П. Мельгуновым	246
БИБЛИОГРАФИЯ:	
<i>Н. С. Тимашев</i> — С. Н. Прокопович. Сборник статей. <i>Роман Гуль</i> — В. Дудинцев. Не хлебом единым. <i>Г. Струве</i> — Русский литературный архив. <i>В. Александрова</i> — Г. Андреев. Горькие воды. <i>М. Карпович</i> — М. Е. Вейнбаум. На разные темы. <i>В. Г.</i> — Двухсотлетие Московского Университета ..	
<i>Письмо в редакцию В. Маркова</i>	270
ПРИЛОЖЕНИЕ: Неизданные письма А. И. Герцена к Н. И. и Т. А. Астраковым, под редакцией <i>Л. Л. Домгера</i>	
	81-112

Printed by
RAUSEN BROS.
142 E. 32nd Street
New York 16, N. Y.



БРЕД ШЕЛЛЯ

В отрывках из моего романа «Бред», печатавшихся в «Новом Журнале», была мною в свое время выпущена (по соображениям теперь отпавшим) публикуемая ниже глава. Если читатели помнят, главное действующее лицо романа Шелль работает в разных разведках под кличкой графа Сен-Жермэна, — он всю жизнь был увлечен личностью этого авантюриста 18-го столетия. Шеллю предлагают способствовать вывозу из Москвы ученого Николая Майкова, сделавшего важное открытие. Он мучительно колеблется: принять ли опасное и почти неосуществимое предложение?

Находясь на острове Капри, Шелль узнает из газет о смерти Сталина. Нервное напряжение у него усиливается. Ему иногда случается принимать мексиканское снадобье Ололеулки (малоизвестное, но действительно существующее и описанное в медицинских трудах со всеми особенностями его действия). Ночью Шелль принимает это снадобье. Оно вызывает у него бред.

Автор

— ...Отчего же вам не уехать в Америку, гражданин Майков? Вы стали бы там директором огромной лаборатории, получали бы тысяч двадцать долларов жалованья в год, да еще, быть может, с участием в прибылях. Лабораторию вам дали бы превосходную, вы были бы в ней полным хозяином, под вашим руководством работало бы человек десять молодых ученых. У вас был бы собственный дом с садом. Вас знал бы весь ученый и даже неученый мир: газеты присылали бы к вам репортеров за интервью, — шутка ли сказать, такое огромное открытие! А здесь вы живете в этой убогой комнатухе с продраным диваном, с некрашенным кухонным шкафом, с тремя грязными стульями, с шатающимся крошечным письменным столом, с которого, вероятно, вечно всё падает. Есть

ли у вас ванна? Нет? Человек, не имеющий ванны, не может даже претендовать на уважение. А ваши соседи? Верно, они вам отравляют жизнь. На заказ трудно было бы придумать столь бездарное существование для столь одаренного человека, как вы. У нас на западе дураки говорят, что вам чужды мещанские привычки и требования. У вас этого, должно быть, не говорят. Как и нам, вам хочется хорошей или хотя бы сносной жизни. Сюда входит, разумеется, и свобода, особенно бытовая, — без политической свободы вы, пожалуй, могли бы обойтись. Вы ученый, изобретатель, вам важна независимость, важно общение с другими людьми науки. Здесь вы работаете в казенной лаборатории, не очень плохой, но и не очень хорошей, над вами много начальства, и вы должны подчиняться, как школьник. Между вашими товарищами есть наверное хорошие люди, но, по воле советской судьбы, они прежде всего конкуренты. Каждый ваш успех это неуспех для них. Они поневоле ревниво следят за вами, некоторые вас подсиживают, кое-кто на вас доносит. Ваше открытие рассматривается в комиссии. Ее руководители коммунисты и, по общему правилу, ничего не понимают в науке. Большинство других не очень желает, чтобы выдвинулся новый человек. А что такое «выдвинулся»? Если ваше открытие будет признано ценным, вы получите повышение в ученом чине, у вас будет квартира из двух комнат, столь же дрянная, как эта, вам могут дать и какой-нибудь орден. Ваши товарищи будут шипеть и издеваться. При первой же, хотя бы ничтожной, неудаче вас съедят враги и завистники. Я знаю, вы были в свое время арестованы. За что, мне неизвестно. Верно, кто-нибудь взвел на вас обвинение, в лучшем случае якобы научное: ошибка, просчет, недостижение обещанного результата. Возможно, что это был просто вздор. Но допустим, он сказал правду: вы в самом деле сделали ошибку. Это бывает, это даже неизбежно в работе. В Америке частные предприниматели в своих расчетах делают поправку на возможные ошибки. Если она была очень велика, на западе ученый может по-

терять место. Вас же посадили в тюрьму. В худшем же случае вас обвинили в том, что вы когда-то были кадетом или меньшевиком или народным социалистом. Разве при таких условиях можно плодотворно работать? Или я говорю неправду?

— Я не понимаю, к чему вы это всё говорите.

— Надеюсь, вы не думаете, будто вы работаете на Россию? Так могут думать только дураки или люди, цепляющиеся за соломинку, чтобы не превращать свою жизнь уж в совершенную бессмыслицу. Вы работаете на Сталина и на мировую революцию, то-есть на невежественного, тупого, хотя и хитрого, злодея и на то, чтобы превратить еще миллиард людей в глупое, быстро развращающееся стадо. Что вам здесь делать? Вашим открытием могли бы заинтересоваться лишь в том случае, если б вам покровительствовал какой-нибудь саванник. А как вы к нему пролезете? Вы пролезать не умеете. Да это и довольно опасно. От Кремля до Лубянки два шага и в прямом, и в переносном смысле этих слов. Тут логически построенный роман. Композиция прекрасная, как у всех средних романистов. Глава первая: он никто. Глава пятая: он лакей при большой особе. Глава десятая: он сам большая особа. Глава пятнадцатая: он в застенке. Но допустим, допустим, всё будет гладко. Пустят ли вас без заложников за границу обменяться мыслями с западными учеными? Едва ли. Для этого надо совершенно продаться большевикам. Можете ли вы читать иностранные книги лучших писателей наших дней? Не можете: вашими литературными вкусами ведает начальство, читай то, что тебе разрешают. В Америке вы тотчас составили бы себе большую прекрасную библиотеку. Какая это радость покупать и читать книги! Помните предсмертное обращение к ним Пушкина: «Прощайте, друзья»?.. А теперь у вас эта жалкая полка. И печать вы читаете только советскую, она, помимо всего прочего, самая скучная и бездарная в мире. Разве не так?

— Это так, но всё-таки убирайтесь поскорее. Я терпеть не могу шпионов.

— Что такое шпион? Эдит Кавелл занималась шпионажем, ее одна из воевавших сорок лет тому назад сторон расстреляла, а другая поставила ей памятник. В пору войны тысячи французов из Resistance погибли, как шпионы, и их теперь признает героями вся Франция. «La trahison est une question de dates» — говорил Талейран. Они делали свое дело не ради денег. Им всё же платили, и это совершенно естественно, «людям надо есть и пить», — говорит полковник. Их мотивы? А почему вы знаете мои? Продался я или нет, это вопрос личный, частный и малоинтересный. Вообще не судите строго, а то понадобится слишком большая скамья подсудимых. У вас есть другая возможность: стать мучеником. Нехорошо. Это при царях можно было стать мучеником, с разными величественными словами. Есть ведь такие слова — бриллианты, чаще всего фальшивые: «Я умираю за свободу», и так далее. А теперь нельзя. Никто и не узнает о вашем мученичестве или узнает года через два. Да и всем решительно всё равно: одним мучеником больше. Лучше утешайтесь угрызеньями совести: для кокетливых людей они клад. Или вы не кокетливы? Наташа об этом мне не сказала, я вообще плохо вас понимаю. Ведь и Ололеуки было для того, чтобы вас понять. Ради Бога, говорите больше, говорите не односложно, говорите ярко... Ну, вот, вы здесь из самых лучших, но ведь и вы подписывали разные верноподданнические телеграммы Тиберию: «Расстреляли таких-то, спасибо вам сердечное, гениальный Иосиф Виссарионович!» Ведь подписывали? И я на вашем месте подписывал бы, но «бы» это сослагательное наклонение, а в изъяснительном я ничего не подписывал. Поедем в Америку, чтобы больше не подписывать, а? Да, здесь и каяться неудобно: из десяти собеседников уж один наверное сексот. Пошловато? Может быть, но чистая правда. Человека вылечить можно разве только сорокаведерными бочками правды, да и то не наверное. Русской интеллигенции больше нет. «Почиют вечным сном — высокородные бароны». Была, была русская интеллигенция! И литература была, да какая: благородная, та-

лантливая, порою гениальная. Мы думали, что русская литература не продается, ни купить, ни запугать ее нельзя. А теперь откроешь наудачу книгу — автор продан, ну, не целиком, а на пятьдесят процентов, на двадцать, на десять продан. Правда, прежде правительство у вас было гордое и непонятливое. При Николае I было запрещено не только ругать правительство, но и хвалить его: не нуждаемся. Нынешние правители догадались: «Как же не хвалить? Пусть лоб расшибают!» Они уже тридцать пять лет развращают людей с большим, замечательным, изумительным успехом. Русский народ был одним из наиболее умных, наиболее тонких, наиболее «духовных» в мире. Но действия самой колоссальной развращающей силы в истории он не выдержал, да и не мог выдержать. С немцами при Гитлере случилось то же самое: почти все к нему шмыгнули, писатели, философы, ученые. Можно еще сказать, что дело не в человеке и даже не в народе, началась новая историческая эпоха, и т. д. Непременно скажите это: хорошее утешение, социологическое... Я всё же надеюсь, что у вас от прошлого осталось хоть немного чувства иронии, а? Наташа говорила, что прежде вы ругали всех и вся. А теперь у вас какая-то «панацея». Тусклый вы что-то выходите, Николай Аркадьевич. А может быть, вам хотелось бы, чтобы и на западе все продавались, чтобы везде были только пресмыкающиеся люди. Но это не так. От меня никто приветственных телеграмм не требует, а если б кто потребовал, я послал бы его к чорту. Да на западе и чисток никаких нет. Послушайте, а ваша скука, чудовищная, невероятная, невыносимая скука советской России! Записывали ли вы ваш день? Плохая работа, плохой обед, эта ужасная комната. То же и завтра, и день за днем, и год за годом. Говорят у вашей молодежи «горят глаза», она, видите ли, и без свободы, при этой чудовищной скуке, «радностроит новую жизнь». Может, и строит, да такова эта новая жизнь, что уж лучше было бы не строить. Они ведь *бодрые атеисты*, — редкая и глупая порода людей. Что могут они понимать со своим птичь-

им комсомольским разумом! И вовсе не горят у них глаза. Глаза горят только у служащих Интуриста. Они-то и есть «фанатики», им отлично платят. У гитлеровских фанатиков тоже верно горели глаза. Нет, поедем на запад, поедем, дорогой гражданин Майков. Я, разумеется, не говорю, что всё зло находится по одну сторону Железного Занавеса, есть достаточно зла и по другую сторону. И государственных людей на западе почти нет. Черчиль единственный, но он человек из Вальтер-Скотта, ему бы, вместо Айвенго, драться на турнире в Ашби-ле-ла-Зуш. Больше, кажется, никого нет. Многие вам назовут Черу, я очень не люблю этого лицемера, который считает себя спасителем мира. Одна у него впрочем была светлая мысль: он первый понял, что под видом крайней новой демократии можно убедить людей проглотить любой старый завалившийся хлам, кашмирский и другой. Но всё-таки в свободном мире государственные *люди*, а у вас государственные *звери*.

— Вы даром теряете время. Я за границу не уеду. И вам не стоило приезжать сюда для того, чтобы говорить мне об удобствах жизни в Америке и о преимуществах политической свободы перед рабством.

— Я начал с практических доводов. Понимаю, понимаю, они для вас не имеют значения. Конечно, я говорил общие места, но ведь у вас и общие места забыли. Постойте, быть может, вы опасаетесь, что вас плохо встретят русские эмигранты? Я их мало знаю и мало ими интересуюсь. Ничего плохого о них сказать не могу, кроме разве самого худшего: того, что они «*quantité négligeable*», они Чан-Кай-Шеки без Формозы. Верно, между ними есть и очень хорошие, и очень плохие люди. Видите, я не боюсь общих мест. И странно было бы, если б в России остались только плохие, а за границей оказались только хорошие, или наоборот. Ведь и самый отъезд определялся миллионом случайностей, а с ним и взгляды человека. Везде и всегда в мире был принцип: *cujus regio, ejus religio*. Помню, Вольтер говорил мне...

— Кто вам говорил?

— Вольтер. При Людовике XV я встречался во Франции с самыми знаменитыми людьми. Сколько раз я разговаривал с самим королем. Фридрих тоже меня любил, он говорил, что граф Сен-Жермэн самый замечательный человек его времени и, конечно, лучший из врачей.

— Так так... Значит, вы просто не в своем уме?..

— ...Вы не в своем уме, — сказал извозчик. — Где же это видано, чтобы на извозчике ехать из Берлина в Москву! Летите туда на аэроплане и спуститесь на парашюте. Так всегда поступает со своими агентами полковник № 1. Если вас не поймают, то вы таким же способом вывезете на запад вашего Майкова.

— Нет ничего легче, чем дать глупый совет, и я у вас советов не просил. Я и в Помпею ездил на извозчике, и Наташу катаю по Капри. Я вам дам тысячу лир на чай. Но я очень спешу.

— Вздор, некуда спешить в жизни.

— Да у меня завтра в университете экзамен по истории религий. А я не знаю учения Нила Сорского. Не успел прочесть.

— Это обычный кошмар во сне. Никакого экзамена у вас нет. Мне тоже часто снится, будто я для экзаменов консерватории не успел разучить тарантеллу.

— Как же вы, простой извозчик, можете учиться в консерватории! Вы всё вретe. Начай будет в две тысячи лир.

— За две тысячи лир я могу вас отвезти в дом умалишенных. Вы всё равно туда попадете, у вас верно дурная наследственность.

— Как вы смеете говорить дерзости! Я вас задушу, как араба в Сантандере.

— Только умалишенный может верить в панацею... А ваш полковник несерьезный человек...

— ...Странно, что у меня оба полковника смешиваются,

ведь они совершенно разные люди, как и мы с вами. Впрочем, все люди друг друга стоят... Да, не вышел из меня писатель. Мое несчастье: я ведь и честолюбец, и болтун, и сноб. Очень печально... Утостите меня водочкой.

— У меня нет водки.

— Позор! Что же у вас в этом высоком до потолка шкапу? Он заперт английским ключем.

— У меня там виолончель.

— Вы играете на виолончели? Вдруг вы играете тарантеллу! Услышать ее здесь это было бы вроде того, как услышать в доме Гитлера сионистский гимн.

— Какая тарантелла? Что за вздор!

— Да ведь я для Наташи устроил здесь на Капри тарантеллу. Рядом с нашей гостинницей артисты ее играют всю ночь. И моя жизнь вообще фильм, положенный на музыку тарантеллы. Простите, что выражаюсь пошловато. Я и вообще пошловатый человек: «демонический». И никаких открытий я не сделал, я просто граф Сен-Жермэн... А в чем заключается ваше открытие?

— Вы отлично это знаете, ведь за этим приехали. В способе продления человеческой жизни. Я нашел панацею.

— Человечество давно ищет панацею. Либиг говорил, что нет идеи более тонкой, более возвышенной, сильнее действующей на творческую работу людей. А его современник и тоже знаменитый химик Распай уверял, что панацею нашел. Кажется, это была камфора? Разумеется, у вас ваше открытие записано как следует: с формулами, с цифрами, а? Где же вы храните записку? Тоже в этом кухонном шкапу с английским замком?

— Вы верно очень любите кинематограф? Это прямо для фильма: папка с секретнейшими документами, шпион ее похищает. И при этом подумывает: если он не отдаст, то я его убью... Вы верно убивали людей? Может, этим и хвастаете? Хотя бы перед собой?

— Нет, не хвастаю. А убивать случалось, как теперь

столь многим. Я ведь воевал. Когда люди на ваших глазах живьем горят, зажженные вашим огнеметом, а вас за это награждают, то моральные понятия очень упрощаются. Да, я убивал людей, это очень просто. Раз как-то я даже своими руками задушил человека в Испании. У меня это записано в той розовой тетрадке, да я и без нее помню всё чуть не наизусть. Жаль, что плохо написано, хотел, чтобы вышла «новелла», да не удалось, очень плохой я писатель. Хотите, расскажу?

— Не хочу.

— Да вы не сердитесь, что у меня бред. Мой бред особый, от Ололеуки. Вы можете об этом снадобье прочесть в специальных медицинских книгах, и не в мексиканских, а в немецких. Я из-за них и приобрел его в Мексике. Не люблю немцев из-за Наташи, но в их науку верю. Заинтересовался: неужели правда, что дает такой бред? Оказалось, почти всё правда. Моя розовая тетрадка осталась в Берлине, на левой полке в кабинете, там, где у меня легкомысленные гравюры... Всё еще, к сожалению, имею слабость к «легкомысленному», поэтому и люблю восемнадцатый век. Вот ведь в ту же тетрадку записал и свой еще худший рассказ об Оленьем Парке. Даже не рассказ, а «эскиз». Видите, какие я слова знаю: «эскиз», «новелла». Там я хотел вывести и дуру Эдду, она у меня *sous-madame*. Тоже вышла дрянь, от бездарности, да и от лени.

— Тяжел ваш бред умалишенного. Но задушить меня вам не удалось бы. Я закричу, сбежатся соседи.

— Помилуйте, я нисколько не собираюсь. Разве только так могла проскользнуть мыслишка.

— У вас руки душителя.

— Полковник № 1 тоже всё посматривал на мои руки. А я всего только одного человека и задушил: того араба в Сантандере...

...Сантандер был только что взят армией генерала Франко. По предместьям проходили испанские и итальянские вой-

ска, проезжали в новеньких автомобилях германские офицеры с презрительно-брезгливым выражением на лицах, шли грузовики с продовольствием, тащились тележки с возвращавшимися беженцами, тяжело навьюченные ослы, мулы, даже коровы. На тротуарах, в воротах домов, поврежденных бомбардировками, у окон с выбитыми стеклами толпились люди. Многие плакали от радости. Появление испанских знамен вызывало восторг. Люди протягивали вперед руку с фашистским приветом, но кое-кто еще грубо ошибался: поднимал сжатый кулак по обряду народного фронта и тотчас отдергивал, заметив свою ошибку. Итальянцам, немцам и особенно арабам аплодировали мало.

Человек гигантского роста в синем костюме с утра сидел на террасе кофейни. Столики и стулья были, однако, ни еды, ни даже напитков никому не давали. Человек был оставлен покинувшими город республиканскими властями. Состоял у них на службе летчиком. Не раз на парашюте спускался позади фронта; выдавал себя то за американского журналиста, то за дельца, то за иностранного артиста, застрявшего в Испании.

Теперь у него было задание: выяснить численное соотношение между разными составными частями армии врага, — он и сам мысленно по привычке говорил о «враге», хотя его не очень интересовало, кто победит. Понимал, что ничего точно узнать не может; но не хотел получать даром те большие деньги, которые ему платили республиканцы. В Сантандер победители входили по двум дорогам, и он еще накануне наметил себе по наблюдательному пункту на каждой.

В течение трех часов он с террасы наблюдал, считал и старался запомнить четыре числа, увеличивавшиеся с каждой минутой. Записывать на виду у всех было, разумеется, невозможно. Он и так обращал на себя внимание огромным ростом и тем, что был гладко выбрит, что был одет много лучше других. Считал, сколько проходило «Requetes» в красных берегах, фалангистов в синих мундирах, легионеров в зеленых

рубашках, мавров в тюрбанах. На лице у него все три часа висело выражение радости по случаю победы. Фашистский привет он отдавал четко и правильно, но реже, чем другие: он устал, почти не спал две ночи. Ему очень хотелось есть и особенно пить. В лежавшем у него в ногах небольшом мешке, который в нормальное время никак не подходил бы к его виду и костюму, были сухари, коробка консервов и бутылка вина, но ему было совестно есть перед голодными людьми. Позади человека в синем костюме висела афиша с огромной надписью: «Помни, что везде шпионы! Не говори лишнего слова! Немедленно сообщай властям о каждом подозрительном лице!» Афиша осталась от республиканцев, но никаких эмблем на ней не было, и проходившие по предместью за несколько часов до того люди из «Guardia Civil», немного посоветовавшись, оставили ее на стене.

Завтракал этот человек где-то на пустыре. Съел с жадностью то немного, что у него было, но бутылку опорожнил лишь наполовину и положил назад в мешок. Там у него были плюшевая блуза простолюдина, что-то еще из одежды, красный галстук новейшего мадридского образца. Если б его задержали и обыскали, то этого было бы достаточно для расстрела. Но ему терять всё равно было нечего, так как в заднем кармане брюк у него был и револьвер; расстаться же с револьвером он не хотел и не мог.

Позавтракав, человек в синем костюме направился к южной дороге, где еще накануне шли ожесточенные, кровавые бои. Вторым наблюдательным пунктом был небольшой, очень старый крестьянский дом, от которого остались только стены с сорванными дверьми, часть очага, часть засыпанного мусором пола, кровать с грязным тюфяком и подушкой. Он вошел в домик сзади, и, осмотревшись, незаметно устроился у окна без стекол. Теперь вынул записную книжку. Вспомнил прежние четыре числа, но не был уверен, какое из двух первых относилось к Requetes и какое к фалангистам. «Кажется, к фалангистам... Почти наверное... А вдруг нет?» Подумал, что

память у него могла ослабеть от долгого недоедания, от полного отсутствия мясной пищи или оттого, что в последние месяцы он уж слишком много пил (в вине не было большого недостатка ни в том, ни в другом лагере).

Впрочем, большого значения это не имело. Цифры всё равно были случайные, отношение между ними могло очень измениться после его ухода из кофейни, да собственно эти сведения были и не очень нужны. «Просто у тех и у других очень деятельная, диллетантская разведка, и ей надо показать свои заслуги». Он читал в иностранных газетах, что карлистов в лагере генерала Франко вчетверо меньше, чем фашистов. Отношение между двумя первыми числами с этим не совпадало. Записал числа и стал отмечать черточками (приблизительно десять солдат — одна черточка) данные на южной дороге, на которой происходило то же самое, что в предместье. Это он делал пока не стемнело. Отношение вышло еще новое. «Возьму среднее. В докладах всё всегда выходит очень хорошо».

Повидимому, хозяева бросили домик лишь в последнюю минуту, перед самым началом боев за подступы к Сантандеру. Он знал, что везде население, особенно крестьянское, мучительно не хочет бросать насиженные места, но так же мучительно боится мавров, — о них, как о коммунистах в другом лагере, ходила страшная молва; испанцы тоже, случалось, расстреливали друг друга, но между собой можно было кое-как сговориться; грабежи были очень редки. На полу валялись осколки дешевой, грубой посуды, разбитое блюдо с остатками бобов. Человек в синем костюме допил вино, достал из мешка порошок, посыпал тюфяк, подушку и с наслаждением растянулся на кровати. Револьвера из брюк не вынул, теперь войскам не до того, никто не поинтересуется разрушенным крестьянским домом.

Стало совсем темно. Шум на дороге затихал, все воинские части уже прошли. Прислушиваясь, он устало думал о своих делах. Думал, что в Сантандере остаться нельзя: не-

сколько человек в городе знали, что он иностранный журналист, пользовавшийся расположением республиканцев, — не оберешься неприятностей, обыск весьма вероятен. Думал, что хозяин гостиницы не донесет, — «кажется, порядочный человек, «гидальго», они все впрочем «гидальго» — и нет у него оснований быть им недовольным, да и хлопотно, и незачем, и небезопасно; владельцам гостиниц неблагоприятно ссориться с американцами. «Но оставаться всё-таки ненужно и незачем. Зайду, возьму вещи, прошусь. В Бильбао останусь американским журналистом, объявлю кому следует, что буду писать о карлистах и фалангистах. Еще как будут ухаживать! Почему-то ему карлисты с их древними взглядами были много приятнее, чем фашисты. Думал, что хотя Испания одна из прекраснейших в мире стран, а испанцы один из благороднейших народов, хорошо было бы поскорее уехать в страну без гражданской войны, лучше всего во Францию: уж очень всё здесь надоело. На этих мыслях он задремал чутким, беспокойным сном человека, всегда, особенно ночью, находящегося в смертельной опасности.

Он сам не знал, *отчего* проснулся. Едва ли от усиления шума на дороге, — слышался конский топот, в город входила запоздавшая кавалерийская часть, — к *этому* шуму за день привык. *Потом* он вздрогнул, непонятным образом почувствовал человеческое присутствие. Мгновенно и неслышно он поднялся на ноги. «Если выстрелить, на дороге услышат, ворвутся, тогда конец»... С той стороны, с которой вошел в домик он сам, теперь слышался и шорох. «Кажется, один... Грабитель? Любитель-убийца?..» Он чуть наклонился вперед. Вдруг на другом конце комнаты сверкнул огонек. Появился араб с фонарем в одной руке, с кинжалом в другой. Человек в синем костюме, как кошка, сорвался с места, бросился вперед и схватил араба за горло...

...— За горло? Едва ли. Остались бы следы, а к его телу были допущены тысячи людей. Уж скорее отравили. Или «ле-

чили» по методам Генриха Ягоды. Но и этого с уверенностью сказать нельзя. Верно, останется «неразрешенной загадкой истории».

— Может быть. Вроде как убийство Тимберия. На Капри говорят не «Тиберий», а «Тимберий». Они все очень любят своего Тиберия, Наташа не хотела верить. Я ведь говорил вам, что я женюсь на Наташе. Она, кажется, ваша любимица? Может быть, и вы в нее были влюблены? Только она, бедная, не знает, кто я такой. Что будет, если узнает, а? Что мне тогда делать: кончать самоубийством, а? Еще в молодости об этом подумывал и верно так и сделал бы, если б немного не надеялся найти тихую пристань. Так вы думаете, что Иосифу Виссарионовичу помогли умереть? Это было бы приятно, очень приятно. Ведь более страшного человека в истории никогда не существовало. Как мне жаль, что я никогда его не видел. Вы тоже нет?

— Я видел. Был у него с докладом о моем изобретении.

— Не может быть! Были у Сталина?

— Был. Для меня выхлопотал аудиенцию мой школьный товарищ, бывший в то время сановником. Но на беду, когда Иосиф Виссарионович меня принял, он уже подумывал о том, чтобы расстрелять этого сановника. Через некоторое время меня и посадили на Лубянку. Еле ноги унес.

— Да расскажите подробнее об этом посещении, уж если о панацее рассказывать не хотите. Какой он, товарищ Сталин? Что то есть за человек?

— У него тоже панацея. У меня две, а у него третья. Его панацея — провокация. Вся жизнь что-то и кого-то провоцировал и почти всегда с успехом.

— Где он вас принимал?

— В своем кабинете, где же еще?

— Да, да, я читал описания, я столько о нем читал! На столе пять телефонов, самых важных в России. На темноезе-

ленных стенах портреты Маркса и Ленина. Это тоже символ его панацеи: он в книги Маркса отроду не заглядывал, а Ленина терпеть не мог. Дальше?

— Да что же дальше? Вы сами за меня рассказываете...

— Это потому, что я в вас всё перевоплощаюсь. Или стараюсь, да плохо. Вы по дороге верно прошли через несколько комнат, там были люди. У всех на лицах было написано *обожание*. Одни верно «обожают его по-солдатски». Про себя думают, что, чем беззастенчивее лести, тем лучше. Может, они правы. И он тоже прав, *cela fait partie du métier*. Иногда делает вид, будто это море лести ему противно. Тиберий тоже притворялся, будто не любит низкопоклонства. После какого-то заседания — сената, что ли? — сказал: «О, человеческая низость!» или что-то такое в этом роде. Но люди, хорошо его знавшие, после этого льстили ему еще больше. Ваш-то, конечно, делает вид, что считает потоки лести полезными для *дела*, в виду глупости и стадности людей. Это тоже не он выдумал. И может быть, так и надо: только у таких, как он, и есть настоящий престиж. В демократических государствах престиж создается изредка после смерти человека, а в рабских он после смерти исчезает. Но ведь это «после смерти» ему, как им всем, не так интересно. Вы думаете, что время всё поставит на место? Какое же именно время? Одно поставит, а следующее переменит. Быть может, близкое потомство будет исходить всецело из ненависти к нему и его делам: что угодно, да лишь бы на них не походило! А потом будут и рецидивы сталинизма. Да и что в потомстве? Далеко до потомства! Теперь у него всё в иностранной политике, а ведь прежде она его и не очень интересовала. Внутренние враги как будто уничтожены. Велик соблазн, — он в два-три месяца может овладеть европейским континентом. Правда, он и так владыка полумира, но полудивилизованные страны, от Китая до Албании, ему мало интересны. Велик соблазн, но велик и риск. Однако с его шансами Наполеон давно начал бы войну, — разумеется Наполеон-коммунист. Он и тут «средний». Знамение

эпохи; взбурлил ее средний человек, страшный и всё-таки средний. Загадка в том, что никакой загадки нет. Ничего в нем нет драматического, он не похож ни на Мефистофеля, ни на Ричарда III, в нем даже почти непостижимое отсутствие романтики. Это, конечно, минус для исторической личности. Но биографы что-либо придумают, будут во все времена глупые и изобретательные биографы. Ну, исторические заслуги найдут, найдут даже заслугу психологическую: построил огромное здание только на зле и ненависти, открыл колоссальный резервуар, из которого они будут литься столетьями. Да, всё спасенье в том, что велик и риск. Это в мое время можно было начинать войны без риска. Мои приятели, Людовик XV, Фридрих II, знали, что ни им, ни их престолу поражение ничем не грозит. А теперь зеленая зала в Нюрнберге с виселицей и трапом... Так он ваше открытие отверг? Противоречит диалектическому материализму, а? Так, так. Но ведь он всё-таки умер, а? Я сам читал об этом в неаполитанской газете, еще и Наташе прочел. Она была поражена, но «не особенно»... Наташа всегда говорит «не особенно». И не думайте, что мне снилось... Это полковнику № 1 приснилось, будто пророк Иеремия проиграл в покер два миллиона марок. А я проиграл меньше сорока тысяч... Вы Сеньориты не принимаете? В Мексике народ называет Ололеуки Сеньоритой. Уж не знаю, почему. Быть может, потому, что бред так часто связан с женщинами. У меня тоже бывали такие виденья. А верно, все эти сановники, особенно те, что выпивают, входя к нему в столовую думают: «а вдруг случится такой ужас и я за вином брякну то, что действительно о нем думаю! Ведь тех, что поважнее, он иногда приглашает к себе запросто на обеды. Атавизм старого кавказского гостеприимства? Любит угощать людей и выпивать с ними? Ведь человек же он всё-таки, а? Или и тут его панацея? «Проговорюсь за вином, тогда они проговорятся». Он ведь и с Бухариным не раз коротал вечерок, и с Рыковым выпивал. И верно злобы к ним не чувствовал. Не чувствовал, быть может, и тогда когда отправлял их в засте-

нок: просто так будет лучше. Ну, а мелкая сошка — дело другое. Эти и в самом деле гордились тем, что каждый день видят вблизи самого могущественного, самого знаменитого человека на земле! Из-за него перейдут в историю, попадут в романы, в театральные пьесы 21-го столетия. Да и восхищались отчасти тоже искренно: как ни как, продержался у власти столько лет, всех своих врагов погубил, никто с ним справиться не мог. У более умных было наверное и сомнение: всё-таки что же это такое? как это могло случиться? ведь мы-то знаем, что ничего особенного в нем нет, хотя он умен и хитер; он и говорить по-русски как следует не научился, ничего не читал, ничего сколько-нибудь интересного отроду не написал и не сказал. Но над всем преобладал у них, разумеется, ужас. Как и Гитлер, он вполне обладал этим драгоценным для государственного деятеля качеством: умел вызывать страх в людях. И больше всех дрожали высокопоставленные сановники, то-есть те, к которым он выказывал благосклонность: они ведь лучше всех знали, что он органически неспособен сказать правду. Главные сановники иногда с ним еще спорят, но очень точно знают, когда надо перестать спорить. Некоторые из них, быть может, считают его душевнобольным и не так уж ошибаются... Да, да, я всё говорю за вас, простите. Что же было?

— В ту минуту, как меня к нему ввели, секретарша подавала ему чай...

— Ему было бы приятнее, если б чай подавал какой-нибудь сановник, но он не каждому сановнику доверил бы свой чай. Секретарша, конечно, старая, сто раз проверенная коммунистка, «преданная, как собака». И уж конечно он прекрасно понимает, что если б дела сложились иначе, то она с таким же видом восторженного обожания входила бы в кабинет Троцкого. Кто знает, что и у нее на уме, в ее крошечном умишке? Что же он ей сказал?

— Сказал одно слово: «Спички». Кажется, чем-то остал-

ся недоволен. Но зачем мне рассказывать, когда вы всё знаете лучше?

— Он, конечно, сказал: «У моей матери была коза, ты очень на нее похожа». Говорят, многие сановники слышали от него эту остроумную шутку, и у них верно тоже, как у нее, лица немедленно расплывались в восторженную улыбку. Перед ним лежала грудa бумаг. По слухам, он сразу всё схватывает и тотчас принимает решение. Иногда пишет на полях несколько слов, обычно грубоватых, почти всегда безграмотных. Прежде он еще немного стыдился, что плохо знает русский язык. Литературные способности Троцкого и Бухарина его раздражали. Давно больше не обращает внимания. По существу же то, что он пишет на бумагах, наверное по-своему умно и целесообразно, так и должен писать диктатор, хорошо знающий свое ремесло и своих подчиненных. Его резолюции не покрывались для вечности лаком, как когда-то замечания царей на бумагах, но читались подчиненными с неизмеримо большим трепетом: почти по каждой из них тот или другой подчиненный мог предвидеть собственную судьбу, более или менее отдаленную: он редко расправлялся с людьми немедленно. Были, должно быть, и вырезки из иностранных газет. Если его в них называли дьяволом, он наверное читал с удовольствием. Но приходил в бешенство, когда говорили, что он некультурен, невежествен или же, что он не всемогущ, что власть принадлежит Политбюро. Всё-таки в общем это чтение доставляло ему наслаждение. Видел, каждый день видел, что иностранные державы не только не хотят войны, а трясутся при одной мысли о ней. России же объявлял прямо противоположное, это входит в панацею. Теперь главный вопрос: быть ли войне или нет? Разница между ним и всем остальным человечеством была в том, что решение этого вопроса зависело именно от него. Великое было наслаждение! А коммунистические идеи? Быть может, когда-то они и занимали некоторое место в его жизни, крошечное место. Гомеопатическая это была идейность и тогда. Но и от нее ничего не осталось и

не могло остаться в той кровавой бане, в которой он жил столько лет. Да и когда же он беспокоился о счастье человечества! Он ведь людей всегда терпеть не мог. Будущее общество его совершенно не интересовало. Ему в этом обществе было бы нестерпимо скучно, просто не знал бы, что с собой делать. Кроме власти, он ничего никогда в жизни не любил. В молодости могла быть власть над десятками отпетых людей, теперь над сотнями миллионов. Жизнь без нее потеряла бы для него не только всякую прелесть, но и всякий интерес. Для сохранения власти нужно казнить, он это и делал. Быть может, вначале еще волновался — за себя конечно: «сломаю себе шею!» А потом делал равнодушно, без сожаления и уж, конечно, без «садизма». Наслаждение испытывал разве лишь в исключительных случаях. Донесения о подготовке убийства Троцкого, потом о выполнении этого дельца были, вероятно, одной из величайших радостей его жизни. Люди, быть может, наивно предполагают, будто его по ночам преследуют кошмары, будто в его видениях проходят бесконечные ряды казненных, как это описывается в разных классических и не-классических трагедиях! В действительности он наверное о них никогда и не думает, — разве просто кто-либо вспомнится по какой-нибудь случайной ассоциации, иногда, быть может, и забавной. Его лакеям, должно быть, неловко или даже тяжело говорить с ним о замученных товарищах: всё-таки не у всех же такие нервы, как у него. Иные казненные еще так недавно тут пили вино и шутили с ним. Вчера тот, а кто завтра? *Vivat sequens*. Да еще вдруг пробежит по лицу тень? А как, верно, им хотелось узнать подробности убийства Троцкого! Узнавали, может быть, стороной. Нет, какие уж идеи! В своей компании они об «идеях» никогда и не говорят: некогда, да и что уж, старый философско-политический силлогизм есть, всегда можно вспомнить и отбарабанить: ну, там, мы стремимся к счастью человечества, — наша партия ведет к этому мир, следовательно всё, что полезно нашей партии, то и добро, а что вредно, то и зло. Не может

быть преступным никакое полезное партии дело, хотя бы и самое кровавое. Не они и это выдумали. Да только теперь вспоминать и отбарабанивать нет ни времени, ни нужды, ни повода. И, разумеется, Иосиф Виссарионович без малейшего колебания начал бы третью войну и отправил бы сотню миллионов людей в лучший мир, если б только была уверенность в победе. Но ее нет! Шансы есть, большие шансы, а ведь всё-таки *чем* может кончиться, а? Гитлер был совершенно уверен, что выиграет мировую войну, он даже *почти* ее выиграл. Многие сановники надеются ему понравиться бодрим тоном: чрезмерный оптимизм может их погубить лишь в более отдаленные времена, а чрезвычайный пессимизм немедленно. Кто в России далеко заглядывает в будущее? И знает, хорошо знает Иосиф Виссарионович, что в случае беды первыми его предадут «фанатики». Так было и с Гитлером. Спасение для человечества в том, что он часто думает о Гитлере: тот тоже шел от успеха к успеху, того тоже «обожали». Если б Сталина в самом деле любили в России, как говорят на западе дураки и продажные люди, то это было бы доказательством чудовищного падения русского народа, падения и умственного, и морального. Но этого нет. Да ему-то что? Не народной любовью держатся такие правители, как он. Он человек с сумасшедшинкой. Может быть, теперь даже и вправду совсем душевно-больной? Но нервы у него вроде канатов, случай редчайший. Гитлер жил в смертельной опасности только двенадцать лет, а этот чуть не вчетверо дольше... Впрочем, я всё забываю, что он умер. Ведь умер?

— Умер.

— Он нежить. Это старое русское слово: человекообразное существо, совершенно лишенное души. Вы не удивляйтесь, что я всё облакаю в ироническую форму. Наташа тоже говорила мне, что я слишком много шучу: «Не все шутки сегодня шути, оставь и на завтра». Она это сказала «там, в Груневальде»... У меня в свое время был nervous breakdown. Очень заметно, что я не совсем в своем уме?

— Очень заметно.

— Это вы на зло говорите, за то, что я подбивал вас на отъезд издевательством над русской интеллигенцией. Да что же мне было делать? Наташа тоже этого терпеть не может. Она милая, чудесная, но она ничего в людях не понимает. Уж если меня еще не раскусила! Я по ее рассказам много о вас думал: как к вам подойти? Спрашивал себя: какие мысли, какие чувства могут быть у старого русского интеллигента, у очень много думавшего человека, прожившего тридцать пять лет под властью большевиков? Отвечал: ничего не может быть, кроме отвращения от людей, от себя, от всего. Он, Майков, думал я, ухватится за бегство. Приведу ему доводы, и рациональные, от выгоды, и не рациональные... Я о вас судил по себе. А вышло, что вы, так сказать, спектральное ко мне дополнение. Неужто в вас всё перегорело? Но были же в вас страсти, влюблялись же вы, проигрывались в карты, бывали на волосок от гибели? Или только были страсти умственные, а тарантеллы никогда не было?.. Нет, не гневайтесь ни за себя, ни за русскую интеллигенцию, я всё беру назад. Допускаю, что в России и только в России теперь есть истинные праведники. Искренно это говорю, вполне искренно. Их мало, они считаны, но есть. Да не в них дело. Лучше были бы Макроны. Помните, Макрон задушил Тимберия? Или же, его отравил врач Харикл? Как же, я рассказывал об этом Наташе. Да, конечно, могли и Иосифу Виссарионовичу помочь умереть. Для них ведь вопрос стоял точно так же, как для Калигулы: ведь ясно, он выжил из ума, Тимберий, просто выжил из ума, уж если собирается укокошить таких прекрасных людей, как мы? Теперь либо мы, либо он. То-есть, либо он, либо я: до других каждому из Калигул так же мало дела, как до «идеи». О, это шекспировские должны были быть сцены! Ночь, наглухо затворенная комната, кто-то с кем-то шопотом совещается. Двое их? Трое? Больше? Что в таких случаях говорят? Как в таких случаях говорят? С высокими идеями? — «Поймите же, товарищ Хариклов: этого

требуют высшие интересы коммунизма. Партия поставлена перед этой ужасной необходимостью. Вы должны исполнить свой тягостный долг». Или, напротив, по привычке, очень просто, «цинично», чтобы употребить глупое испошленное слово: — «Ты, Харикловский, сам понимаешь, ты не дурак, у тебя выбора нет. Генриха Ягоду и его врачей помнишь? У них тоже выбора не было. Сделали и ты сделаешь, а то сам понимаешь»... Конечно, Харикловский бледен как смерть. Но верно и у Макроновых руки трясутся, ох, сильно трясутся. Спорит ли он? Соглашается ли сразу? А следующая глава? Следующая глава-то? В белом халате стоит товарищ Хариклович у той постели. — «Вот, Иосиф Виссарионович, примите... Это очень вам будет полезно». И надо сказать бойко, уверенно, твердо. Избави Бог, чтобы дрогнул голос или дернулось лицо. Прошло! Проглотил!.. Господи!.. И выйти нужно тоже как ни в чем не бывало. «До завтра, Иосиф Виссарионович»... И не рухнуть на пол без чувств. А так спокойно пройти по корридорам, по лестницам, чтобы ни один мускул не шелохнулся в лице. Ох, нелегкое ремесло Ягод и их агентов! Их жизнь почище моей! Если что-то людям прощается за *ужас* переживаний, то этим простится немало. Хоть бы увидеть когда-нибудь жуткие места, где всё это происходило! Эти стены Кремля так много впитали, что и через сто лет будет страшно дышать. Мало вам будет ста лет, гражданин Майков, чтобы увести души людей. Знаю, знаю, догадываюсь, какая у вас вторая панацея, моральная: тут и русская идея, и «мы нация крайностей», и Нил Сорский, и Достоевский, и «всечеловечество» — и всё это ни к чему. И на западе тоже ни к чему, хотя там тоже есть и такое, и еще лучшее. Эллинский дух, например. Странно, все мыслители сомнительной порядочности очень любят толковать о мудрости Эпикура и о «духе древней Эллады»...

...Поезд только что отошел от вокзала. По перрону ходили полицейские. Вагон третьего класса был переполнен греческими беженцами, спасавшимися от каких-то военных действий.

Кто-то ругнул англичан, другие хмуро на него покосились. Как только поезд тронулся, сидевшая у окна красивая, очень бледная женщина сорвалась с места и поспешно, мимо стоявших в коридоре людей, вышла на площадку. Там никого не было. Она перекрестилась — и отворила дверцы вагона. Высокий оборванец в рубашке без рукавов и воротника, в огромной соломенной шляпе, выбежал из-за водокачки, ловко вскочил в ускорявшийся ход поезд и захлопнул дверцы. Бледная женщина хотела обнять его — и не обняла, только смотрела на него, еле дыша. Говорить она не могла. Незаметно наклонив голову, он быстро прошел в другой конец вагона, морщась от запаха чеснока. «Вот тебе и Эллада! Славны бубны за горами. Еле спасся, да еще спасся ли. Зачем я выбрал эту сен-жермэновскую жизнь?.. Кем же я мог бы быть? Народным трибуном? Говорить политические пошлости перед многотысячной толпой? Мог бы. Написать замечательную книгу? Не мог бы. А только это ценно, только это и *остается*: замечательные книги. Ну, и чорт с ними, не буду жить в веках. Женщины? Вот и эта гречанка ушла навсегда. Mille e tre... У Людовика их было тысяча восемьсот. У меня Оленьего Парка не было...

...Олений парк не походил на многочисленные *maisons de plaisance*, которые себе в восемнадцатом веке строили в Париже принцы, герцоги, откупщики, банкиры. Спрос породил предложение. Так главным образом и создавался стиль Людовика XV. Образовалась школа талантливых архитекторов, художников, скульпторов, декораторов, они специализировались на постройке, отделке, украшении таких домов. Каждый богач считал себя обязанным придать своему дому оригинальность и *sachet personnel*. Тем не менее дома в общем очень походили один на другой. Везде были небольшие салоны, будуары, потаенные лесенки, таинственные уголки. Везде были расписные потолки, фрески, мифологические или просто непристойные картины. Столовых обычно не было; в одних вил-

лах при нажатии пуговики раздвигался пол и на платформе из верхнего этажа в нижний спускался роскошно накрытый стол с хрусталем, венсенским фарфором, блюдами и бутылками; в других такой же стол поднимался сквозь раздвигающийся потолок из нижнего этажа в верхний. Присутствие прислуги считалось недопустимым, хозяин и гости-мужчины сами угощали дам. *Cachet personnel* сказывался преимущественно в выборе женщин, блюд, вин. Да еще в обстановке домиков шла борьба между красным деревом и розовым. Дальновидные люди уже поговаривали о «возвращении к классической древности», — человечество неизменно возвращается к ней время от времени, в науке, в искусстве, в архитектуре. Советы богачам давал знаменитый Буше, неизменный участник их развлечений. Собственно разврата в ту пору было лишь немногим больше, чем в другие времена, но при Людовике XV он был смелее и откровеннее.

Государственные дела больше не интересовали короля. Он и прежде уделял им около часа в день и находил, что этого совершенно достаточно. Глубокого смысла в своей политике не видел, да она постоянно изменялась: то он был с Фридрихом, то против Фридриха, то с Марией-Терезией, то против Марии-Терезии, то с протестантскими странами, то с католическими, то за войну, то за мир. Думал, что не больше смысла было и в политике других великих держав. Войны возникали преимущественно потому, что какому-либо королю уж очень понадобилась военная слава. Повоевал в свое время и он сам. Одержал над англичанами победу под Фонтенуа — и с него было ее достаточно. Знал, что, вероятно, придется еще воевать, но решил больше в армию не выезжать, есть достаточно других вояк: ему война не очень понравилась. Людовик XV был скорее добр, вид убитых и раненых бывал ему неприятен. Кроме того, радостей жизни на войне было довольно мало, даже для королей. Как почти все, он брал с собой в походы любовниц; в обозе было много хорошего вина, но больших удобств не было, и уж очень много надо было ездить

верхом. Гораздо лучше было сидеть дома. На смертном одре его предок Людовик XIV ему, ребенку, завещал не следовать его примеру: поменьше воевать, поменьше строить дворцов. Он это запомнил и думал, что наученный долгим опытом старик был совершенно прав.

Парижа он не любил, не очень любил и Версаль. Всё переезжал из одного дворца в другой. Чрезвычайно надоел ему и этикет, да и всё решительно надоело. Никто так не скучал в жизни, как он. Король и с дамами вел теперь чаще погребальные разговоры; любовницам, если они были нездоровы, радостно рассказывал, где и как их похоронит. Всё-таки своей жизнью дорожил и очень боялся покушений, хотя трусом не был. Не раз говорил приближенным, что его наверное убьют. Знал, что народ, прежде его боготворивший, теперь его ненавидит и называет Иродом. Не было греха, порока, преступления, которых ему не приписывали бы. Думал, что всё это очень преувеличено. Почему Ирод? Делает то, что делают все другие, не только восточные султаны, но и французские вельможи в своих *maisons de plaisance*, только у него возможностей и денег еще гораздо больше, — зачем отказывать себе в удовольствиях? «Общественным мнением» не очень интересовался и писателям денег не давал, — знал, впрочем, что их поддерживает маркиза Помпадур. Писателей считал проходимцами, ничем почти не отличавшимися от придворных. Его внутренняя политика заключалась преимущественно в том, чтобы иметь побольше денег. Король брал из государственной казны сколько хотел и мог; однако этого не всегда хватало, приходилось спекулировать на хлебе, что он делал с большим успехом. Расходы у него были огромные, таких ни у кого в мире не было. Счетоводством он не интересовался и не очень знал, куда уходят деньги. Конечно, все воруют, это тоже всегда так было и иначе быть не может.

О нем говорили, что он познал больше тысячи восьмисот женщин. Он находил и это преувеличением, — кто считал? Был с женщинами очень щедр, но Олений Парк обставил без

роскоши. Придал ему характер закрытого женского учебного заведения: может, так будет менее скучно? Другие до этого не додумались, да им вряд ли разрешили бы, разве уж только самым высокопоставленным. Женщин он уже почти не выбирал: надоело и это. Для него выбирала маркиза, рано составившаяся, больная, давно потерявшая и следы красоты. Позднее он поручил выбор своему камердинеру Лебелю.

В отдаленной, малонаселенной части Версаля была куплена уединенная усадьба, называвшаяся *Parc-aux-Cerfs*. Когда-то Людовик XIII тут разводил оленей. Их давно не было, но разные строения остались. Для их отделки не был приглашен Буше, уже выживавший из ума от пьянства и разврата. Взрослых девушек в доме было мало. Преобладали девочки лет тринадцати-шестнадцати. Была и одна девятилетняя. Дом был куплен открыто, — в нотариальных актах владелец так и был назван: *le très haut, très puissant et très excellent prince Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre*. Но в самом доме его называли «графом»; предполагалось, что девочкам совершенно неизвестно, кто он такой. Конечно, даже самые младшие из них отлично это знали и лукаво говорили графу, что он очень похож на портрет, выбитый на монетах. Граф благодушно улыбался: понимал, что секрет никак соблюсти невозможно. Местность была, правда, безлюдная; был только один соседний дом, да и он был обращен к парку глухой стеной без окон. Тем не менее глухая молва о доме пошла по Версалю, по Парижу, по всему миру.

Разумеется, полиция знала о нем решительно всё и даже поставила по близости особый отряд для незаметного наблюдения и для охраны короля. В полицейских протоколах жилицы Оленьего Парка обычно назывались «воспитанницами»; о каждой составлялось точное «досье». Лебель естественно предпочитал полюбовное соглашение с родителями, — тут и спрос, и предложение были одинаково велики; полиция — вероятно с удовольствием — читала письма отцов, предлагавших своих дочерей и расхваливавших их красоту. Каждая

воспитанница первым делом показывалась лейб-врачу. Некоторых Лебель предварительно показывал *à la très haute et très puissante dame, duchesse marquise de Pompadour*, — она очень интересовалась *Parc-aux-Cerfs*-ом. И только в самых исключительных случаях Лебель приводил их в свою скромную квартирку в Версальском дворце, и тогда туда заглядывал на минуту сам «граф», обычно утверждавший выбор камердинера. Он всегда бывал очень ласков, дарил очередной девочке при первом знакомстве конфеты и отправлял ее в Олений Парк. Иногда дружески-деловито советовался с маркизой. Со своими дочерьми не советовался, хотя был с ними больше, чем откровенен, и о приличиях не очень заботился. Молва и их считала его любовницами. Они приличия соблюдали, но не слишком. Маркизу между собой называли «*taman putain*».

Король в ранней юности был красавцем. Однако преждевременно состарился и отяжелел. Лицо у него теперь было свинцовое и почти страшное. Опасаясь покушений он приходил в Олений Парк вечером, старался прокрадываться садами, надвигал на лоб шляпу. Прохожие делали вид, будто его не узнают. Воспитанницы встречали «графа» радостно и обращались с ним фамильярно. Одна из них, бойкая девочка, спросила его, не собирается ли он, наконец, бросить свою старуху. За эту шутку о маркизе Помпадур король ласково надрал девочке ухо. Строгостей он в Оленьем Парке не допускал или допускал только в самых редких случаях. Поддерживала дисциплину «Мадам». Ей помогали две другие дамы, которых девочки называли *sous-madame*. Одна из них была иностранка, очень красивая, очень глупая, очень гордая и очень жадная женщина. Носила она странное, короткое, как будто итальянское имя, хотя итальянкой не была. Приняли ее в дом по негласной рекомендации полиции. У нее были везде любовники. Все свои деньги она тратила на наряды. В доме над ней смеялись, но ничего против нее не имели: она никому неприятностей умышленно не делала. Полиция могла приставить наблюдательницу и похуже.

Работы у всех трех дам было не очень много. Они следили за порядком и за манерами воспитанниц. Никаких преподавательниц в нем не было, а преподаватель был один: сам граф. Он по вечерам уводил очередную воспитанницу в классную. Воспитанницы бесстыдно называли это «уроками закона Божия».

Олений Парк состоял из двух отделений: одно для дворянок, другое для не-дворянок; разница между обоими отделениями заключалась только в том, что обедали «воспитанницы» за разными столами, при чем в дворянском отделении лакеи были в синих ливреях, в не-дворянском — в серых. Родители воспитанниц получали по десять тысяч ливров в год. Позднее для девушек подыскивались женихи, получавшие большое приданое. Тут равенства не было: ни одной воспитаннице не давалось менее двухсот тысяч, но были и любимицы, получавшие вчетверо больше. После французской революции памфлетисты радостно-гневно подсчитали по полицейским документам, что Олений Парк обошелся Франции приблизительно в миллиард ливров. Это, конечно, было очень преувеличено; достаточно было бы и правды. Через полтора-два года Клемансо, читая мемуары о Людовике XV, с яростью и проклятиями говорил: «Просто нельзя понять, как мы, французы, терпели всё это так долго!»

Как и маркиза, король болел и любил лечиться. Врачей у него было много, и это были хорошие, ученые врачи: лечили от всех болезней слабительными, промыванием желудка и пусканьем крови. Но были и невежды, которых ученые врачи ненавидели, презирали и называли шарлатанами. Шарлатаны пользовались эликсирами жизни, заклинаниями, панацеями, волшебными снадобьями. Более умные из них имели успех даже у людей, очень увлекавшихся энциклопедистами. Быть может, иногда обращались к ним и сами энциклопедисты. Из этих магов, незадолго до создания Оленьего Парка, стал входить в моду граф Сен-Жермен.

Это было наиболее известное его имя, но у него были в

разное время и другие: маркиз де Монферра, маркиз де Бельмар, граф Салтыков, граф Тсароги и т. д. Настоящей его национальности никто толком не знал: он говорил одинаково хорошо на нескольких языках. Знаменитый министр короля Шуазель утверждал, что настоящая фамилия графа — Вольф и что он португальский еврей; так говорили и еврейские банкиры, уверявшие, что знали его отца: умный был купец. Другие только пожимали плечами: достаточно известно, что граф Сен-Жермэн незаконный сын одной из инфант. Впрочем, происхождением волшебника никто особенно не интересовался: граф, так граф. Он сразу попал в высшее общество. Маркиза Помпадур была от него без ума. Благоклонно относился к нему и король.

На вид ему было лет пятьдесят, но при дворе говорили, что ему пять с чем-то тысяч лет: он был когда-то фараоном в Египте. Придирчивые люди возражали: одно из двух, если был фараоном, то едва ли может быть сыном инфанты. С придирчивыми людьми спорить не стоило. Дамы сообщали и другие факты из его жизни: он долго жил в Иерусалиме, был близок с женой Пилата. Сам он впрочем никогда о себе такого не говорил; но был замечательным рассказчиком и в разговорах описывал Сократа, Цезаря, Франциска I, Марию Стюарт, говорил о их наружности, о их частной жизни, о их манере речи, — даже ей подражал. С улыбкой исправлял ошибки Гомера: Пенелопа обманывала покойного Улисса с кем только могла, и он, вернувшись в Итаку, должен был выгнать ее из дому; царице Елене в пору Троянской войны было бы сто шестьдесят лет. Дамы со восторгом говорили: уж в одном нельзя сомневаться: граф их всех отлично знал.

Сам Сен-Жермэн тоже в одном не сомневался — в крайней глупости людей. Он был разносторонний человек: знал кое-что в разных науках, особенно в химии; пробовал свои силы в литературе, в музыке, играл на разных инструментах, лучше всего на виолончели и отлично исполнял тарантеллу, не то чужую, не то собственного сочинения. Медициной же

он занимался по необходимости. На ней в ту пору было легче всего создать себе репутацию волшебника: богатым людям было тогда так приятно жить, что умирать уж совсем не хотелось. Как отрицать элексир жизни, панацею, столь полезную для здоровья, или философский камень? Это значит отрицать могущество науки, идущей гигантскими шагами вперед.

Граф Сен-Жермэн снял роскошную квартиру в Версале и устроил себе там алхимическую лабораторию. Его посещали самые разные люди. Он им показывал страшные опыты с вспышками огня, показывал и свою коллекцию бриллиантов, которые он сам изготовлял известными ему алхимическими приемами. Очень влиятельным дамам дарил на память драгоценные камни, любезно ссылаясь на то, что они ему ничего не стоят. Дамы показывали их ювелирам, те только разводили руками: самые настоящие, превосходные бриллианты, мы готовы хоть сейчас купить. Но себестоимость панацеи была велика; ее граф продавал очень дорого и предупреждал, что ее действие скажется не скоро: только года через два или даже через три. Сен-Жермэн ни в одной стране долго не засиживался, говорил, что изъездил весь мир, побывал и в Индии, и в Китае, и в Америке. Собирался съездить в Англию, в Голландию или Пруссию. Особенно же ему хотелось отправиться в Московию, — там прихварывала царица Елизавета и говорили, что после ее кончины на престол вступит ее племянник Пьер, человек странный. Граф внимательно ко всему прислушивался. Но уехать за границу он хотел не иначе, как с какой-нибудь тайной миссией от короля: граф любил политику, притом именно тайную.

К политике тоже мог открыть доступ дар волшебника. Надо было только доказать наглядно свой дар королю. Вероятно, Людовик XV знал, кто такой граф. Король и верил в породу, и не очень верил: думал, что аристократия для его трона более надежная опора, чем народ; при нем доступ к военным чинам был открыт лишь для людей, имевших три сто-

летия дворянства. Но на этом сословные предрассудки короля кончались. Госпожа Помпадур, ставшая первой особой в государстве, была дочерью мелкого приказчика, — ее фамилия Пуассон, вызывавшая вечные насмешки в Версале, была крестом ее жизни. Король, при всем своем невежестве, был человек очень неглупый. Женщинам за красоту, мужчинам за ум, таланты и особенно за занимательную беседу прощал даже самое неподходящее происхождение.

Успех чаще всего давался умом, но мог прийти без него, к кому угодно и откуда угодно: из кулис театра, из приемной ветеринара, из шатра фокусников. Мог он прийти и из Оленьего Парка. Сен-Жермэн стал в нем бывать. Мужчины туда допускались редко, но для врачей делалось исключение. Волшебник понравился Мадам. Он был всегда очень хорошо одет, вежлив и любезен, привозил цветы. Нравился он и девочкам, с ними был ласков, но малолетними не увлекался: «Так дойдешь и до уровня развратного канальи», — говорил он себе, имея в виду короля, которого впрочем в душе скорее любил: «У кого же нет недостатков?» Всё же мучительно королю завидовал: уж очень ему хорошо живется.

О новых воспитанницах он получал сведенья от полицейских и от Лебея. С полицией был везде в самых лучших отношениях. Королевского камердинера принимал у себя, когда других гостей не было, и не только давал щедро на чай, но и угощал запросто дорогими винами. Говорил, что общественные предрассудки отжили свое время, — в древнем Риме они были просто невыносимы! Сам же он ничего не имеет против людей из плебейской среды, ничего не имеет даже против актеров и не отказался бы публично, при всех, сесть за обед с Мольером, принадлежавшим именно к этой касте, «*sorte de gens la plus méprisable du monde*», хотя духовенство не велит с ней якшаться, а парижский суд не допускает ее к присяге: всё равно солгут. Поэтов же он зазывал к себе, закармливал и задаривал. Один из них написал в его честь стихи: «*Ainsi que Prométhée, il déroba le feu — Par qui le Monde*

existe et par qui tout respire; — La nature à sa voix obéit et se meut. — S'il n'est pas Dieu lui-même, un Dieu puissant l'inspire». Граф ему подарил большой хрустальный флакон панацеи, отрез расшитого золотом бархата, купленный им когда-то в Веракруце на распродаже вещей ацтека Монтезумы, а также портрет музы Клио в рамке с жемчужинами, правда, очень маленькими, но подаренными ему в Индии великим моголом, прямым потомком знаменитого Бабера. Заходили к нему в гости и видные чиновники полиции. Эти панацеи не брали, но охотно принимали в дар деньги. От них и от Лебеля он, едва ли не первый в версальском обществе, со всеми подробностями узнал, что в Олений Парк насильно отправлена новая воспитанница, Элен де Палуа, и что она — случай неслыханный — решительно отказывается отдаться королю. Девочка прехорошенькая и уже немолодая: ей шестнадцатый год.

Насильно девочки увозились из дому очень редко. Всѣ же иногда — что ж делать? — приходилось прибегать и к силе. С отцом мадмуазель де Палуа Лебель сговорился. Но девочка была влюблена в небогатого дворянина Родеса, он тоже был в нее влюблен. В случае несогласия отца на брак Родес предлагал увезти ее тайно в Компиень, где у него был клочок земли. И надо же было на их горе случиться, что Элен на улице, проезжая в своей карете, увидел король! Она сделала реверанс. Людовик XV снял шляпу и улыбнулся ей, внимательно ее оглядев. Затем что-то сказал стоявшему за его спиной человеку. Элен очень испугалась и побежала домой. Лебель ее проследил.

На следующее утро граф, как всегда, встал рано и тотчас принялся за работу в своей лаборатории. Там у него было два стола: один алхимический и страшный, его он показывал посетителям; другой очень простой, за ним он работал над изготовлением красок. Всю жизнь, до своих последних дней, мечтал об изготовлении какой-то краски для материй, которая

должна была принести ему еще гораздо больше, чем панацея и философский камень.

За завтраком он выпил полбутылки шампанского. Перед важными делами ничего не пил; перед менее важными пил немного. Сегодняшнее дело, тщательно им обдуманное, было небольшое. «И очень доброе дело... Выйдет!» Он переоделся, достал из шкапа бутылку, отлил в пузырек двадцать капель синеватой жидкости, закупорил и положил в карман. Велел подать коня. У него были очень хорошие лошади, арабские, мекленбургские, андалузские. Необыкновенно роскошны были и седло, попона, сбруя. Прохожие его узнавали и смотрели на него с любопытством, страхом и почтением: «Волшебник! Граф Сен-Жермэн! Тот самый!..» Доехав шагом до малонаселенной части города, он поскакал. Остановился у калитки Оленьего Парка, сошел с лошади, ввел ее в парк и там привязал к дереву. Его увидели из окон и, как всегда, ему обрадовались. Он прошел в кабинет Мадам, ласково здороваясь по дороге с девочками. Они любили этого врача, он больным никогда противных лекарств не давал и часто лечил конфетами. В этот день все в доме были взволнованы необыкновенным происшествием. Самые бойкие воспитанницы пытались его расспросить, но он только погрозил им шутливо пальцем.

— ...Слышать не хочет!... Всю ночь не спала, целый день плачет! Не ест, не пьет, подруг видеть не желает! Такая дурочка! Влюблена в какого-то голыша! — с горестным недоумением сказала Мадам.

«Старая...» — подумал граф и тяжело вздохнул.

— Да, это очень странный случай.

— Просто не знаю, что с ней делать! Не высечь ли? Как вы думаете?

— Ни в каком случае! — сказал граф. — Избави Бог!

— Я воспитывалась в Сен-Сире, основанном госпожей де Мэntenон, там за провинности наказывали розгами барышен постарше и познатнее, чем эта девчонка, и отлично помогало.

Может быть, но наш нынешний возлюбленный монарх это запрещает. И в чулан тоже ее не сажайте. Тут необходимо лечение и особенно внушение. Где она?

— Я дала ей лучшую комнату. Она дворянка.

— Разрешите мне пройти к ней. Я хочу с ней поговорить наедине.

Мадам разрешила: он был врач, хотя и неофициальный, и она знала его корректность. Проводила его по коридору. Он вошел без стука и затворил за собой дверь; опасался, что будут подслушивать: либо сама Мадам, либо «Цербер». Так назывался домоправитель, огромный человек с такой толстой бычьей шеей, что палачу было бы трудно отрубить ему голову одним ударом.

Элен де Палуа сидела в кресле с опущенной головой. При его входе с ужасом взглянула на него, вскочила и опять села. «Прелестна!» — подумал он, — «какая будет женщина года через два!» На столике стояли блюда с крышками, бутылка и стакан. «Ни к чему не прикасалась!» Граф очень ласково поздоровался с девочкой, придвинул стул и сел против нее, внимательно на нее глядя.

— Не волнуйтесь, — сказал он мягким вкрадчивым голосом. — Я вам ничего дурного не сделаю. Я ваш друг и хочу вам помочь. Я излечиваю все болезни. Я граф Сен-Жермэн.

Она смотрела на него с изумленьем и робостью. Слышала о нем и тоже знала, что он волшебник. Но его слова, ласковая интонация голоса и доброе, сочувственное выражение его лица немного ее успокоили.

— Я не больна, — прошептала она.

— Я тоже думаю, — сказал ей вполголоса граф и громко произнес: — Я вижу, что вы нездоровы. Позвольте пощупать ваш пульс.

Он помолчал с минуту, не прикасаясь к ее руке, затем еще громче сказал:

— Ого! Сто десять. Вы больны. Сейчас вас осмотрю.

Он заговорил с ней шопотом, но иногда громко задавал

вопросы об ее сердце, легких, желудке. Она ничего не понимала. Вдруг он встал, быстро подошел к двери и отворил ее. За дверью никого не было. Он позвал слуг и велел принести воды. Взял у лакея в синей livрее графин и стакан, опять затворил дверь и сел у столика. Теперь был спокоен: не подслушивают. Налил вина в бокал и выпил с удовольствием. «Не думал, что им дают такое хорошее».

— Пожалуйте сюда, Элен, — сказал он. Она послушно подошла к столику и села. — Хотите вина? Не хотите, ну, не надо. Пока, может быть, лучше не пить... Успокойтесь, граф ничего вам не сделает.

Она вздрогнула и лицо у нее искривилось.

— Я знаю, какой он граф!

— Я тоже знаю... А хороший человек ваш жених? Родес? Вижу по вашему лицу, что он очень хороший.

— Вы знаете?.. Кто вам сказал?

— Я всё знаю, я волшебник. Если вы будете меня во всем слушаться, то вас отсюда завтра же выпустят. И вы выйдете за него замуж.

— Правда? Вы правду говорите? Ради Бога, скажите!..

— Если же вы не будете меня слушаться, то вы погибли! — наклонившись к ней, сказал Сен-Жермен негромко, но очень внушительно. — Пока они обращаются с вами хорошо. — Он приподнял крышку с блюда. — Видите, цыпленок. Но это будет длиться недолго. Они посадят вас в чулан и будут морить голодом.

Пусть уморят!

— Будут вас бить.

— Пусть бьют!

Он засмеялся.

— Вот вы какая храбрая! Это хорошо... Ты очень мила, но ты глупенькая, — отечески сказал он. — Они сделают с тобой, что захотят. Не ты первая. Что ты можешь против них поделать? У них сила. На силу ты можешь ответить только хитростью. Я всему тебя научу... Ты бывала в театрах?

— В театрах?

— Да в театрах. Я говорю ясно, ты меня не переспрашивай и отвечай толком.

— Нет, не бывала. Мой отец меня не пускал, говорил, что бывать в театрах безнравственно.

— Это верно, и я рад, что твой отец такой нравственный человек... Жаль, что ты по своему возрасту не могла видеть Адриенну Лекуврер. Это была знаменитая артистка. Как она изображала истерику! А как умирала! Ни одна артистка не умирала так правдоподобно, так естественно, как она. Потом ее отравили.

— Отравили!

— Я тебе не велел переспрашивать. Да, ее отравили, и она умерла уже вправду. Должно быть, тоже очень естественно. А тебя отравлю я... Не смотри на меня с ужасом. Я тебя отравлю так, что ты через несколько часов будешь совершенно здорова. Даю тебе честное слово. Ты верно никогда не падала в истерику? Это нетрудно. Плакать ты, конечно, умеешь? Все девочки умеют плакать. Думай о твоём женихе, и у тебя выйдет отлично.

Он выпил еще бокал вина, затем вынул из кармана пузырек.

— Что это! Что вы хотите сделать?

— Слушай внимательно. Это лекарство, которое я вывез из Мексики. Есть такая страна в Америке. Я оттуда вывез множество лекарств. Мой «целительный мексиканский чай» известен всему миру. Он спас от смерти тысячи людей. Но это совершенно другое. От этого лекарства у тебя делается жар. Прими часа через два всё, что есть в этой склянке. Оставь только две-три капли. Запей не водой, а этим вином. Выпей его целых два стакана. Затем начни плакать и стонать. Возможно громче. Можешь даже упасть на пол и забиться в судорогах. Сбегутся люди. Скажи им, что ты отравилась ядом. Избави Бог, не говори, что это я тебе принес яд, скажи, что достала дома, покажи бутылочку. Они пошлют

за врачом. Объяви, что ты веришь только мне. Они пошлют и за мной. Должно быть, их врач прискачет раньше. Он увидит капли, и объявит, что это страшный яд, что необходимо врачу быть при тебе неотлучно. Вероятно, потребует промывания желудка. Постарайся отбиться, это не поэтично. Но если нельзя, то что же делать? Затем приеду я и вылечу тебя. Может, придет и сам граф.

— Я не хочу его видеть!

— Ты не смеешь так говорить о графе. Он испугается: граф добр. — Он выпил залпом еще бокал. — Граф очень добр. Во Франции постоянно колесуют людей за воровство, но он при этом не присутствует, а если бы присутствовал, то верно смягчил бы их участь. Во Франции ежегодно тысячи крестьян мрут с голоду, хотя прохвост Вольтер уверяет маркизу Пуассон, что народ благоденствует. Вольтер сам хочет стать маркизом. Отчего бы нет, да и врал бы меньше. Если б граф видел, как голодают крестьяне, он отдал бы им часть хлеба, который он собрал для спекуляции. Конечно, небольшую часть... Видишь, как я откровенно с тобой говорю. Знаю, что ты на меня не донесешь. Но если б и донесла, то тебе никто не поверит, а со мной ссориться опасно! — опять очень внушительно сказал он. — Так вот, граф придет, увидит, как ты стонешь и бьешься в судорогах, и тотчас велит тебя выпустить: он терпеть не может больных. Кроме того, от твоих страданий он разжалобится, подумает о муках ада. Граф не очень верит в Бога, но страшно боится: а вдруг ад всё-таки есть? Увидишь, он даст тебе денег.

— Я его денег не хочу!

— Тебя никто не спрашивает! — в первый раз сердито сказал Сен-Жермэн. — Ты можешь отдать часть на добрые дела. Я даже беру это на себя, возьму десятую долю того, что тебе даст граф, и раздам ее беднякам. Остальное пойдет тебе в приданое от графа. Ведь твой жених беден. Без денег нельзя быть счастливым, или это в сто раз труднее, чем с

деньгами. Вижу по твоему личику, что ты поняла. Повтори всё, что я тебе сказал.

Она повторила. Он одобрительно кивал головой. Затем сполоснул водой свой бокал, вылил воду в ее стакан и вытер бокал салфеткой.

— Никому не говори, что я пил вино. Пила ты. Ну, вот, значит всё в порядке. До скорого свиданья, моя милая. Бейся в истерике возможно лучше и кричи как можно жалобнее, — сказал он и встал. Хотел поцеловать ее, но не поцеловал именно потому, что очень хотелось.

— Очень плоха! Совершенное отчаянье! — сказал он Мадам в ее кабинете. — Я немного ее успокоил и убедил ее выпить вина. Теперь, пожалуйста, оставьте ее в покое, может быть, она заснет. Я завтра заеду опять. А если вдруг понадобится сегодня, пошлите за мной. Вечером я на балу во дворце. Будут фигурные танцы. Его величество откроет бал с одной из принцесс, а я танцую в восьмой паре, — небрежно пояснил он. Мадам остолбенела от почтения. — Но, разумеется, я брошу бал и в случае надобности приеду немедленно. Жаль бедную девочку. Она глупенькая: не понимает своего счастья.

Получив извещение о болезни Элен Палуа, король забыл об инкогнито и примчался в карете в Олений Парк. Вслед за ним приехал и граф Сен-Жермэн в бальном костюме, с огромными бриллиантами на кафтане и на туфлях. Людовик был бледен и растерян. Мадам, плача, говорила, что ни в чем не виновата. Ее красивая помощница ахала и всё старалась привлечь внимание короля.

В своей комнате Элен на диване билась в судорогах. Только что приехавший врач испуганно смотрел на Людовика, с ненавистью на графа. Бормотал, что это сильнейшее отравление мышьяком, что надежды на выздоровление мало, что надо немедленно промыть желудок.

Сен-Жермэн осмотрел больную. «Адриенна не Адриен-

на, а ловкая девчонка. Удивительно, как они все любят комедию».

— Да, это так, — подтвердил он. — Опаснейшее отравление мышьяком.

— Спасите ее! — вскрикнул король. — Я не хочу, чтобы она умерла!

Сен-Жермэн задумался.

— Я попробую, — сказал он после минуты размышления. — Пусть мне принесут хрустальный кубок, — обратился он к Мадам. Она растерянно спросила, непременно ли нужен хрустальный.

— Непременно, если я говорю, — подтвердил он строго. Мадам побежала за кубком. — Теперь я установлю магический круг.

Он наклонился и стал делать над Элен странные жесты обеими руками. Все смотрели на него с изумлением. Изредка он бормотал непонятные слова. Когда принесли кубок, он налил в него несколько капель зеленой жидкости из нового пузырька. — Никогда с ним не расстанусь, — пояснил он шопотом королю.

— Откройте рот, — повелительно сказал граф больной и влил ей в рот жидкость, затем, отдав Мадам хрустальный кубок, поднял обе руки к потолку и что-то опять забормотал.

— Удалось? Выздоровеет?

— Удалось, ваше величество, — ответил он, тяжело дыша. Лицо у него было искажено. — Через четыре минуты она совсем придет в себя.

Король переводил взгляд с него на больную. Врач кипел от негодования, к которому примешивались страх и зависть.

— Так больше нет опасности? — спросил король и вытер лоб платком.

— Ни малейшей, ручаюсь головой. Но месяц или два у

нее будет рвота и понос. Надо завтра же увезти ее на поправку куда-нибудь в лес. Лучше всего в Компьень.

— Завтра же утром увезти ее!

— Теперь уложите ее в кровать. Дайте ей поесть: бульон, цыпленка, компот, и немного хорошего вина. Я еще раз зайду к ней минут через десять.

— А промыть желудок? Промыванье необходимо, — жалобно сказал врач.

— Не сейчас. Вы будете приезжать в Компьень, и там будет видно, — ответил граф, понимавший, что всем надо жить. Врач успокоился. Мужчины вышли из комнаты. Король направился в классную и там тяжело опустился в кресло. Сен-Жермэн вошел за ним и с любопытством осмотрелся в этой комнате, до того никогда в ней не бывал. Мебели было немного: два кресла и кровать с низким изголовьем, окруженная с трех сторон высокими стоячими зеркалами.

Через четверть часа Сен-Жермэн, очень веселый и оживленный, вернулся в комнату Элен. Она лежала в кровати, бледная и измученная. Он ласково потрепал ее по щеке.

— Граф уже уехал. Ты его больше не увидишь. Тебя увезут в Компьень. Я устрою так, что твой жених будет там тебя навещать. А завтра я туда приеду с чиновником казначейства. Граф тебе подарил двести тысяч ливров!.. Молчи, дурочка. Впрочем, ты не дурочка, а умница. Я хотел получить с графа триста тысяч, но он дал только двести. Сказал, что и этого довольно за то удовольствие, которое ты ему доставила. Кажется, он добавил: «И пусть она с поносом идет ко всем чертям!» Надеюсь, ты не обидишься?

— Я так счастлива!.. Спасибо вам, — прошептала она. — У меня в самом деле будет это?

— Что это, моя милая?

— Понос, — еле выговорила Элен.

— Ничего ровно не будет. Когда чиновник уедет, ты мне отдашь двадцать тысяч для бедных. Из остального папе не давай ни гроша. Я даже не велю его к тебе пускать. Же-

пиху тоже пока ничего не давай, всякие бывают женихи... Не сердись, я пошутил. Ну, до свиданья, дитя мое, желаю тебе счастья. Года через два я приеду к вам в гости. Ты меня познакомишь с твоим мужем.

— Приезжайте раньше, умоляю вас!

Он засмеялся.

— Может, и через два года не приеду. Буду верно в Московии.

— В Московии? У турок? Зачем вам ехать в Московию! Там вас могут посадить на кол!

— Может, и не посадят.

— Да что вы там будете делать?

Лечить людей. Панацеей...

— ...Так значит, у вас две панацеи, Николай Аркадьевич? Вы не только хотите удлинить жизнь людей, но научить их добру? Хорошо, хорошо, вы будете проповедывать на западе и моральную панацею. Вам нужно познакомить с ней мир. Но без вашего биологического открытия вас и слушать никто не будет. Разве на западе, без гения Достоевского, стали бы слушать какого-нибудь Мышкина или Алешу Карамазова? куда лезете? кто такие? один идиот, другой мальчишка. Совершенно другое дело, когда говорит великий ученый, открывший в своей науке новые пути! Послушайте, я вам устрою статьи в газетах, радиосообщения, телевидию, что хотите, и не для вас, а для вашей идеи! Вы будете говорить о всеобщем сближении, о последних аксиомах сотням миллионов людей. Уедем, Николай Аркадьевич! Я использовал для вас *ego* панацею. Я подал им идею новой провокации, они дали нам аэроплан, он нас ждет! Конечно, на границе они собираются нас сбить. Вы понимаете, какая очаровательная, какая дивная провокация: капиталисты пытались вывести своего агента, то-есть вас, но тому помешала бдительность рабоче-крестьянской власти! Мне предложено спуститься на парашюте, обещаны разные блага. Условия с про-

вюкаторами они часто выполняют, я ими не соблазнился. Принял, конечно, с полной готовностью, но у них свой план, а у меня мой, бабушка надвое сказала. Погибнем, так погибнем, вы сами говорите, что вам терять нечего. Это *fifty-fifty*, теперь всё в мире *fifty-fifty*, даже существование земли... Послушайте, если вы умрете здесь, что будет с обеими панацеями? Бумаги бросят в корзину. Допустим, вы сделаете надпись, что они очень важны. Тогда папка попадет на Лубянку. В лучшем случае бумаги передадут на рассмотрение какому-нибудь их ученому, любимчику, надежному прохвосту. Он либо признает ваше открытие не имеющим никакой ценности, либо выдаст его за свое. Вернее, он сделает то и другое: сначала объявит, что бумаги вздор, а через некоторое время сообщит о своем головокружительном открытии. Быть может, советское правительство и будет знать правду, но оно поддержит версию любимчика: гораздо лучше, чтобы автором великого открытия был коммунист, чем сидевший в тюрьме белобандит. Он объявит, что он сделал свое открытие под руководством Иосифа Виссарионовича. И на вечные времена автором будет он... Видите, у вас даже лицо задергалось. Возможно и другое: ваших бумаг никому не покажут, на них просто не обратят внимания: какое уж там открытие мог сделать жалкий лаборант, неудачник, которого на службе держали из милости! На Лубянке ничего никогда не уничтожают, всё может пригодиться, бумаги так и будут лежать. Допустим, большевики падут через десять или двадцать лет. Перед гибелью они наверное всё сожгут, к великой радости бесчисленных сексотов. А если даже не сожгут, то для разбора понадобятся столетия. Знаете ли вы, что во Франции до сих пор разобрана только часть архивов, оставшихся от Великой революции? Кроме того, разбирать архивы будут люди, ничего в биологии не понимающие. Можно ли предположить, чтобы они наткнулись именно на ваше досье из лежащих там миллионов? Можно ли предположить, чтобы они заинтересовались делом никому неизвестного ла-

боранта, умершего в тюрьме от рака простаты? Чтобы они прочли и оценили полуистлевшую ученую записку? Нет, не обманывайте себя: ваше имя останется совершенно неизвестным. Награды, почести, слава достанутся вору. Он станет знаменит и его, разумеется, пощадят в день расправы, если будет такой день. Он немедленно перекарасится, как все, и будет «наша русская гордость»... Не отдавайте бумаг Макронам! Отдайте их мне, и вы будете благодетелем человечества! Клянусь честью, что мы поступим иначе! Конечно, вы вправе не верить чести секретного агента, но подумайте, *зачем* нам обманывать? Если б даже нашелся у нас такой подлец-ученый, то ведь мы-то будем знать, откуда пришло открытие. Мы отдадим бумаги на рассмотрение компетентной комиссии, она будет убеждена, что автор на свободе и находится где-то в западных странах, мы и имени вашего не назовем, пока не узнаем, что вас больше нет в живых. О, тогда мы назовем ваше имя! Мы разгласим его на весь мир! Это будет соответствовать и нашим интересам, это будет наш реванш за Фукса, за Понте-Корво, за стольких других. Открытие гениального русского ученого досталось нам! Они его не использовали. Для этого верно вы и понадобились американцам. После войны вы вернетесь... Да, будет война! Москва найдет повод. Всегда можно найти повод. У вас нет выбора, гражданин Майков. Вы человек обреченный, это судьба трех или четырех гениальных людей, которые, быть может, теперь существуют в вашей несчастной, забытой Богом стране!... А если не хотите лететь, то кончайте с собой немедленно! За вами придут сегодня же ночью. Проваливайте в лучший мир! А то бежим, аэроплан ждет на улице.

— Аэроплан ждет на улице.

— Да, да, без аэродрома. Послушайте, вы увидите Капри! Солнце светится в зеленой воде моря. Вы помните эту воду? Вы увидите Венецию, мы проведем ночь на Пиацца-Сан-Марко!.. Вы увидите Наташу! Наташу де Палуа!.. Бежим...

...Это под нами Красная Площадь! Слышите траурный марш? Это *его* хоронят! Это бьют часы на башне Кремля. Гудят гудки фабрик, заводов, пароходов, паровозов. Игрывают траурный марш. Склоняются победные знамена над прахом величайшего полководца всех времен. Маршалы на алых бархатных подушках несут ордена и медали. И как все врут, как чудовищно все врут! маршалы и паровозы! Кто это говорит речь? Это *дофин*, Берия, Тиберий-Берия. Он в пиджачке! Дофин, дофин, в этой стране нельзя править в штатском платье! Дофин, дофин, рядом с тобой другие дофины, убей их поскорее, а то они убьют тебя... Прощай, Москва! За нами погоня. Не бойтесь, гражданин Майков. В Европе нет летчика лучше меня, они нас не собьют!.. Игрывают тарантеллу! Да, вся моя жизнь тарантелла...

...Аэроплан опустился на Капри. «И как хорошо прошел по каменным лестницам, ничего не случилось... Сколько же я летел? Почему началась война? Из-за меня? Так быстро? Нет, слишком незначительный повод... Надо сейчас же купить газеты... Где же папка? Сейчас снести с полковником... Поздно, если началась война... Но заплатить он должен!..»

Шелль, широко раскрыв глаза, дрожал под одеялом на кровати. Бред уже кончился. «Ведь я с ним говорил! Я видел похороны... Неужто *всё* было бредом! Не может быть... Но ведь это играют тарантеллу!»

Только минуты через две он пришел в себя. «Это у соседа играют... Неужто там танцевали до утра? Да, это так, всё было ерундой! Никого я не вывез... И не поеду, ни за что не поеду в эту страшную страну».

Он встал и подошел к окну. Солнце уже всходило. «Море, сады... Всё пройдет, это останется!»

М. Алданов

ПЛАЧУЖНАЯ КАНАВА

НОГА В ПУХОВОМ ЧУЛКЕ

«Плачужная канава», отрывок из которой мы печатаем, — роман в 4-х частях. Роман этот был написан А. М. Ремизовым в 1914-1918 гг. При переезде за границу в 1921 г., рукопись пропала и была разыскана только в 1927 году. В свое время «Плачужную канаву» принял П. Б. Струве для печатания в «Русской Мысли». Роман начал печататься под заглавием «Канава», но журнал прекратился и этот роман остался не опубликованным.

Ред.

1.

На углу Суворовского проспекта и Заячьего переулка в писчебумажном магазине Деллен выставлен был плюшевый желтый медвежонок: медвежонок хапал пастью и махал глазами.

К окну липли ребяташки, и толклась прислуга — горничные и кухарки, посланные поскорее сбегать письмо опустить или за лекарством в аптеку или еще куда на Суворовский — поскорее. Всякому доставляло большое удовольствие постоять у окна поглазеть на медведя.

Медвежонок выставлен был еще на Великом посту, и тому прошло времени не мало, а Антон Петрович и слухом не слышал и видом не видал никакого медведя.

Жил Антон Петрович на Таврической в двух шагах от Заячьего переулка, — тут и трамвай останавливался. Но сядил он подальше на следующей остановке, а не против писчебумажного магазина — против магазина, хоть и не так уж

людно, да ему-то никогда не удается: то газетчик-мальчишка перебежит дорогу или автомобиль загудит с Таврической, — так вскочить и не успеешь.

После же службы с Невского всегда пешком возвращался Антон Петрович и, стало быть, всякий день обязательно проходил мимо магазина Деллен, и за этот месяц случилось и в самый магазин заходить. А узнал о медвежонке он только сегодня.

Баланцев за завтраком, когда разговор зашел о всяких петербургских диковинках, помянул о медвежонке.

— Видели, какой чудесный медведь у вас на Суворовском!

Баланцев большой был любитель всяких редкостей.

— Который? — растерялся Антон Петрович, — где?

И крошки розаночка так и запрыгали на его кустатых, из носу вылезаящих, ничшенианских усах. Антону Петровичу сразу представилось невесть что: и белый медведь — который живет на льдине, и другой — бурый медведь — который медведь в лесу ест мед и малину, и шкура медвежья — такая медвежья шкура у бухгалтера Тимофеева в его кабинете около дивана лежит, и окорок медвежий — на Моховой в колбасной у Шмюкинга выставлен медвежий.

— Неужто не заметил? — не отставал Баланцев.

Антон Петрович, медленно зацепившись за окорок, хотел было выпалить:

«Очень вкусный».

Баланцев перебил:

— Знатная для ребятишек игрушка.

— Настоящие-то по Лубянке бродят, а у нас в Петербурге медведи игрушечные! — подал голос доверенный Федотов «из жеребьячьего ряда», остря над последним московским известием о беглых медведях.

— Я так и полагаю, не настоящий.

Антон Петрович подозрительно перевел свои темные глазки: не насмеются ли? Никто не смеялся.

А Баланцев и подавно: Баланцев давно бы рассказал о чудейственном суворовском медведе — от медведя был он не в меньшем восторге, чем ребятишки и прислуга, липнувшие к витрине — да только вчера, выбравшись, наконец, со своей Монетной на Суворовский, в свои старые места, наткнулся у Деллен на диковинку.

Конечно, подозрения напрасны! — засопел благодушно: еще бы! никто не проник в его мысли, спутанные медведем, и ничего он такого не сказал несуразного.

— Вам, как мыслителю, не до медведей, Антон Петрович! — довершил Баланцев полное его удовольствие.

Антон Петрович слыл не только в инспекции, но и во всей конторе за образованнейшего человека или, как сам он любил о себе говорить, за мыслителя, которому, чуть ли не единственному на свете по прямому преемству от Шопенгауера поручено было блюсти на земле черный глаз на мир и жизнь. И находясь на такой исключительной высоте избрания, расценивал он и сослуживцев своих и так всяких встречных прежде всего по их отношению к себе, требуя от них, слепышей, которым доступны лишь самые маленькие обиходные мыслишки, молчаливого или громкого одобрения всем без исключения своим словам и поступкам.

— Вашего медведя я непременно посмотрю! — с полным сознанием высоты своей и достоинства сказал Антон Петрович, покровительственно кивая Баланцеву. И с удовольствием докончил завтрак. Но всё-таки, как же это так — целый месяц? — а медведя он не заметил? И это при всей-то зоркости его глаза и замечательности? Занозила мысль медвежья, перебивала гладкие служебные мысли.

2.

Запоздалость произошла не потому, чтобы там какие «коварнии человецы» вроде лавочника Пряхина, поставщика сладкой смеси, отвели бы глаза Антону Петровичу, и не от рассеянности, возможной с человеком задумчивым, погружен-

ным в размышление, тем чудачком Прокоповым, что натыкается на прохожих и проходит свой подъезд. Нет, смешно и говорить об этом.

Антон Петрович, хоть и чувствовал себя незаурядным мыслителем, да боек не был на мысли и уж никак не погружался.

И за весь его долгий пеший путь с Невского дай Бог какая безделица в виде немудреного житейского соображения или воспоминания нетрудного сиротливым огоньком поблескивала в его взмученной душе.

Нет, вся причина такой запоздалости заключалась в том, что весь его пеший долгий путь с Невского самые разнообразные вещи — весь Невский — проходили через его душу — с магазинами и пешеходами, с Невским ветром, трамваями, автомобилями и извозчиками. И без всякого видимого толку — рыбаковские модные жилеты с соловьевскими сигами, филипповский крендель с пестрыми сытинскими книгами, белая магическая палочка городского с булавскими, здобновскими и жуковскими фотографическими карточками, кавалергардская каска с сумаковским творогом, ждановские процентные бумаги с японскими веерами, синие и малиновые шары староневской аптеки с линденовскими часами и золотыми иконами. Куда уж что разбирать!

И как не верти глазами, вещи полной Невой наплывали, закручивались бессмысленно и без порядка — и сновала одна муть, как Фонтанка, смесь — апельсиновые корки и огрызки. И в ушах стоял шумящий хлыв.

Городовой на перекрестке со своей белой палочкой следит за экипажами, чтобы давали дорогу трамваю, да чтобы ломовики сворачивали с Невского; бритый биржевик соображает о бумаге, как бы так половчее на грош пятаков схватить, военный о войне, голодающий о хлебе, монах о искушениях, женщины о нарядах, чудак о ерунде, жулик о чужом кармане, актер о интриге, хроникер о происшествиях, сыщик о воре, гимназист о двойках, археолог о тридевятом веке — ну, всякий о своем, всё подбирая к себе, к своему заветному,

смысл которого, пусть и самый ничтожный, есть смысл жизни, — тот дух, те крылья, какими держится на земле ползкий коротенький человеческий век.

Антон Петрович, в пешем пути своем через весь Невский, ни к чему ничего не подбирал, весь отдаваясь на волю цепляющимся вещам и невскому ветру.

И не будь у него безделицы в мыслях, немудреного житейского соображения или воспоминания нетрудного, или, как вот сию минуту, игрушечного заводного медвежонка, ей Богу, его разорвало бы, и перемешало бы, разнеся по кусочкам, в общей смеси с невскими вещами — с банновской сигарой, механической обувью, тележкинской ветчиной кому что.

Да, только теперь, когда его, как кошку, потыкали носом, возвращаясь со службы с одной нераздельной медвежьей мыслью о заводном медвежонке, Антон Петрович на углу Заячьего переулочка обратил внимание на окно писчебумажного магазина Деллен. И вправду, он увидел медведя: медвежонок хапал пастью и махал глазами.

Антону Петровичу очень понравилось. И он постоял бы подольше, полюбовался бы на медведя, но стоять с ребятами и прислугой показалось ему неудобным.

— Еще смеяться будут.

Только в свою собственную квартиру входил Антон Петрович без опаски, в других же местах, растворив дверь, обыкновенно сразу же терялся, забывая и самые простые слова, какие держал наготове, и часто говорил, что приходило на ум, и, случалось, ни с чем несообразное.

— У вас лягушку-квакушку покупал.

Антон Петрович выпалил, входя в писчебумажный магазин.

Продавщица, барышня толстенькая, а такие нравились Антону Петровичу, смотрела на него приветливо.

— Дайте мне папку! — поправился Антон Петрович, собравшись с духом, — я у вас покупал папку.

Какую вам папку?
Барышня добродушно улыбалась.
— Черную такую.

Антон Петрович помахал шляпой на полку, где лежала бумага, и от волнения лицо его еще больше засалилось.

Барышня, поставив стул, полезла за папкой.

— Точно такую! — чуть не крикнул Антон Петрович.

И повернулся от прилавка к столику. Весь столик был уставлен фарфоровыми собачками. Этих собачек он давно любовал и раз даже на Святках хотел купить, но почему-то купил бумажную зеленую лягушку — для бумаг зажим.

И когда так стоял Антон Петрович, взорившись на фарфоровых собачек, случилось несчастье: под барышней, разыскивающей папку, подломился стул.

На треск Антон Петрович обернулся и увидел одну ногу в сером пуховом чулке, и нога показалась ему гораздо толще, чем это должно быть.

И эта самая нога в чулке втиснулась в его память и подняла другую заглохшую собачью мысль.

Пользуясь тем, что барышня ошарашена и занята только собой, Антон Петрович протянул руку к столику и, не глядя, сунул что попало себе в карман.

Барышня отделалась только испугом. Раскрасневшаяся, подавая папку, улыбалась еще добродушнее.

Никакой папки не видел Антон Петрович. Он видел ногу в сером пуховом чулке, и нога была толще, чем он предполагал, и эта живая нога имела лицо раскрасневшееся и добродушно улыбалась.

Да еще он чувствовал у себя в кармане, да так чувствовал, как глазами видел — беленькую фарфоровую собачонку.

И только, когда барышня зашуршала бумагой, завертывая папку, Антон Петрович очнулся.

— Не надо завертывать! — сказал он нетерпеливо, — зачем завертываете? Я — сосед. Так донесу. — И раскланываясь больше, чем это следует, пошел к двери.

И вдруг почувствовал, как ноги его как-то во внутрь сгибаются, словно их сводит и оттого скорее идти невозможно. Барышня смеялась ему в спину — от заспинных насмешек такое бывает. Или стыд сводил ему ноги?

Вот он, Антон Петрович Будылин, помощник инспектора — мыслитель — преемник Шопенгауера, стянул какую-то фарфоровую собачонку, которой и цена-то грош.

Барышня и в самом деле смеялась, — ну, и как тут удержаться, одни эти поклоны стоят!

И то была правда, что застыдился он, только совсем не оттого, что сделал недозволенное и осуждаемое — украл собачонку.

Нет, совсем не оттого.

Если бы был он уверен в безнаказанности, он и не такое бы еще сделал. И, кажется, не было греха, который не совершил бы он просто из озорства и любопытства. И ему приходилось только печаловаться, что на его душе нет ни завалящего убийства, ни растления, ну, ничего, нарушающего Десятисловие. Да, не будь у него страха перед наказанием, перескочить через ограду святых правил и всяких законов было бы для него делом плёвым. И застыдился он только оттого, что представил себя уличенным.

Медвежонок хапал пастью и махал глазами.

Антон Петрович отвернулся. И, благополучно перейдя на ту сторону, пошел ровно: стыдиться нечего было — не схватят!

Скажу еще об этой его стыдливости — злом демоне неотступном: стыдился он и не только потому, что его уличить могли, он стыдился вообще всего, что не одобрял любой болван, под глазом которого он оказывался. И сколько можно было представить судей, столько и стыдных поступков, и среди людей добрых он стыдился, что никого не спас и не помог никому, а среди злых, что не убил. Стыд у него был всеобъемлющий.

Маленькая худенькая нищенка с блестящими глазками,

вся зеленая, перебежала с угла Таврической от Николаевской Академии и кивала Антону Петровичу без всякого попрошайства.

Антон Петрович всякий день подавал ей. И на этот раз по привычке он опустил было руку в карман. И быстро выдернул, коснувшись чего-то холодного — собачонки — краденой.

— А я думал, тебя зовут Анюткой, — подмигнул Антон Петрович нищенке.

Так всегда одно и то же говорил он нищенке. И повелось это с тех пор, как узнал он, что зовут ее не Анюткой, как вообразил он, а Надя.

Ощериваясь, как собачонка, нищенка, не получив две копейки, дань Бudyлина, жалобно заглядывала ему в глаза.

— В другой раз, когда у вас будут! — вдруг объяснила она себе из своего горького, так ранним рано оскорбляемого сердца.

И, щерясь и кивая, пустилась на ту сторону к медведю — стрелять у трамвая.

Еще надо было Антону Петровичу купить коробку сладкой смеси, — ну, тут не страшно, лавочник знакомый! — да еще вечернюю Биржевку.

Антон Петрович читал газеты из пятого в десятое. Русской жизнью совсем не занимался, просматривая одни только заграничные известия, — а ведь, для этого, пожалуй, и газеты не надо покупать. Но газетчик раскланивался, да и все покупали.

А ведь первое, чтобы скрыть от людей свою непохожую взмученную душу, надо поступать так, как все поступают.

С Биржевкой и коробкой пряжинской смеси и черной делленской папкой поднялся Антон Петрович к себе на верхотуру.

И, не раздеваясь, прямо прошел в свою комнату, всю заставленную, где обыкновенно проводил свои одинокие вечера.

Распечатал смесь и набросился на конфеты. И всю бы прикончил коробку — и полконфетки не осталось бы к чаю — если бы не старуха Овсевна:

— Обед готов.

3.

Дома носил Антон Петрович черную косоворотку с ремешком, ремешок, как всегда, оказался перевернутым, а сорочка горбом надулась.

Недоеденную коробку со сладостями накрыл Антон Петрович Биржевой, а папку положил к папкам, где хранились у него старинные петербургские документы.

Сделать что-нибудь для Петербурга, для его славы, закрепить память единственную петровскую, стало еще с юности, от «младых ногтей» его, еще там, в Москве колыбельной, им самим предназначенное дело.

Кажется, всё было в порядке, и Антон Петрович перешел в ванную. И там долго копался — мыл руки: перетирал каждый палец отдельно; потом примочил себе волосы. И пошел в столовую.

На непомерно длинном столе краешек накрыт был поверх клеенки скатертью, — тут у краешка он и уселся за трапезу.

Ел Антон Петрович по-своему, жуя из всех челюстей с остервенением, — привычка еще с детства, и сам он давно подметил всю непривлекательность такого своего кошачьего уписывания и на людях стеснялся.

Старуха узнавала по чавку, — а этот будылинский чавк слышен был в кухне, — и по оттенкам чавка соображала, нести перемену или погодить.

За последнее время, правда, на этот природный самозвон не очень-то можно было рассчитывать: со старухой всякое бывало: бывало и чавка не слышать, присвист один стоит в столовой, кончил, значит, зубы прочищает, а она сидит себе у теплой плиты, клюет носом; а то вдруг схватится и совсем не вó-время, да проворно так, всё со стола и начнет прибираться.

Антон Петрович кончал второе, когда пришел сапожник.

— От сапожного мастера сапоги принесли, получить ждет! — Овсевна просунулась в дверь.

На второе были ножки в сухарях — любимое кушанье, и вставать из-за стола не хотелось: нетерпение же посмотреть сапожную новинку одолело. С липнувшими пальцами вышел Антон Петрович на кухню.

Мучительным из мучительных дел житейского обихода было для Антона Петровича — во-первых, объясниться — слова путались и говорилось совсем не то; во-вторых, искать по путеводителю поезд — тут он всегда такое покажет и, если послушать, то обязательно не туда заедешь; в-третьих, рассчитывать — без бумажки так он ни за что не мог сосчитать и самую простую мелочь, и всякие расчеты обыкновенно кончались тем, что, пересчитывая вслух и толком ничего не сосчитав, отдавал он, точно не зная сколько, а чаще больше того, чем следовало.

Сапожнику мальчишке, спутавшись в счете, Антон Петрович прибавил еще на чай: прибавить надо было.

Антон Петрович предпочитал русский костюм всем костюмам, всю жизнь мечтая о поддевке и высоких бутылками сапогах, а это были вовсе не сапоги и не штиблеты на резинках, обычная будылинская обувь, это были высокие ботинки со шнурками — новость, на которую решился он только по обстоятельствам чрезвычайным.

С тех пор, как познакомился он с Машей Тимофеевой, случилось с ним что-то, — он сам не мог сказать хорошенько, только как-то подтягиваться стал. И вот задумал обзавестись шнуровыми ботинками, какие все давно уже носили, да ему-то не попадалось. И купил такие ботинки, да носить-то никак не может наловчиться: то шнурки затянет ни на какую статью, то спустит, как поводья, и до швейцара не дойти, по земле путаются. И кончил тем, что шнурки оборвал и натёр мозоль.

Сапожник переменял шнурки, а ботинки растянул на колодке, теперь в самый раз, на ногу.

Антон Петрович забрал из кухни ботинки — острый сапожный дух так и шибал! — поставил ботинки рядышком на стуле и взялся доканчивать простывшие ножики.

На загладку полагался саговый пудинг и жиденский клюквенный кисель.

В еде, как и во всем обиходе жизни своей однообразной и одинокой, Антон Петрович отличался особенным постоянством: по неделям изо-дня в день готовились на обед ножики в сухарях, потом неделями котлеты с горошком, и неизменно саговый пудинг на загладку.

— Нюшка племянница заходила, страховку требует Максим Назарыч, — подала голос Овсевна.

Антон Петрович, занятый пудингом, сразу не понял: и какую страховку и кто такой Максим Назарыч?

Племянница же старухи Нюшка, которую он уже давно задумал взять к себе на место старухи, — эта гладкая Нюшка с пухлой рожой и зверским ртом, вдруг стала перед ним ногой в сером пуховом чулке барышни из писчебумажного магазина Деллен — ногой толще, чем он представлял себе. И эта нога вызвала в нем память о краденой фарфоровой собаченке.

Он вспомнил, что в пальто, в кармане за носовым платком, где-нибудь прижавшись в уголку, лежит тихо и смиренно собаченка.

— Девка гладкая, нос шишечкой, а ничего не жрет. Накупит пирожных, пирожными и питается. «Дура девка, говорю, пирожными сыт не будешь!»

— А как она на счет этого?

— Я и то говорю: «ты, может, тяжелая, пирожные-то жрешь?». «Не-т, говорит, тетенька!» Известно, дура.

Подъев весь пудинг, Антон Петрович вышел в переднюю.

Там нащупал он карман, тихонько запустил руку — какая холодная, она самая, конечно, собаченка!

Но когда вытащил он на свет свою воровскую находку, весь так и вздрогнул: не фарфоровая собаченка, вовсе не со-

баченка лежала у него в кармане, а самый подлинный, как игрушка, блестящий, холодный браунинг.

4.

Откуда и как пошел Антон Петрович Будылин?

Вот он в забытьи ума стоит с этой своей блестящей собачкой, совсем не той, какую взять метил тогда у медвежонка от ноги в сером пуховом чулке, раскрасневшейся и улыбающейся — и скажу вам: та-то фарфоровая лежит себе преспокойно, только не в левом кармане, а в правом.

Вот стоит он и в толк не возьмет, откуда взялась такая необыкновенная и никак неожиданная: подсунул ли ему кто, злой насмешливый человек, или собственная мысль его, промелькнувшая среди смутных взбудораженных мыслей во взмученной душе, собственное желание, подавшее голос из немого сердца, стало вещью и необыкновенной и никак неожиданной.

Вот и стоит он, крепко держит блестящую собачку, и одни усы кустатые торчат — —

Где же и когда зародился такой беспамятный человек?

О своих годах Антон Петрович не любил говорить.

Нынче на Святках у Тимофеевых, когда разговор коснулся возраста человеческой жизни, Антон Петрович, не сводивший глаз с Маши, вдруг точно возмутился.

— Всегда говорят мне, — сказал он, возмущенный — будто жалеть буду, что не женат! Но когда же, спрашиваю я, разве после пятидесяти лет жалеть буду?

Антону Петровичу и на самом деле пятидесяти нет, ему и до сорока пяти еще с год подождать.

А если виски у него седые, и весь он — всё салящееся лицо его в мешках, метрические годы тут совсем не причем, это уж так природой сделано. И жениться ему еще не поздно.

А зародился Антон Петрович от русского корня из третьего и последнего Рима — Москвы.

Сын благочестивых родителей — так повелось начинать жития подвижников, так будет и тут уместно, потому что жизнь Будылина и труды его поистине подвижнические! — провел он первые годы свои на Трубе у птичьего толкуна, где по воскресеньям вся Москва голубями торгует.

Когда же отец его Петр Петрович вышел в отставку — «папаша в полиции служили!» — скромно говаривал Антон Петрович, — обзавелись они собственным домком у Покровского монастыря, туда и переехали.

Было их много детей — сестер и братьев, большая семья.

Да одни еще в детстве перемерли, а другие — кто пошел счастье искать, да так и сгнули; сестры замуж вышли и разъехались по провинции, помер отец.

И осталась Аксинья Матвеевна с младшим, любимцем Антошей.

А жила с ними тетка, сестра Петра Петровича, Олимпиада Петровна, бабушкой ее все звали — древняя старуха об одной ноге.

— Почему это у бабушки одна ножка с мясом, а другая деревянная? Свинчатка? — скажет, бывало, дотошный!

Или пристанет:

— Найди ключевую косточку!

А когда на Москве-реке утопленника выловили — сосед лавочник потонул, Спиридон Иванович — и много об этом было разговору, совсем извел бабушку:

— Когда ты, бабушка, утонешь, ты хватайся за дно!

Затейный рос мальчишка, — бесенок.

Стал подростать, отдали учиться. И засупился. И такой опальчивый сделался, как подменили. Всё за книжкой, слова не добьешься, или пойдет, не скажется и пропадает Бог весть где.

Гимназию кончил с медалью, а в университете и году не проучился, погнажи.

Много было огорчений Аксинье Матвеевне и бабушке об одной ноге.

Чтение книжек обострило и затнало все его мысли к одной огненной мысли. И эта мысль зажгла его душу.

Весь мир сошелся у него в одном огненном деле. И этому заветному огненному делу и положил он отдать свою жизнь.

5.

Две сказки рассказывал русский народ о душе человеческой: какая цена душе и какой ответ за душу?

И по одной сказке выходит так: не только убить человека, а и подумать о таком, в конец пропадешь!

Ты только помыслишь об убийстве, и уж мысль твоя, как нож, — и тому, на кого замыслил, не сдобровать.

А за это душе-то твоей и в сей жизни уготовано место, — не позавидуешь!

Мысль и дело — одно: от мысли станется, а кто сделал, неважно.

Не убий, не мори и помыслишь убить! — таков первый завет — воля народная.

По другой же сказке выходит как раз наоборот: убить вменяется, коли обреченный несет в себе зло.

Зло проклято, нет оправдания, и даже кровь молчит.

Убий! благословен убивший! — таков второй завет воля народная.

Две сказки — два завета.

Сказка складка, а есть и быть.

Русский народ оставил и дело — завет самосожигающейся «последней Руси», — огненный крест.

Если враг душит жизнь на земле, сквернит ее святая святых и на земле нет больше правды, во имя родной земли, ее святынь и правды, грядет час страстям — вольная вольная огненная страсть,

Не убий! себя убий! смертью на смерть!

Таков третий завет — воля народная.

Три завета из души народной от истерзанного, перемученного,

чившегося неправдою жизни, и вот прозревшего совестливого сердца.

По-другому сказанные, другим словом выраженные, живут они в душе народной и ходят по русской земле глубинным путем, как ходит в мире грех.

«Хождение в народ» со всем отречением, месть за обиду народную, огненная мечта о счастье мира, вольная виселица, — да это такое русское, заветное, завещанное русским народом — русской сказкой и **былью**.

Мысль об огненном деле потрясла душу Антона Петровича, совсем еще тогда юного и непорочного.

Приятели его, разделявшие его одинокую мысль, считали дело не менее важным и тоже готовились к нему, но такого ожесточенного устремления, такого захвата и прямоты ни у одного из них не **было**.

А что за ожесточение было в нем, можно судить по его исключительной нетерпимости: когда он узнал, что деятель — так называли они людей, делающих то единственное нужное дело, к которому и сам он готовился, — этот прославленный деятель, на которого указывали ему товарищи с большим уважением, курит — возмущению его конца не было; и до тех пор слушавший с замиранием сердца рассказы о похождениях этого деятеля, теперь он не захотел с ним и знакомиться.

«Как может деятель что-нибудь делать, кроме дела?»

И такое ожесточение его не от тупоумия и вовсе не единственный случай одинокого, захрясшего в устремлении своем на одной мысли о каком-то единственном ответственном деле насупленного человека.

Само собой, в первой же студенческой демонстрации Будылин принял участие.

И, хоть ровно ничего он не сделал преступного и слова не обронил, да видно за одну его насупленность и погнали из университета.

И то, что его погнали и в восемнадцать лет очутился он

один с одной своей головой, в которой все мысли скрутились в одной огненной мысли *к делу*, — это его нисколько не огорчило, напротив — теперь-то и приступит он к самому настоящему делу!

Оставаться в доме с матерью и бабушкой об одной ноге было совсем некстати, а тут подвернулся товарищ его Кудрин, тоже исключенный.

И недолго думая, поехал он к приятелю в деревню: там вдали от дома, в деревне будет ему простор делать большое дело.

Ранней весной в первый раз он приехал в деревню.

На всю жизнь не забудет — какая земля дышащая, как живая грудь, какая трава, первые цветы, первые птицы, и особенно те весенние теплые дни, пасмурные от испуленного дыха рождающихся жизней — всё шевелится и копошится, вылезает, растет.

Как очумелый, ходил он, разиня рот — всю его мысль вышибло! — не говоря, а мыча, ничего не помня, не понимая, а только глаза и слухая.

К началу лета обжился, осмотрелся и принял твердое и бесповоротное решение всего себя посвятить делу.

И первое, что он сделал, это написал письмо в Москву матери: принципиально разрывает с семьей и прерывает всякие письменные сношения с ней и с бабушкой навсегда.

И опять Аксинье Матвеевне кручина: что ей с Антошей делать? — и дом оставил, и ни за что ни про что от матери отсекся!

Три недели собиралась старуха, думала думу.

И надоумилась: разыскала одного из приятелей Антоши, студента Харина, собственноручно письмо написала, — всё-то слезами искапала.

И упростила студента отвезти письмо в деревню — да чтобы сам и в руки передал, да разговорил, авось одумается!

Да и сáек московских не забыла старуха, передала Антоше — московский гостинец от себя и от бабушки.

Харин в студенческих беспорядках принимал участие, но как-то цел вышел, не тронули его. А старухе он из всех товарищей антошиных больше всех по душе был: и добротой и веселостью.

И надо сказать, все они, товарищи-то антошины, выгнанные и уцелевшие, не под стать были Антоше: книга книгой и разговоры всякие — в этом всё их и дело — а развлечения само собой, и никакой насупленности, разве который начнет, чтобы постарше казаться.

После уж узнал Будылин, что и Харин, посланец московский, и Кудрин, у которого он жил в деревне, оба товарища, готовясь к общему делу, участвовали не только в их кружке изучения аграрных программ, а и совсем в другом: восемь душ их было в другом-то кружке, и на всех была одна —

Письмо ли, слезами искапанное, собственноручное, сайки ли московские, или разговоры Харина, а произвели свое действие.

А, может, просто соскучился по городской жизни — непривычному-то в деревне не больно гораздо!

И покатил он блудным сыном назад в Москву.

И эта его поддача на московские сайки — а он именно так впоследствии всё и объяснил себе сайками — решила всю его жизнь.

Изуверским языком тех самых книжек, какими он вза-сос зачитывался и какие по догадкам Аксиньи Матвеевны и загнали его, сказал он тогда себе, уласканный домом, теплом, матерью старухой и бабушкой об одной ноге, выговорил он слово к слову, попивая чаек московский с московскими домашними сайками — ведь, нигде, только в Москве такие и пекут! — как пух, легкие, с соломкой:

«Если я допускаю такое недопустимое совместительство семейных связей с аскетическими принципами — жить исключительно для дела, то приходится расстаться с принципами!»

И вот до тех пор не участник никаких восьмерок, ужас-

нувшийся, если бы кто о таком открылся ему, он первым делом, расставаясь с принципами — с заветами своей одинокой мысли, пустился как раз по этой самой дорожке.

И в первый же вечер своей новой жизни загулял в веселом доме.

Московская горка — бульвары с Соболевкой и солдатской Грачевкой, — вот его новое и единственное дело без размышлений, книжек и всякой ответственности.

И в день совершеннолетия своего, когда напишет он себе программу жизни — свой собственный завет, отрешась от всяких заветов, он поставит на первое место это новое свое дело:

«Провести счастливую жизнь, причем главный элемент счастья половые, а если удастся, и романтические отношения с женщинами».

Насупленный, дикий — нет, и веселая московская Горка не улыбнула! — оболтус, шатающийся вечерами по бульварам и ничуть не похожий на добродушного Харина, участника восьмерки, ни на Кудрина, пролившего свое безделье в деревне, ходил он кобелем, готовым вскочить на первую встречу — без разбора.

С зимой бульварные шатания кончились — сердце ли сорвал или набило оскомину? — и опять покатило он в деревню к приятелю.

И опять Аксинье Матвеевне горе: что ей с Антошей делать?

Издредка получались письма, извещающие мать о полном благополучии и совершенном здоровье.

Аксинья Матвеевна просила вернуться.

А в ответах ни слова не было о возвращении, но зато была какая-то непохожая, не будылинская совсем, нежность, точно не он и письма писал.

Нет, это его, он писал.

И не даром в программе жизни — в своем собственном завете он поставит —

«Сопоспешествование счастью близких».

А в близкие само собой первыми попадали мать и бабушка.

«За московские сайки».

Так после насмеялся он сам над собой.

А всё-таки домой не поехал!

И как ни плакалась старуха, как ни просила, торчал в глуши — какая даль! — сколько верст от московского дома.

Целый год прожил он безвыездно в деревне.

И тут среди людей невзыскательных, главным образом, женщин, он вообразил себя мыслителем — кличка, осталась за ним и до сего дня.

Да и как было не поддаться лукавому: за год-то своего деревенского подножного шалопайства он сделал, как сам и уверовал тогда же, величайшее открытие — о произвольности всякой морали.

Вверх ногами опрокинув скрижали всяких заветов, он перемешал добро и зло.

И почил во славе.

А прославив самого себя, возжаждал признания.

И слава стала одним из заветных его желаний.

И в день совершеннолетия своего, а оно наступило в дни его собственного прославления, он начертал свой собственный завет на место низвергнутых.

В первую голову поставил он свое счастье — женщины и слава!

А последним стоял Петербург, — история Петербурга.

Скука ли деревенская, тоска ли по городу, или, как коренной москвич, почувствовал он в Петербурге вызывающее что-то, перевертывающее весь московский завет, вот на зло и поставил —

Сопоспешествование истории петербургской.

За год деревенского шалопайства, сделав свое открытие о добре и зле, он всем существом понял раз и навсегда: без

непосредственного удовольствия ничего не мило в жизни, а лишь по-милу и цена, и сама жизнь желанна лишь как праздник, удовольствие, а вся деловая сторона жизни, труд, за первенство которого он хотел когда-то умереть, — скучное и проклятое дело.

«Женщины и слава!» — вот первое.

И к этому весь ум и все заботы.

6.

Померла бабушка об одной ноге.

Известили — не приехал.

И похоронила без него Аксинья Матвеевна бабушку.

А бабушке-то уж как хотелось в последний раз посмотреть на Антошу.

«Посмотрю и Богу душу отдам!»

Приехал он уж проститься с самой Аксиньей Матвеевной.

Немногим пережила она бабушку — по одной по дорожке пошла она на тот свет, понесла к Богу два мешечка гостинцев — свое желанное сердце да горькие слезы.

И отвезли Аксинью Матвеевну к бабушке в Покровский монастырь — там когда-то в век самосжигающейся «последней Руси» было заложное кладбище — для горемычных, странников, замерзнувших и от напрасной смерти погибших, для всех несчастных.

Где нашел место покоя Савватий старец — Стефан Вонифатьевич, кротчайший соборный протопоп благовещенский, духовник тишайшего царя.

Похоронил Будылин мать и уж как-то очень один остался.

И если понадобилось бы по какому разлучному завету, не надо уж никаких и связей порывать — всё порвано и не по воле немилостивой, а по судьбе праведной.

Впрочем, об этом он и не думал: огненное дело свое он

ведь еще тогда похоронил под сайками и всякую память изгладил своим заветом — счастьем с женщинами и славой.

От матери остались кое-какие деньги да еще и дом у Покровского монастыря.

Что ему делать?

Да что делать — для славы надо что-нибудь выдумывать, ведь женщин-то сколько хочешь — и Соболевка и Грачевка.

Думал Будылин опять закатиться в деревню и там что-нибудь выдумать, написать такое сочинение, чтобы всех с толку сбить.

Да видно не судьба: тот приятель его Кудрин, пропивавший деревенский досуг свой, вдруг отрезвился, всё добро свое отдал своим сестрам, разделил весь дом и ушел странствовать по белому свету — за святою Русью — за горемычными, странными, беспокойными — за теми, кому тесно в нашей тщете и отчаянии.

И Будылину самое бы подходящее дело тоже начать странствовать — не торчать же ему в самом деле в опустелом гнезде у Покровского монастыря! — ну, странствовать не за святою Русью, по-своему как.

На том и решил.

И тут в первый раз в жизни добром помянул он и покойницу мать и покойницу бабушку об одной ноге: без их кубышки куда б ему!

И долго не собираясь, уехал за границу.

И пока хватило денег, странствовал.

И то, что до отъезда еще связывало его с родной землей — с Покровским монастырем, с могилой матери и бабушки, тут на старой земле в Париже, где-то на Сан-Мишеле, окончательно порвалось.

О старом Петербурге, о истории петербургской, он еще держал в мыслях на зло Москве саешной, но России — родины русской для него больше не стало, как не стало больше

человека — «венца творения Божия», а стала одна тварь — от звезды и до чумной бациллы, на небо вопиющей.

Помнит он, на всю жизнь остался в его памяти день: в Париже попал он в Дом Инвалидов и увидел великую могилу.

Какая охватила его жалость и презрение к человеку, перед саркофагом которого почтительно снимали шляпы — кто-то даже прикрикнул: «шляпы долой!»

А к жалости и презрению прибавилось еще и возмущение перед ничем неумолимой издевательской судьбой: мировая слава, кровь и глумление над этой кровавой славой.

Из Парижа он переехал в Женеву.

И в этом скучнейшем и чистейшем из городов Европы довершил свое отчаяние.

А и вправду, два черных глаза открылись на мир и жизнь.

Истратив все деньги, почернелый вернулся Будылин в Россию.

России не было — родины не было, одно географическое название: Россия!

И остался еще дом у Покровского монастыря да память о Трубе — «папаша в полиции служил!»

Дом Будылин продал, и это дало ему возможность протянуть еще с год без всякого дела.

А к тридцати годам пришлось задуматься о проклятом и скучном деле: надо же как-нибудь перебыть на подлейшей земле среди подлейшей твари!

И тут совсем неожиданно повезло.

Приятель его Харин, участник веселой осьмерки, он же и посол с московскими сайками, решитель судьбы, любимец Аксины Матвеевны, вытянул его из беды.

У Харина, выдвинувшегося адвоката, нашлись связи и место было готово.

Место спокойное, никаких особенных мудростей не требующее, — в петербургской страховой конторе на Невском.

Так навсегда и распростился Антон Петрович с Москвою.

7.

Служба далась нелегко.

Правда, дело не требовало никаких мудростей, но ведь Антон Петрович не мог сообразить и самых простых вещей.

Хотя со временем попривык и кое-как наладил то несложное дело, которое составляло его обязанность, понимать-то мало понимал, что собственно такое делалось в этой страховой конторе, где можно было, а это он хорошо понял, и без царя в голове при связях занимать большое место.

Не легка еще показалась служба и потому — и это, пожалуй, первое и самое главное! — что ведь самым ненавистным было для него всякое принуждение — труд обязательный.

И каким счастливым почувствовал бы он себя, если бы вдруг кончились все дела!

А отпусти ему Бог хвост и обеспечь покойную жизнь, да он, поверите ли, сумел бы обернуться — примостившись где поудобнее, и тихо и смирно помахивал бы он хвостом день и ночь.

Только злая необходимость — ничего не поделаешь, жить надо! — будила его всякий день, выгоняла на улицу, на Суворовский, и вела на Невский в контору.

И та же необходимость заставляла его коверкаться, подлаживаясь под проклятое дело — как березовый шкаф поддельвают под орех, так и он поддельвал себя под этих людей проклятого дела.

Он сознавал свою непохожесть и избранность, и какую потерянность и приниженность испытывал он, как только требовалось по житейским делам пошевелинуть пальцем.

Ведь, чтобы наловчиться жить, надо стать лицом к лицу

с жизнью, а он, занятый самовосхищением и избранностью своей, только и делал, что обегал жизнь.

Только из самолюбия он пускался на хитрость: он притворно выставлял себя участником жизни.

И другой раз это удавалось ему.

Подрядчик Александров даже уверовал в особую деловитость и житейскую смышленность Антона Петровича, а главное в его благочестие.

И всякий раз, собирая к себе в дом на обед синодских владык, случавшихся в Петербурге, обязательно звал и Антона Петровича. Больше того, единственному Антону Петровичу доверил он под величайшим секретом свою истайную тайну.

Подходил десятилетний юбилей, как вел подрядчик подробнейшую запись не только словам, произносимым владыками на обедах — какие уж там слова за первым лакомым сортом? — нет, совсем не словам, а кушаньям, лакомым первым сортам, пожираемым владыками, с пометой против всякого, много ли чего скушать изволил.

И такую достопамятную запись — советовался подрядчик — ловко было бы издать к юбилею и именные книжки поднести дорогим гостям.

Если бы подрядчик хоть что-нибудь видел в своем советчике — страшно и подумать! видел и чуял, какое добро скрывалось за одобрением и поддакиванием.

Антон Петрович всё одобрял.

Антон Петрович не причислял себя ни к какому классу, а из народа просто вычеркивался.

Народом для него была старуха Овсевна, которую терпел он по своей необыкновенной лени — ведь и тут надо было пальцем пошевелинуть! — а искать прислугу, да это такое беспокойство, и лучше пускай расчленился старуха на две старухи и уж две Овсевны, две костлявые засядут ему на плечи, нет, искать новую дело невозможное.

Народ для него был вещью темной и грубой.

Еще тогда, до саек московских, однажды в деревне очутился он среди мужиков и почувствовал такую растерянность, да больше никогда и не пытался подходить поближе.

«Мужик скорей свинью накормит, чем голодного человека», — сказал как-то Кудрин, деревенский его приятель.

«И хоть ты мёд ему на голову лей, всё будет кричать: горько!»

Нет, Бог с ним, с народом — ладней со скотом бессловесным — кнут и лаской!

Но это только так казалось Антону Петровичу — животных он боялся: ему страшно было погладить собаку или кошку, не меньший страх внушали и лошади.

А с кем он мог расправляться смело, это только с мухами.

От скота и народа отколот, а верхи закрыты, если не считать обеда у подрядчика с обжорливыми владыками, но и то сказать, иногородний владыка верх!

Он, конечно, по праву мог приткнуться к интеллигенции.

Но интеллигенция-то никогда не признала бы его своим. Политикой он не занимался, а какой же интеллигент без политики, так чучело — чумичела!

Ведь он и газет не читал, а русская жизнь для него была чужой и даже ненавистой.

С интеллигенцией его сближала книга.

Но тут он чувствовал какой-то непобедимый стыд, и когда он нес книгу, он испытывал вроде того, как если бы бубновый туз был у него на спине.

И в книжный магазин входил он с бóльшей опаской, чем в писчебумажный, а и в писчебумажном робел: как бы кто не увидел!

Это ни с чего приходящая мысль так его всего и корчила. Да и самое чтение книги, купленной с такой опаской, он

скрывал, прячась даже от старухи Овсевны, которой никакого не было дела, сидит ли он за книгой или нос ковыряет.

Будь у него дом, наверное, занял бы он место в жизни.

Но дом давно уплыл, и земли у него нет — один горшок стоит на столе: когда-то сирень была куплена на Пасху, как все покупают, да так и осталась стоять — голые прутья, а выбросить страшно, — мало ли подумают что.

Круг знакомых — сослуживцы по страховой конторе.

И в гостях, когда случалось бывать так или в именинные дни, он только и ждал, когда позовут к столу. В карты он не играл — не мог и самых пустяков сообразить.

К людям он относился всегда боязливо, ожидая от них всякой гадости, а желал и требовал, чтобы его хвалили и уважали.

В последние московские дни в канун петербургской службы — проклятого дела своего, шел он вечером домой через всю Москву, и чувство тягчайшее, какое подымается у человека перед неизвестным наступающим и неизбежным, пригнетало его измученную душу.

Многое и заметное проходило мимо, — не замечал он под носом. И так добрался до Таганки, не видя ничего и не слыша.

И вдруг одно и совсем не такое уж приметное остановило его.

У Красных ворот какой-то фабричный, прощаясь со своей спутницей, вынул из кармана мел и без всяких слов водрузил на ее спине во всю спину белый крест.

И Будылин скорчился весь, пораженный и униженный, как будто этот самый крест, позорящий белый крест, вlepил ему на спину фабричный.

«Всякий человек, — подумал он тогда, — всякого другого может оскорблять публично просто так, здорово живешь!»

И горчайшее чувство охватило его измученную душу.

Да, он был прав: всякий может оскорбить тебя так, здорово живешь, и ты ничего не поделаешь, и три, сколько хочешь, никогда не стереть со спины белый позорящий крест.

«Такой уж подлец человек, а русский в особенности», — решил тогда Антон Петрович.

А вскоре испытал и на самом себе, но тут уж Россия была не при чем, — тут было больше.

Около дома играли ребятишки, и, когда он входил в ка-литку, какой-то пузырь забежал вперед и к большому удо-вольствию товарищей, таких же пузырей, мелом провел ему по штанам.

И Будылин вспомнил вечер, Красные ворота, фабрично-го, и к мысли своей горьчайшей тогдашней еще прибавил, что от озорства не спасет никакая одежда, никакое положение, и управы искать негде.

«На человека искать управы негде!» — вот что сказа-лось в его взбудораженных мыслях.

Самое лучшее, конечно, не иметь дела с людьми. Но как это осуществить, когда от людей и можно спрятаться только в могиле.

«И от самого себя!» что-то подало голос из самого сердца.

И он понял, почему эта фарфоровая холодная собаченка — нечаянный браунинг так поразил его.

— Да, и от самого себя!

И Антон Петрович, охваченный страхом, опустил на стол блестящую находку.

— Там разберут милостивее! — сказала Овсевна.

Безулыбная, сморщенная старуха, встревоженная Ньюш-киным известием о страховке: она себе тянула свое — свою печаль.

8.

Обыкновенно после обеда на другой край стола ставила Овсевна самовар, и из столовой запевала такая самоварная

мурмля: спишь — проснешься, а то и сквозь сон не удержишься и нальешь стакан.

Антон Петрович наливал себе крепкого чаю, уносил стакан в свою комнату и пил там не спеша — с удовольствием.

И наступали блаженнейшие минуты.

Можно было подумать, что какие-то особые ангелы, да не те, что землю вертят, а те особые, что над душистыми чаями веют в китайской земле, эти самые чайные китайские ангелы витали над упивающимся Антоном Петровичем.

Усаживался Антон Петрович у окна против брандмауера, попивал чай.

И шли мысли легонько — по-ветру.

Мысль о зле, проникающем мир, осветила ему человеческую жизнь и душу его до самых потаенных уголков.

И от безрадостного взгляда на жизнь, без всякого намека на утешение, Антон Петрович никогда не уклонялся.

И окно его, выходящее на брандмауер, представляло башню — столп, откуда и в самом деле взирали на мир два черных глаза.

Свинья, почуяв, что в навозе есть своя сладость, раз плюхнувшись в навоз, валялась в нем не без удовольствия, помахивая хвостиком, так и Антон Петрович, пораженный еще в дни юности своей злой мыслью, уперся в брандмауер и, не ожидая, а главное не желая ничего другого, вкусоно прихлебывал душистый чай.

Жизнь представлялась ему заколдованным кругом безысходно существующего от века и ничем в веках непреодолимого черного зла.

И он не только мирился и не искал выхода из этого злого круга, напротив, желал, чтобы злой черный круг таким и остался бы на веки.

В этом и была его вера.

И если бы вдруг обнаружилось, что и из этого злого круга есть какие-то выходы, он так растерялся бы, что наверное позабыл бы, где дом его — Таврическая верхотура.

А если бы нашел верные указания, что человек когда-нибудь выскочит из этого злого круга и попадет в другое царство, не черное, райское, — да от одной только райской мысли он потерял бы вкус к — — чаю.

И не потому, что стало бы ему совестно за избранных счастливицев рядом с обойденными, а исключительно от сознания, что вот он, Аятон Петрович Будылин, так позорно ошибся.

Да, если бы он увидел, что мир вовсе не безысходно и неодолимо скверен, в нем оскорблена была бы самая сердцевина его проклятого существования на проклятом белом свете.

И вся услада его сводилась к расширению и углублению отчаянного взгляда на мир и жизнь и в самоуверении, что иначе и быть не может. — И не нужно! Не нужно! — с крипом шептал он бездушному, как живому, брандмауеру.

Мысль его была ленива, наново перестраивать свой взгляд было бы для него не то что тяжело, а просто непосильно.

И он копался в книгах, отыскивая новые подтверждения злой своей мысли, чтобы как-нибудь не сорваться, и до ниточки показать свою правоту и прежде всего перед самим собою.

С какой радостью хватался он за разоблачение всякой утешительной бивальщины, созданной обойденным человеком, чтобы только как-нибудь вынести на свет всё зло и темь жизни.

Хлебом не корми, только расскажи ему о какой-нибудь позорящей «гордого человека» гадости или какое событие, сбивающее с толку человеческую веру.

Оклеветать и поверить в свою клевету — вот первое удовольствие!

Из книжек подбирал он замечания и факты, проливающие свет на истинные человеческие побуждения, от которого не больно поздоровится! — как сам любил похвастать.

А. РЕМИЗОВ

Доставалось вере человеческой, плохо приходилось историей.

Подмигивая брандмауеру, заводил он свой спор и разоблачения.

— Вы знаете, — подмигивал он брандмауеру, — сказание о апостоле Петре и Симоне волхве, как в Риме препирались и как побежденный волхв низвергнут был на землю? А знаете ли вы, что волхв-то тут совсем не при чем, а спорил апостол Петр с Павлом! Первоверховные-то, вместе понимаемые и празднуемые, врагами, оказывается, были, вы понимаете? А еще скажу вам, наверняка-то никто не возьмется сказать, был или не был апостол Петр в Риме, — а скорее всего никогда и не был.

И заведет о римской церкви, как по-домашнему приспособила она Бога — творца — домостроителя — зиждителя, Петрова каменная церковь. — Уж доподлинно каменная, совсем как в благоустроенном доме, с промыслом, всемогуществом и всеблагостью. И всё это в круге зла, черноты и проклятия, понимаете? А для утешения малых сих поставила доброго Пастыря. И никакая сила не одолеет ее. Еще бы, чаек-то попивать всякому хочется, и уже что-что, а от этого никто не откажется и обязательно поддержит.

Из русской истории его особенно привлекало Смутное время, когда во всю распоясалась русская душа изменная, неверная, жестокая. — Всем известная нижегородская бль — Минин и Пожарский! Знаете — Минин-и-Пожарский на Красной площади в Москве памятник в вразумление! Минин кликнул клич к православным за Русь православную, и здравый ум толкнул руку к кошелькам и даже к закладным: «Заложим жен и детей!» Всё это истинная правда. Ну, конечно, где убеждением, а где и силой действовал Минин, чтобы жертвовали. Но дело-то не в том, а вот, когда подобралась разбойнички и потихонечку замирилась Русь, революция кончилась, тут кто посостоятельнее и пораздумал да всё до копейки назад и выбрал: жертву-то свою за Русь православную,

и опять в кубышку. А из каких таких денег? — ни за что не отгадаете. А я вам скажу: из кабацких доходов, — вот тебе и жертва!

Антон Петрович отхлёбывал, причмокивал.

— А еще вы, может, слышали, — подмигивал он брандмауеру, — жил-был на Москве в XVII веке Иоанн Неронов, протопоп от Казанской, вот уж подлинно столп и утверждение русской веры — огненной «последней Руси». Ведь это ему, протопопу, от образа Спаса глас был о «последней Руси»: «Дерзай и не бойся до смерти!» Это его, Неронова, в видении по Христову велению ангелы дубцами побили. И этот-то ревнитель русской веры при всем своем благочестии, а землякам своим, нижегородским кабатчикам, мирволил на Москве и сколько раз от царской грозы спасал. А вы понимаете, что такое кабатчик по старой-то русской вере — вино-то чье — разве Божье? — вино от винокурца — беса, а кабатчик слуга его покорный, бесослуг. Вот тебе и столп!

Святая Русь, — юродивые и блаженные, убогие, прозревшие от белого своего сердца, и не только отказавшиеся от мира сего, но еще и вольно принявшие на себя вину всего мира, святая Русь неколебимая, как и «последняя Русь» огненная, совесть русская со всей ее болью и скорбью, — белый свет белого сердца, без которого темь и луто на Руси — разбой и пропад, и язык мешается, это русское единственное, как Никола, подкапываниями и розысками огульно превращались из святой Руси в Русь смердящую.

И это не только со святою Русью — с Россией у Антона Петровича свои были счеты — но и со святой Германией, со святой Англией, со святой Францией, со святой Италией, со всем белым светом, где еще жив человек, не погасла искра Божия, — то же самое, — обязательно подведет под смердящее.

Больше всякого праздника, а в праздники можно было спать, сколько влезет, и на службу идти не надо, бывали те вечера, когда Антон Петрович выуживал что-нибудь разоб-

лачающее, что шибало в нос, и святость обращал в смердящее.

Воображая весь мир своим врагом уличенным, тыкал он его носом, как кошку: смотри, мол, чуй, всё неправда и нет никакой правды — и не надо ее, не надо! — чуй и задыхайся.

— Так вам и надо, так и надо! И омерзитесь вы, смердящие, смердящейся жизнью.

А по лени своей мысленной и неповоротливости старался он уверить себя, что всё то ясно и просто и ничуть не загадочно: и что ж тут такого — зло, змеей извиваясь, проникает мир!

Но скажу вам, Антон Петрович не окостенел еще, и «кожаные одежды первородного изгнания» не задушили сердца.

И вот, как сейчас, с ужасом опустив на стол браунинг, он весь растерзан стоит, так и без браунинга вдруг ни с того ни с сего проникало в его уверенность самое беспощадное сомнение и червем точило его мысль.

Тайна мира и жизни, загадочность всего происходящего, минуту назад разрешенная так просто и ясно, брандмауером подымалась перед растерянными его глазами.

Но коснейшая лень и тут выкручивала его.

— В темных потемках нет темных предметов, и когда всё равно удивительно, нечем и удивляться.

И прищелкивая языком, прихлипывал Антон Петрович.

И сидел блаженно, как истукан.

А мысль, замеревшая на минуту, оживая, набредала на свою излюбленную черную тропку.

9.

Люди зарождаются на земле, души же человеческие приходят в мир своими путями. Люди рождаются душевно-непохожие — ни в отца, ни в мать — по-своему. И вот почему по-

стоянная вражда и ссора, и так враждебен семейный очаг. Никто не знает, где его душевный корень и кто его родители, кто братья, кто сестры по духу. Кровь единственная скрепа очагов, но и сама живучая кровь мертва, когда души далеки. Полупрогнившие очаги с жалкими, бессильными кровными поцелуями.

Пол сводит людей через похоть. Но душа из разных видений. И вот сама цементная похоть летит к чорту. Полу-прогнившие очаги со слепыми, неверными поцелуями. Очаг — устой государства. По очагу и цена. Всё примазывается, подчищается, чтобы только сохранить приличие. И от показной внешней крепости и постоянной лжи прогнивает и самый устой жизни — очаг, а за очагом — государство.

Люди зарождаются на земле, как мухи, и рождаются на свет, чтобы жрать и гадить, — испакошенная земля, отравленный воздух — очаг болезней и мора.

Слава всем войнам, истребляющим паскудный человеческий род, слава мору, чуме, холере, туберкулезу, освобождающим землю от только жрущего, только гадящего, только смердящего человека!

И какое это страшное бремя, какой кровавый крест, взваленный тебе на спину, быть на измученной земле в жестком человеческом круге, какое ужасное наказание — быть человеком! И если ты совестливый, тебя затопчут. А если ты бессовестный, вечно держи ухо востро: всякую минуту придет еще больший негодяй и даст тебе в морду — не подынешься — всё твое жалкое дело жизни пойдет прахом.

Со всей иступленностью вопиет седой голос из века: «Лучше было бы не родиться!»

Глас, вопиющий в пустыне.

Люди рождаются не по человеческим указам, и всё, что рождается на свет, так и должно родиться, и кричи не кричи, никто тебя не слушает.

Бедный человеческий род, вечно обманутый, — вечно обманывающий! Люди, вертящиеся около жалких насущных

своих дел, соперники, заклятые враги, каждым поворотом своей походки кривоногой давят друг друга, а каждым словом, каждым огоньком лисьих глаз с головой выдают алчные позы. Люди такие разные, и в одном похожие — в своей жратве свинячей, никогда не изменятся.

И где такая сила, которая бы изменила человека?

Сила духа легкая, как веяние ветра, что передвинет. А внешней не примешь. Но всё равно, никакое изменение невозможно.

— И не желательно!

Антон Петрович грозил брандмауеру.

И уверяя себя в безысходности от вечного и ничем неотвратимого зла, подбирая всякие разоблачения, сводя святость к смердящему, хуля и грязня всю жизнь, Антон Петрович редкий день не заводил беспощадной войны и еще с двумя заклятыми своими врагами.

Имя первому — национализм.

Национализм считал он гнуснейшим кровавым заразительным предрассудком, в жертву которому принесено столько благородных человеческих душ.

Повальность и устои этого предрассудка для большинства обрекали всякую борьбу с ним на неизбежную неудачу.

И перебирая все доводы свои для поражения этого первого ненавистнейшего врага, терял Антон Петрович всякое беспристрастие.

Всё падало прежде всего, конечно, на Россию.

Россия представлялась ему сбродом диких народностей — уже тем самым, что попали они в сброд, обречены были на одичание! — какой-то азиатской Австро-Венгрией, называемой Российской державой.

И он доходил до такого иступления к этому русскому сброду, что никак уж не мог согласиться жить и помереть верноподанным своего отечества и мысленно называл себя в эти жестокие схватки свои просто нетем — дезертиром.

И хорошо понимая, что все живые люди патриоты своего

отечества, и что только родная земля, родные корни дают плод, что без родной речи, родной песни захиреет всякое творчество, и так же хорошо понимая, что такое русский, делающий русское дело — строитель земли русской, и что такое немец, сосед наш ближайший, делающий свое немецкое дело — строитель Германии, видел плоды дел их в искусстве, в науке, в технике, и всё-таки отбивался и руками и ногами от всякого отечества — от всякого и особенно от своего дикого, изуверского, мäterного — недаром же нет ни у одного народа такой грубой и дикой похабщины, такой матерной матерщины, как у русских!

С горечью сознавал он, что по природе сам-то он косноязычный, лишен дара слова, ужасался нищенскому своему словарю, понимал, что почернелый весь, старьей не по возрасту, обойденный он в жизни — какая же выпала ему любовь, какая пришла слава и кто после смерти помянет его и где, на каком петербургском Сытном рынке воздвигнут крылатый памятник —

Antonio Deo Sancto —

— обойденный на обойденной земле, обойденнейший и вот злорадствующий и глумящийся перед брандмауером над неудачами и грехами злейшего своего врага.

Но это так укрепилось в нем, что как-нибудь измениться было просто немислимо.

Еще тогда, сидя день и ночь за книжкой у Покровского монастыря под крылышком Аксиньи Матвеевны да бабушки об одной ноге, еще тогда он вычитал о человечестве, о планете, и безродное человечество и родина-планета загасили в нем всякую искру любви к своей земле, к своей московской колыбельной родине, мало того, вызвали ненависть ко всему родному, колыбельному и эту ненависть, думал он, унесет с собой в могилу.

А эта ненависть была подготовлена у него непреодолимым отвращением к духу школьного товарищества, ко всему

исключительному, посягающему на отдельные права, что оз-начается словом *нам*.

Странствием же своим по старой Европе он укрепил эту ненависть.

Россию он не разделял, как в дни своей юности, на две враждебные половины, но делил ее на Россию казенную, которую принято было не уважать, винить во всех бедах и напастях, и бороться против которой считалось за особую честь, и на Россию народную, обиженную, голодающую, за которую надо вести борьбу и, если надо, погибнуть, нет, Россия для него была одна — его отечество смрадное, смердящее, матерное.

И в грядущее благо родины он не верил, не хотел верить и злорадствовал всякой беде и радовался всякому несчастью, несурязице и неразберихе русской, а во время войны поражениям, неумелости и глупости, а в революцию разбою.

— Избранный народ Божий, — говорил Антон Петрович, ожесточаясь, — положил печать свою на всей нашей церкви, обескрылил Петрово христианство, заразил еще и безобразным пороком избранничества и особого исторического призвания.

И до того ему было ненавистно и нестерпимо всякое национальное чувство, — а ведь сам-то плоть от плоти и кость от кости своего народа! — много положил он изобретательности, тут уж и лень прошла, и всяких хитростей, вытравить в себе всё родное.

Шатаясь по чужим краям, он выдумал самое верное средство вытравления. Правда, для живого человека это средство совсем неподходящее, но это несколько не оправдывало национального чувства, а было лишь новым доказательством, что от него, как и от всякой несправедливости — помните, того фабричного у Красных ворот с белым позорящим крестом! — как и от гадости человеческой просто деваться некуда, разве в могилу и от самого себя!

Антон Петрович взвизгивал, вдруг вспоминая свой меловый крест вдоль спины — свою обойденность.

А средство вернейшее против национального заключалось в том, чтобы прежде всего до надсадка громить всё национальное, что сам он и делал за послеобеденным чаем. Затем шли условия, трудно выполнимые: не жить, например, в стране, к которой принадлежишь происхождением, а если уж приходится оставаться в своем отечестве, то надо заглушить в себе всякий интерес к местным порядкам, разучиться родному языку, вести себя так, как вел бы себя эмигрант, не следить за злободневной жизнью, не читать газет и книг, только иностранные, совершенно пренебрегая родным и занимаясь только тем, что есть в родном общего с иностранным.

По мере сил Антон Петрович следовал своему верному убийственному наказу, но многое или совсем невыполнимо или по чудному очень, ну, взять хоть будылинское чтение иностранной хроники из вечерней Биржевки.

А какое лицемерие, кто любя свое отечество, будто бы не забывает и человечества, веря в счастье и отечества и человечества.

Благополучие одной страны всегда шло в ущерб благополучию других стран и про это всякий дурак знает.

Антон Петрович набрасывался на своего врага с последним остервенением.

— Лицемеры! Лучшая проверка — война. Патриот, мечтающий о счастье человечества, неизбежно во время унижения своей родины обращается просто в бесчеловечного, и француз в пруссаке видел и в самом деле какое-то насекомое.

Ненависть Антона Петровича к национализму, несовместимому с счастьем всего человечества, зародившаяся из ненависти к школьному товариществу и развившаяся на чужой земле, происходила у него во имя человека вообще, человека

безродного, планетного, просто человека, и, казалось, тут-то он и должен был верить и исповедывать.

Но и безродная человечина — гуманизм — был для него так же ненавистен, как и национализм.

И это был его второй враг, с которым он вел лютейшую войну.

Как в борьбе с национализмом, грозя брандмауеру и попивая вкусно чаек свой неизменный, объявлял он себя *нетем* — дезертиром, так переходя войной на гуманизм, заявлял о себе гордо:

— Я русский, сын русского, но убеждения мои и моя вера — зенитная гля!

Любовь к другим народам, к человечеству, считал он несравненно выше любви только к родине, к родному, но по сравнению с братством ко всему живущему, ко всякой твари — к тле последней и первой, и эта любовь-человеколюбие была столь же несправедлива и лицемерна.

И как национализм с его исключительностью и избранничеством, так и гуманизм с его все-человеком, безродием и планетностью, он приписывал исконному замалчиванию наших братьев — зверей.

И никак не мог примириться, чтобы с понятием человека связывалось нечто отдельное от остальных живых тварей.

— И почему провозглашать человека над другими тварями? Чем он выше? Что принес страждущему миру? Слезы, только слезы, кровавую войну, виселицу, гильотину, ненависть и лицемерие. Лживое проклятое племя! И закон жизни везде один, как для человека, так и для не-человеков: люди и звери в борьбе обретают свое право, только в борьбе. А для борьбы все средства хороши и первое: ложь.

— Какой там дьявол — Я! Я! — человек — отец лжи.

Гуманизм с напыженной головой и пустым сердцем вставал перед ним душителем всякого полёта суля человечеству полное успокоение и неограниченное право невозбранно жрать и гадить.

Можно любить себя, любить семью, а по духу сестер и братьев, можно любить родину — место, где родился, и речь, на которой говоришь, но любить человечество — всечеловека?

— Есть три крепкие связи, три скрепы: кровью, похотью и духом. И из этих трех связей связь средняя — через похоть и будет главной в планетном всечеловеке, а от духа ничего не останется. И гордый человек, захватив землю от океана до океана, обжираясь и гадя, потеряет всякие пути к миру, к твари — к зенитной тле.

Гуманизму противопоставлял он любовь к твари, но в такую любовь совсем не верил и тем обрекал мир на всеконечную погибель.

— А духи? Пустота, наполненная невидимыми нам живыми существами, вот всё это живое, что снует в комнате и за окном до брандмауера, и, проникая брандмауер, скачет в соседнем доме, дүхи, о которых одни догадываются, верят и боятся, а другие ни о чем не догадываются, не верят, смеются, как будто бы от этого легче, дүхи, встречающиеся в наши дела, в мысли ведь они живые, тоже тварь —

Люди, как звери, и звери, как люди, строили свою жизнь по одной мерке: жрать, плодиться, гадить. И человеку, как и зверю, некуда было спрятаться от общей участи живого мира: приходил час и всё летело вверх тормашками.

И всегда есть и будут и не могут не быть мучители и жертвы, люди и человеки, люди и звери, волки и овцы, холерные больные и холерные запятые, обидчики и обиженные.

Но что ужаснее всего: обратиться не к кому!

— И не надо!

Антон Петрович отставил стакан и бессмысленно с блаженством всезнающего сидел, обращенный к бездушному брандмауеру.

А два его черные глаза лукаво светились — —

10.

После чаю Антон Петрович усаживался за книгу.

И как без чаю не выходило никакой философии, так и без книги не приходили мысли.

Без чтения его собственная ленивая мысль дремала, с книгой же летал он под облаками.

Приноровив свою трудовую жизнь, Антон Петрович составил себе целую настольную библиотеку по всем отраслям знания от Зарозвездника Заратустры до древне-русского словаря Срезневского.

Чтение было строго распределено. Книги читались медленно. И самый ход медленного чтения по преимуществу иностранных книг имел для него особенную прелесть.

А главное, мечты, подогревавшие его старания, — без них он забросил бы книгу.

Он мечтал, каким ученым, каким мудрецом он сделается, когда одолеет все мысли чужой мудрости, и как венец в Петербурге на Сытном рынке гранит —

Antonio Deo Sancto.

Без книги Антон Петрович засыпал.

Непреодолимая лень была во всем его существе, а в мыслях своя особенная: мысль, засевшая в нем, словно оконстеневала и ничем нельзя было своротить.

Кроме чтения книг было и еще занятие: старинные документы.

Увы! о старом петровском Петербурге был у него всего один документ «Швецкая война», а то всё позднейшие.

Всякие грамоты, реестры, письма и записи он тщательно переписывал, подклеивал и распределял по папкам — это занятие затягивающее и засасывающее, как карты.

А так, сам по себе, без книг, без старинных документов и без чаю Антон Петрович мало о чем думал.

И, пожалуй, ровно ничего не думал.

Сидеть же и ничего не думать было для него из всех самым приятным времяпрепровождением.

11.

В несчастный вечер Антону Петровичу пришлось нарушить весь свой порядок: на одну эту холодную не фарфоровую собаченку — на этот браунинг блестящий он истратил столько времени, стоя у своего стола в мертвом столбняке, да так всю философию и простоял, да, пожалуй, и добрую половину чтения.

Кроме того, старуха Овсевна, расстроенная деревенскими известиями о страховке, возилась с самоваром ни на какую статью, а вернее, просто забыла о самоваре и не сразу хватилась.

Антон Петрович с браунингом, заполнившим все его мысли, допивал седьмой стакан.

С парадного позвонили.

Овсевна, над ухом которой дребезжал звонок, не отзывалась: верно, прилегла измученная и заснула.

Антон Петрович позвонил от себя на кухню и затаился: всякие страхи полезли ему в голову, и, конечно, полиция, дознавшаяся об этой его нечаянной находке.

Права на ношение огнестрельного оружия он не имел и притом он же стянул запрещенную вещь, хотя и не намеренно, приняв за фарфоровую собаченку, но ведь это совсем неважно, что обознался в покраже, важно то, что не имеет права и украл, вот и нагрянули.

Антон Петрович протянул было руку, чтобы убрать в ящик подозрительную вещь, но уж Овсевна поднялась на звонок и шла отворять дверь.

«Господи, что ж это такое, сейчас поведут в кутузку!»

Антон Петрович похолодел, и сердце его так и забилося, словно увидел он привидение или дом загорелся.

А совсем напрасно: никакие страхи, никакая полиция, это швейцар.

К телефону.

— Откуда? Кто спрашивает?

Швейцар ничего не мог ответить.

Робея, Антон Петрович спустился к швейцарской.

Ему прежде всего необходимо было дознаться, его вызывают.

«Хало! Откуда говорят?»

И только после совсем бесполезных окликов: «пивной — трактира — аптеки —» — он успокоился и кричал:

«Хало! Кто говорит?»

А дознавшись, кто говорит, не кричал уж, а стонал:

«Хало! Ничего не слышу! Повторите! Хало! Не слышу!»

Говорить с ним по телефону была сущая мука.

Накричавшись и намахавшись — он под крик, хал и стон махал еще рукой, помогая крику и стону, — поднялся Антон Петрович назад к себе на верхотуру в добром духе: звонили из пивной, — вызывал Баланцев.

«Завтра в Казанском соборе торжественная обедня с митрополитом!»

Антон Петрович пообещал притти в собор — «если позволит погода».

Он ничем особенно не хворал и изъяна у него никакого не было, а почему-то погода всегда имела для него решающее значение: будет сухо — выйдет, а если дождь — калачем не заманишь.

Впрочем, если завтра и будет дождь, завтра-то он и на дождик не посмотрит, непременно выйдет.

И о погоде прокричал он Баланцеву просто по привычке: Баланцев готовил ему приятный сюрприз, он это догадался по голосу.

Антон Петрович даже вытянулся весь и лицо его засалилось от предвкушающего удовольствия: да, конечно, завтра он встретит в соборе Машу, — завтра многое решится.

Баланцев о Маше ни слова не сказал, Антон Петрович по голосу догадался, что это так, и вот почему всё заиграло в нем.

Антон Петрович задумал примерить ботинки: в них он завтра щегольнет в соборе на обедне.

И он напялил ботинки и, кряхтя, затянул крепко.

Прошелся — ничего, даже свободно.

Не доставало только галстука.

Привычка к ношенным вещам была у Антона Петровича невообразимая: один и тот же галстук носил он до полного развала, не говоря уж о белье, которое так зверски занашивал, что прачка стирать отказывалась.

Да, галстук следовало бы ему переменить и надеть чистую сорочку, да и голову не мешало бы вымыть, ведь ванна так стоит и не для Овсевны же устроена, чтобы носовые платки стирала.

Антон Петрович вдруг с остервенением стал тереть свой салящийся жирный лоб.

Ему вспомнилось, как совсем недавно на Святой, попав к Тимофеевым, завел он разговор с Машей и такое понес и так мямлил, и та, не дослушав, отошла от него.

А что, если опять такое случится?

И уж ботинки не помогут и, надень он новый пестренький галстук, — сам галстук не вывезет.

Тайна разговора — как и о чем говорить с человеком, которому хочешь понравиться — всегда занимала Антона Петровича.

И при всей своей разговорчивости он не мог угадать, что нужно и чего не надо: или перебивал собеседника или приводил примеры, доказывающие как раз обратное, но главное, слова говорил он путанно и уж очень по-книжному, — ни одного живого слова.

Баланцев в шутку, должно быть, не раз говорил ему, будто в молодости отличался он особенно меткостью в разговоре, а приписывал эту способность свою единственно чтению юмористических журналов.

«Как бывало, итти куда в гости, — смеялся Баланцев, —

засяду я накануне за журналы, начитаюсь, а уж на другой день так жарю, самому на удивление, откуда что!»

Антон Петрович пробовал, но и сам Аверченко и Тэффи ничему путному не научили его: набившись всякой чепухи, он в разговорах терял все концы бесповоротно.

Был еще один способ, и довольно верный: подслушивать.

Антон Петрович и подслушивал, — старался что-нибудь перенять от говорливых людей, уловить тот стержень, ту веточку, на которую нанизывались слова.

Но и из подслушивания никакого проку не вышло, да и не безопасно было: могли заметить, уличить, пристыдить и даже привлечь.

И почему это так человеку не повезет?

А ведь сколько говорунов и каких! слова, слово за словом, и как складно, и что-то выходит!

Если бы Антон Петрович слышал Андрея Белого или Степуна — но этот круг литературный для него был закрыт.

Пробовал еще Антон Петрович и уж последнее средство: был у него русско-немецкий разговорник и стал он по этому разговорнику разговоры заучивать и сам с собой практиковаться.

И ничего — выходило гладко и складно.

А на людях — одно горе.

От невнимательности это или еще от чего, но сколько ни старался, разговорную тайну он никак не мог постичь.

Время подходило к последнему ночному чаю.

Разбуженная швейцаром Овсевна так и не легла, и будить ее не надо было.

Из кухни потрескивало.

А на воле погода менялась — пасмурно.

— Ветер в трубе уёт! — сказала Овсевна.

Но кто это выл: ветер в трубе или самовар, трудно было разобрать.

На ночь Антон Петрович чай пил в столовой и за чаем производил расчет со старухой.

Старуха писать не умела и все расходы держала в памяти, а память ее была, как старое решето, и потому большая выходила путаница.

Антон Петрович обыкновенно дважды пересчитывал: и на бумаге и на счетах.

И всё-таки редкий расчет сходился — у старухи оказывалось денег или гораздо больше, чем показывали счета и бумажки, или такая недохватка, ничем не покроешь.

Еще раз пересказывала Овсевна расходы, а сама недоверчиво поглядывала: конечно, подозревала, что Антон Петрович просто ее обсчитывает.

С грехом пополам окончив расчеты и выдав денег на завтра, Антон Петрович залюбовался на свои новые ботинки.

Он вдруг уверовал в них и вообразил, что и без всякого разговору, одним видом своим — ботинками тронет машину сердце.

— Что, Овсевна, во сне видела? — благодушно спросил Антон Петрович.

— Девочек видела, — пробурчала старуха, — на поле будто, при дороге картошку копают. К нехорошему.

Антон Петрович хотел было сказать: «к смерти».

Да так в другое время и сказалось бы, но уверовав в свои побеждающие ботинки, вдруг пожалел:

— Ничего, к перемене погоды.

Горемычно подперлась старуха.

— Ветер в трубе уёт! — словно и сама воя за ветром, сказала она жалобно.

Нынче полсотни минуло, как переехала Овсевна из своего Подболотья в Петербург служить и с той поры ходит по местам и записывается в конторы. Похоронила она мужа, нелюбый, вдовый был. И как ни силилась, не потекли слезы по покойнику — ведь, от людей надо поплакать! — ни слезинки. А пришла она в Петербург клюквинкой, — известно, вдовье мясо! — и вот вся-то сморщилась, почернела, изморщилась, за годы-то кухонные тараканные забыла и по-

сты и праздники, и в церковь перестала ходить и не помнит, когда и приобщалась, и только что на сон грядущий перекрестится. И одно что твердит — от старого осталось! — только в одном поминая Бога:

«Божье немилостиво, надо и своей головой делать!»

Про это Овсевна твердо помнила, держа в памяти одну эту единственную мысль с именем Божьим.

И за службу свою кухонную тараканную сколотила денег, всё в кассу носила, и наконец, в своем Подболотье построилась: остаток жизни собиралась старуха дома в своем собственном доме на свободе пожить.

«Деревня веселая, лесу много, озеро близко, пашня хорошая, всего много, хлебища — —!»

А как построилась, вернулась на зиму на Таврическую и, не зная беды, живет себе у Антона Петровича, а дай весна — и на волю домой.

А беда там свое делала: пожар зажгла.

«В солдатах выслужился, женился, а ума не нажил! — пеняла старуха лихому человеку, — поджег солдат дом тестя в сердцах на жену, не подумал: не его враг, а все крещенные сгорят».

И Овсевнина новая изба сгорела и совсем без всякой вины.

«В середку попала, вот и вся и вина».

Погорельцев добрые люди не оставили: кто чем, много соседняя игуменья помогла, а Овсевне и жертвы не дали, а почему, ума не приложит.

Но главное-то не в том, что жертвой обошли, главное в страховке — страховку не выдают.

А на эту страховку вся и последняя надежда.

«Божье немилостиво, надо и своей головой делать!»

Ей ли не знать, она это вот где выносила, и как строиться, собственноручно страховку старосте передала. А староста Максим Назарыч деньги от старухи взять-то взял, а в

книгу-то, видно, и не подумал записать. И теперь отпирается: никаких будто денег не брал!

Давеча Нюшка и принесла это известие.

Так прямо тетке и сказала, чтобы денег никаких не ждала — всё равно, без страховки ничего не выдадут.

И вот взбудораженная отказом, несправедливостью, ведь снова построиться, эта дума единственная ни на минуту не покидала Овсевну! — в который раз пересказав всю свою пожарную историю, попросила она Антона Петровича сочинить ей прошение.

Антон Петрович обещал навести справку, но где и у кого, он совсем не представлял себе.

— У Алексея Ивановича похлопочите!

Старуха возлагала большие надежды на Баланцева, веруя, что по расторопности своей Баланцев всё должен знать и, успокоенная обещанием Антона Петровича, пошла на кухню.

— За душу всё можно вытерпеть! — не то выла, не то ворчала, как ветер, Овсевна.

И скоро из кухни поднялся такой кашель, словно бы ножами и сверлами разрывали грудь — так всякую ночь ужасно старуха кашляла.

И как еще при таком ножовом кашле она жила-была на белом свете?

Или и вправду, что крепче всего человек на свете, или то правда, что за душу всё можно вытерпеть.

12.

Антон Петрович представлял себе мир не как подобие сна, а как подлинный сон души своей.

Существенной разницы между сном и явью для него не ощущалось.

Правда, в один прекрасный день он, пользуясь случаем, застраховал свою жизнь.

Всё это было в порядке житейском: явь держала его в постоянном трепете, сон же нисколько не пугал.

Без сновидений сна у него не бывало, но к великому огорчению самые яркие чувства приходились на кратчайшие моменты, и в памяти ничего не оставалось или одни обрывки.

Антон Петрович перешел из столовой в спальню. Это была маленькая комнатенка с голыми стенами, как столовая и кабинет.

Пестроты Антон Петрович не выносил, — ну, галстук другое дело и не для себя надевает! — сады же, цветники, оранжереи, громкие толкучие улицы, картинные галереи, выставки, театр, всё это снующее красочное очень его беспокоило: для неповоротливых его глаз и неподвижных мыслей настоящая пытка.

В Париже, несмотря на людность, серый парижский камень успокаивал его.

Самым же излюбленным городом была, конечно, Женева.

Обои для всех комнат подбирал Антон Петрович одинаковые — без всякого цветочка и полоски, и без деревьев и без разводов.

Ни о каких стенных украшениях не могло быть мысли, единственное исключение — картинка из Сатирикона.

Эта картинка висела в спальне.

Лежа в постели, Антон Петрович смотрел на картинку.

А изображала она провинцию: какой-то ржевский фронт под ручку с барышней шествует по деревянным мосткам, перед ними вывеска «Баня», а за ними, высунувшись по пояс из окна мезонина, провожает глазами ржевская кумушка.

Вспомнил ли он, глядя на картинку, свой шалопайный деревенский год, когда, за московскую сайку отрекшись от огненного дела, лодырничал, — а, может, и сам так хаживал! а, может, глядя на картинку, дух его окрылялся: взять, осмелиться да и пройти так под ручку!

Потушив свет, Антон Петрович лег и согрившись — зяблый, он и летом зяб! — собрался дремать.

Но, должно быть вся дрема ушла к старухе Овсевне, а на его долю осталась одна бессильная томь.

Любовь была для него единственной дверью, через которую проникал он к душе другого.

Но какая же была у него любовь — не любовь, а хорожене!

А кроме любви, хотя бы и любовного намека, было еще одно чувство, окрылявшее его душу — редко проходило оно, но необыкновенно остро.

Ему вспоминался случай из ученических лет, вспоминался один забитый гимназист, которого вечно изводили товарищи, и особенно стали донимать, когда у того отец помер.

Чувство непомерной жалости к этому забитому сверстнику, охватившее его в те далекие московские годы, снова при воспоминании перевертывало всё его сердце.

И теперь вспомнил он вдруг про этого Васю.

И вот среди смрада во тьму его, как луч, пробился жалобный свет...

И сердце его дрогнуло.

Я никогда не забуду, как в госпитале помирал сосед мой, военный чиновник, — все его просто чиновником называли, — молодой еще человек, а на вид суровый, такие стали суровые люди зарождаться, и сурьезный за болезнь свою — «худой» по замечанию сиделок, т. е. обреченный.

Помирал он от сердца, — что-то с сердцем у него неладно было, — уж приобщали, и только что кислород подерживал.

А вот ночью в последнюю минуту, весь расслабленный, сдернул он с себя одеяло — из дома жена принесла голубое — вскочил и, задыхаясь, так жаловался бессловесно — дышать ему нечем стало! и столько беспомощности было в его боли, такой детской, и я видел лицо его несуровое, совсем не похожее, — и он так просиял, и столько было детской нежности, и как у детей — беззащитного.

С открытым сердцем, — там горевала среди нашей недо-

ли пробужденная душа, видящим сердцем какой-то непоправимый грех за этого забитого Васю — метался Антон Петрович, как военный чиновник в госпитале без воздуха — беззащитно.

А над ним висел потолок, над потолком крыша.

А там звезды, мечущиеся по ледяным воздушным полям — а над звездами, как крыша, небеса — тьма несветимая.

А через тьму кривая беспутная звезда, как меч.

Слава всем войнам,
истребляющим человеческий род,

Слава мору, чуме,
холере, туберкулезу,

освобождающим

землю,

слава —

— —

Алексей Ремизов



Иду — и думаю о разном,
Плету на гроб себе венки,
И в этом мире безобразном
Благообразно одинок.

Но слышу вдруг: война, идея,
Последний бой, двадцатый век...
И вспоминаю, холодея,
Что я уже не человек,

А судорога идиота,
Природой созданная зря —
«Ура!» из пасти патриота,
«Долой!» из глотки бунтаря.

1957



Свободен путь под Фермопилами
На все четыре стороны.
И Греция цветет могилами,
Как будто не было войны.

А мы — Леонтьева и Тютчева
Сумбурные ученики —
Мы никогда не знали лучшего
Чем праздной жизни пустяки.

Мы тешимся самообманами,
И нам потворствует весна,
Пройдя меж трезвыми и пьяными,
Она садится у окна.

«Дыша духами и туманами,
Она садится у окна».
Ей за морями-океанами
Видна блаженная страна:

Стоят рождественские елочки,
Скрывая снежную тюрьму.
И голубые комсомолочки
Визжа, купаются в Крыму.

Они ныряют над могилами,
С одной — стихи, с другой — жених...
...И Леонид под Фермопилами,
Конечно, умер и за них.

Георгий Иванов, 1957

**
*

Хлопочет сердце где-то в глубине.
Как моль в шкафу, оно живет во мне.

От жизни, как от старого сукна,
Осталась только видимость одна.

Всё перетлело, чтобы жить могло
Заносчивое маленькое зло.

1.

Нежность, видно, родилась заикой,
Ей слова даются тяжело.
Ей бы медвежонком в чаще дикой
На заре обнюхивать дупло.

Ей бы грызть заостренный и горький
Лист брусничный да лежать во мху,
Слушая, как ветер на пригорке
Треплет тонкоствольную ольху.

А ее просили сесть в гостиной,
И была хозяйка с ней мила,
Оттого что нежность чинно-чинно,
Очень хорошо себя вела.

Столь необычайное смиренье
Даже озадачило кота:
Кот изобразил недоуменье
Знаком вопросительным хвоста.

Кот нашел, повидимому, странным
То, что нежность так себя ведет:
Кот в любви был старым ветераном,
Помнил, что такое нежность, кот.

Знал, что не унять ее томлений,
И умел он на своем веку
Ткнуться мордой в милые колени,
Ухом почесаться о щеку.

Исчезают, как в водовороте,
Выплески однообразных дней.
Вы, наверно, так и не придете
На свиданье с нежностью моей.

2.

Пробегают такси по соседнему парку,
И рекламная осень пестра и шумна.
Пролетающий лист, как почтовую марку,
Ветер лепит с размаху на угол окна.

Я не думал о вас. Ваше русское имя
На туманном стекле написалось само.
Моя осень и я со стихами моими
С этих пор адресованы вам как письмо.

3.

Не скучно ли на темной дороге?

А. Грин «Бегущая по волнам».

Всю ночь мигает вывеской отель,
И дождь шуршит в камнях и в железе.
Я понял все. Вы — Биче Сениэль,
А я искал смеющуюся Дэзи.

Мой мир для вас был темною стеной,
А мне сказать хотелось вам так много,
И думал я, что вам вдвоем со мной
Не будет скучной темная дорога.

Иван Елагин



Суровым синим ветром от воды
Обдуло спуск, высокие ступени.
Но голые подернуты сады
Налетом серизны передвесенней.

И под сквозною этой серизной
Не нега, нет, — но обещанье неги.
Под нею — будущий недвижимый зной
И будущие сочные побеги.

Еще земля, дыханье притая,
В бесснежном феврале грустит и чахнет,
И ветра требовательного струя
Еще груба, еще ничем не пахнет.

Но сладко видеть года сдвиг опять
И, подойдя к задумавшейся тайне,
Ту пору боязливую поймать,
Что прѳвесной зовут у нас в Украине.

РОДНОЙ ЯЗЫК

Он снился мне титаном-кораблем
Под вздутыми седыми парусами,
И чудилось — пока мы с ним, на нем,
Мы даже может быть титаны сами.

На малый час — но счастливы сполна.
Хоть за корму крутую подержаться,
Пока за борт не смоеет нас волна...
А он — титан — он будет дальше мчаться.

Иль так еще: он — праздник, званный пир.
И мы званы! И мы вкушаем брашен
И пьем живую воду из кратир, —
И боги мы, и нам никто не страшен.

Но знаем — ненадолго мы в гостях,
И на глоточек лишний жадно метим,
Сжимаем хлеб преломленный в горстях
И прячем от стола объедки детям.

Для новых бражников нужны места —
И смена яств идет в высокой зале,
И нас, еще не вытерших уста,
Уводят спать. А пир бушует дале.

**
*

За край осенней ночи, на весу,
Попридержась за мокрый подоконник,
Как коврик, я бессонницу трясу.
Будильник заведен и куплен сонник —

Что ж нужно привереднице-душе?
Скорей в сугроб подушки головою —
И развяжись, и будешь в барыше!
Так нет, сидит бессонною совою

И стеклышкам-найденкам счет ведет.
По мостовым подобрано их много,
Да деть куда? И так невпроворот
Всего, что брать в последнюю дорогу.

Ольга Анстей

ЭТО СРАЖАЕТСЯ БУДАПЕШТ

1.

Осень в Нью-Йорке. Сырость рассвета,
Площади. Лавки. Грузовики...
Ночь напролет, штампую газеты,
Гудят и захлебываются станки.
Это в станках гудит нарастая,
Крепнет широкий напор надежд,
Это растет и пухнет восстание,
Это сражается Будапешт.
Это у горла пальцы разжались,
Это народ пошел напролом,
Это повстанцы, вооружаясь,
Отбивают за домом дом.
Может быть завтра под танки лягут,
А сейчас наводят прицел,
Рвут звезду с венгерского флага,
Занимают радицентр.
В треске винтовочной перебранки,
В дымных разрывах авиабомб
Разворачиваются танки,
Подымается пыль столбом.
Будка пивная танком задета,
Рельсы трамваев, песок, земля...
Это в рабочих, это в студентов
Танки отказываются стрелять.
Это к восставшим уходят танки,
Жерла ворочаются находу,
Русский танкист, братаясь с повстанцем,
С пыльного шлема сорвал звезду.

Дым от пожаров стелется низко.
Тюрьмы открыты. Тюрьмы горят,
Это по улицам коммунисты
Вольно раскачиваются на фонарях.
Властно сдувая сонную одурь
С заспанных душ, с народных пластов,
Это венгерский ветер свободы
Врезался в гул газетных станков.
Кажется, все желанья и мысли,
Кажется, всех тупиков исход,
Кажется, наши души повисли
На остриях венгерских штыков.

2.

Это — шуршат газетные гранки,
Ветер в каштанах ясен и свеж,
Это — из тыла стянуты танки,
Это — сражается Будапешт.
Это — весь мир гудит в разговорах,
Это — открыт австрийский рубеж,
Это — нахмуренный лязг затворов,
Это — сражается Будапешт.
В Австрию серо-землистой лентой
Беженцы хлынули через брешь.
Необходимы медикаменты.
Это — сражается Будапешт.
Радиосводки. Радиовести.
Мы не сдадимся, хоть жги, хоть режь.
Это — расстреливают на месте,
Это — сражается Будапешт.

1956 г.

ПАМЯТЬ

1.

В теории не переспорить память,
На практике ее не обойти,
Она ворвется и прервет дыханье,
Двумя штрихами облик воплотив.
Он выступит из разноцветных пятен,
Из впечатлений малых и больших,
И я увижу все — от складок платья,
До акварельной тонкости души.
Он будет жить и крепнуть разрастаясь,
И будет личность крепнуть вместе с ним,
Он будет вкраплен в мирозозерцанье,
Войдет в меня и станет мной самим.

2.

Любовь за мелочь пряталась как-будто,
Была во всем, ей всё служило вехами,
Она дружила с телефонной будкой,
С аудиторией, с библиотеками,
Она дружила с лицами прохожих,
Авансом всех и каждого любя,
Она с любым дружна, на всех похожа,
Она похожа только на себя.
Чем мельче штрих и чем пустяк обыденней,
Тем безраздельней он роднился с ней,
И в пустяке, случайно вновь увиденном,
Я прошлое увижу тем ясней.



Своей единственностью наделила
Весну и лето. Душу привнесла
В работу, в жизнь, в каштаны, в тополь, в липу,
В овраги, в лодки, в лопасти весла.
И обернулась ивой, ветром, веткой,
И словом обернулась на листе,
Отыскивала в черновых заметках
Свой лучший профиль, высший свой аспект.
И прояснялась. И брала за сердце —
Мне не осилить тему, как тебя —
Искал тебя в десятках разных версий
И заново набрасывал любя.
Ты без границ. Ведь вы с природой сестры,
В вас суть одна и только разность лиц,
Ты это всё, что искренне и просто,
Ты просека, река, валежник, лист.
Мой карандаш варьянты будет множить,
С черновиками в чашу заберусь,
Мне на листе сейчас всего дороже
Твоя улыбка, чистота и грусть.

Олег Ильинский

О МЕТОДАХ ИЗУЧЕНИЯ ДОСТОЕВСКОГО *

Для историка литературы Достоевский интересен прежде всего как писатель, т. е. создатель литературных произведений. Каждый писатель в глазах литературоведа является совокупностью литературных произведений, которые можно рассматривать с различных точек зрения. Можно искать в них отражение личных свойств и переживаний писателя, можно изучать высказанные им в своих творениях философские, политические, эстетические, моральные и религиозные идеи и воззрения; можно, наконец, изучать совокупность литературно-художественных приемов, которыми он пользуется. Это три разных подхода, из которых каждый требует своего особого исследовательского метода. Разумеется, существует известная связь между Достоевским-человеком, Достоевским-мыслителем и Достоевским-писателем, так что с какой бы из указанных точек зрения ни исследовать его литературное наследие, обе другие непременно должны быть приняты во внимание. Но из этого совершенно не следует, чтобы эти три точки зрения можно было смешивать, как это к сожалению слишком часто делается. Практически такое смешение приводит к тому, что Достоевского-писателя и художника совершенно забывают и вместо изучения его творческих особенностей занимаются изучением его биографии и идеологии. Мы нисколько не отрицаем, что биография и идеология Достоевского очень интересные предметы для изучения; мы только утверждаем, что это самостоятельные предметы изучения, требующие каждый своего самостоятельного метода; точно так же и чисто-литературная, художественная сторона его творчества является самостоятельным предметом изучения, со своим самостоятельным методом.

*В начале 30-х гг. покойный кн. Н. С. Трубецкой читал в Венском университете курс о Достоевском. Сохранились составленные им в связи с этим курсом записки, из которых мы и печатаем вступительную часть, по рукописи, любезно предоставленной нам кн. В. П. Трубецкой. Ред.

Серьезная биография Достоевского, составленная на основании специального научного исследования, еще не написана**; это объясняется, вероятно, тем обстоятельством, что материалы для такой биографии, чрезвычайно разнообразные и разноценные, должны быть подвергнуты тщательной научной критике, и эта-то предварительная работа до сих пор не была еще полностью сделана. Для биографии Достоевского важны преимущественно два рода источников: воспоминания современников о нем и его письма к ним. Воспоминания современников далеко не все одинаково ценны и неравномерно распределены по разным периодам жизни писателя. Лучше всего освещен последний период его жизни, время создания больших романов и наибольшего развития его публицистической деятельности.

Наиболее богатый сведениями источник — воспоминания второй жены Достоевского, Анны Григорьевны, рожденной Сниткиной. Второй брак писателя был счастлив; между мужем и женой царил полная гармония. Анна Григорьевна помогала мужу во всем, взяла на себя ведение его дел, стремилась ввести в них некоторый порядок, помогала ему и в чисто литературной работе, так как он ей диктовал все свои произведения. Он с ней советовался обо всех своих проектах, так что она всегда была в курсе задуманных им работ, знала о всех последующих изменениях и переработках их первоначального плана. Как хорошая жена, она знала все привычки и вкусы своего мужа, ей были известны и его отношения с различными современниками. Достоевский рассказывал ей о разных впечатлениях, случаях, переживаниях, подавших повод к созданию тех или иных деталей и эпизодов в его произведениях. Всё, что она знала, Анна Григорьевна, умная и образованная женщина, обладавшая прекрасной памятью, передала нам в своих воспоминаниях, которые представляют собой богатый, ценный и достоверный материал. Но не следует его переоценивать. Не нужно забывать, что Анна Григорьевна, по всему своему складу, глубоко отличалась от мужа. Ее простая, здоровая и трезвая натура была полной противоположностью болезненной, страстной, сложной и беспокойной натуре Достоевского; к тому же, между ними была и большая разница лет. При этих условиях понятно, что несмотря на свою безграничную любовь к мужу, Анна Григорьевна не

** Автор писал это в начале тридцатых годов.

могла понимать многих его переживаний, многих сторон его душевной жизни, может быть даже и не знала о них. При чтении ее воспоминаний, читатель постоянно испытывает чувство разочарования — он узнает множество подробностей, а о главном, о чем ему хотелось бы узнать, воспоминания часто не сообщают ему ничего. Таким образом и этот источник, несмотря на свою большую ценность, недостаточно полон.

Гораздо менее ценны воспоминания дочери писателя, Любови Федоровны. Она унаследовала от отца богатую и живую фантазию — что для автора мемуаров является серьезным недостатком. Записывая свои воспоминания, она постоянно начинает фантазировать, сознательно или бессознательно выдумывать разные события, эпизоды, подробности, так что на ее мемуары ни в коем случае нельзя полагаться.

Очень ценны воспоминания любовницы Достоевского, Полины Сусловой. В противоположность Анне Григорьевне, которая была совершенно «недостоевской» натурой и не оставила ни малейшего следа в творениях мужа, Суслова очень напоминает некоторые женские типы в произведениях писателя. В ее душевном складе было много черт, родственных складу Достоевского. Он ей доверял свои тайные мысли, показывал сокровенные стороны своей души, и она в нем знала и понимала многое, что оставалось скрытым для других. Ценность ее воспоминаний очень велика — к сожалению, они охватывают только короткий период жизни Достоевского.

Кроме этих воспоминаний трех близких писателю женщин, существует ряд других, составленных разными современниками. Не на все из них можно полагаться. Нужно принимать во внимание, что все эти воспоминания были написаны лишь после смерти Достоевского, когда все его произведения уже были известны и он сам был знаменитостью. Невольно люди, лично знавшие писателя, старались своими воспоминаниями и впечатлениями объяснить и осветить как личность, так и творения его, и многое было с полной добросовестностью сочинено, что казалось авторам мемуаров хорошим комментарием к произведениям писателя. Иные старались затушевать или замолчать какие-нибудь подробности или черты, не подходившие к уже созданному традицией, так сказать канонизованному, облику Достоевского. Отдельные мемуаристы часто противоречат друг другу. Чтобы разобраться во всех этих запутанных данных, нужно изучить личность и биографию самих авторов мемуаров, выяснить их от-

ношения с Достоевским и между собой, их положение в обществе и т. д. Таким образом, биография Достоевского переходит в историю современного ему общества.

Другой источник для биографии писателя — его переписка с современниками. Внимательное исследование этого материала показывает, что и в этом случае требуется большая осторожность и строгая критика. Достоевский оставался писателем и когда писал частные письма. Не все данные, сообщаемые им о самом себе, оказываются по проверке правильными. Особенно осторожно нужно относиться к самообвинениям Достоевского, — клевета на самого себя была одной из странных, но очень характерных его черт. Кроме того он страдал слабостью памяти; часто, когда он рассказывает в письмах о событиях из прошлого, которые, как ему кажется, он хорошо помнит, на самом деле нельзя с достоверностью сказать, действительно ли всё так было, как ему кажется, и не обманывает ли его память. Могут играть в письмах некоторую роль и соображения цензурного характера. Наконец, ценность письма, как биографического источника, сильно зависит от того, кому оно было написано, и в каких отношениях писатель был со своим корреспондентом. Всё это должно быть учтено при сравнении различных источников.

Таким образом оказывается, что написать биографию Достоевского — очень трудная работа, требующая основательной научной критики источников. Исследовательский метод, которым в данном случае приходится пользоваться, чисто исторический, а не метод литературоведения. Для исторического метода, нет никакой принципиальной разницы между биографией Достоевского и биографией любого политика, государственного человека, музыканта или полководца. Факт, что он был именно писателем, никакого влияния на применение этого метода не оказывает. Поэтому биография Достоевского является задачей *историка*, а не литературоведа.

Что может почерпнуть литературовед из биографии Достоевского для толкования его произведений? Много, конечно. Но нельзя преувеличивать значение этого «многого». Поясним это примером. В «Преступлении и наказании» рассказано, как Раскольников прячет украденные у убитой старухи вещи под камень, в темном промежутке между двумя домами. Камень при этом описан очень подробно. Анна Григорьевна рассказывает, что однажды, во время прогулки, муж показал ей камень, который он описал в романе: он заметил его как-то

случайно, гуляя, в то время когда обдумывал роман, и представил себе, что Раскольников очень хорошо мог бы спрятать вещи именно под такой камень. Когда он позднее писал эту главу романа, он в ней действительно подробно описал этот виденный им камень. Что мы выигрываем от этого рассказа? Совсем ничего. Представлял ли себе автор, во время писания романа, настоящий камень, виденный им в действительности, или он вызвал в своем воображении представление о несуществующем камне — совершенно безразлично и никакой роли для романа не играет. Для читателя или исследователя интересен только самый факт, что в романе подробно описан камень, а существовал ли он на самом деле — совершенно всё равно. На этом простом примере видно, как мало дает знание биографических подробностей для понимания литературных произведений. Камень, замеченный Достоевским во время случайной прогулки по Петербургу, никакой роли в его жизни не играл, в то время как камень, под которым Раскольников прячет вещи, играет в романе очень важную роль.

Но может быть и наоборот. Хороший пример этому мы находим в романе «Идиот». В совершенно незначительном, второстепенном эпизоде Лебедев изводит генерала Иволгина. Оба они второстепенные и скорее комические фигуры. Лебедев, между прочим вздором, рассказывает, что ему будто бы ампутировали ногу, что он ее затем похоронил, поставил на могиле памятник и сделал на нем надпись: «покойся, милый прах, до радостного утра». Известно, что такая надпись действительно существовала на могильном памятнике матери писателя. У Достоевского было к матери страстное обожание; ее могила должна была быть для него чем-то священным и важным, и однако в «Идиоте» этот памятник фигурирует во второстепенном и еще вдобавок комическом эпизоде.

Из этого видно, что подробности и элементы, которые писатель черпает из своей жизни, из своих воспоминаний, имеют в его произведениях совершенно иную функцию, чем в его жизни. А так как он такие подробности и элементы может черпать не только из своей жизни, но и из литературных источников и просто из воображения, и так как существенны не сами эти элементы, а их *функция* в произведении, то ясно, что *происхождение* их для литературоведа совершенно неважно.

Случай, когда литературовед может из биографии Достоевского почерпнуть какое-нибудь ценное объяснение для

произведений, очень немногочисленны. Это большею частью данные об отношениях его с другими писателями или с какими-нибудь личностями, оказавшими на него влияние и т. п.

Если биография писателя сравнительно мало дает для понимания его произведений, то и наоборот, произведения не могут служить источником для биографии писателя, и ими нельзя в этом отношении пользоваться. К сожалению, однако, это делается очень часто. Постоянно литературоведы или критики имеют тенденцию толковать те или иные высказывания, намеки, описания происшествий, попадающиеся в романах или рассказах, как автобиографические признания (особенно если рассказ ведется в первом лице). При этом обыкновенно забывают, что каждое литературное произведение представляет собой единое целое, отдельные части которого получают свой настоящий смысл только в общей связи всех составных частей, из которой их нельзя вырывать. Забывают также, что писатель такого калибра, как Достоевский, в каждом своем произведении создает что-то новое, особую жизнь, в корне отличающуюся от его собственной.

Всё сказанное касается отношения живой, биографической личности писателя к его художественной, творческой личности. Перейдем теперь к отношению Достоевского-мыслителя, идеолога к Достоевскому-писателю, творцу литературных ценностей. У Достоевского были определенные воззрения на проблемы философии, истории, культуры, политики, эстетики, морали и религии, которые он и высказывал очень часто в своих критических и публицистических статьях, а также и в письмах. Приведенные в систематический порядок, эти воззрения и мысли, в своей совокупности, дают довольно стройную картину его мировоззрения. Но исследователи, занимающиеся идеологией Достоевского, обыкновенно не довольствуются этим материалом; они стремятся изучать его мировоззрение на основании литературных произведений, часто считая именно их наиболее важным источником.

Допустимо ли это? Правильно ли считать мысль, высказанную действующим лицом какого-нибудь романа, мыслью самого Достоевского? В его больших романах каждое лицо имеет свое собственное мировоззрение. Эти мировоззрения так же различны, как различны характеры действующих лиц. В противоположность Толстому, Достоевский не тенденциозный писатель. У Толстого всегда совершенно ясно, кто именно является носителем его мировоззрения: он всегда изобра-

жаются как самый умный и самый симпатичный из всех персонажей или, во всяком случае, видно, что он наиболее симпатичен самому автору; его слова и мысли наиболее убедительны, тогда как другие большей частью и менее умны, и менее убедительны. Совсем иначе обстоит дело у Достоевского. У него мировоззрения всех действующих лиц совершенно равноправны. О том, что именно из высказываемого разными лицами отвечает взглядам самого автора, мы можем судить только потому, что знаем эти взгляды из его нелитературных произведений. Очень часто случается, что представитель взглядов, совершенно противоположных тем, которые мы знаем из статей или писем, значительно превосходит в умственном отношении того, кто защищает воззрения, сходные с воззрениями автора. Исследователи часто склонны объяснять такие случаи самокритикой, отказом от прежних взглядов. Другие склонны видеть диалектику в том факте, что взгляды, противоположные мировоззрению Достоевского, высказываются с полной серьезностью, со всей силой логической аргументации и остаются иногда неопровергнутыми. Иные, наконец, видят в этом признак внутренней раздвоенности, колебания между различными мировоззрениями.

Всё это едва ли можно считать правильным. Теория «диалектики» не выдерживает критики, потому что, если считать взгляды, враждебные идеологии автора, — «антитезисом», то конечный результат, «синтез», должен был бы соответствовать воззрениям Достоевского и быть выраженным с полной убедительностью; этого же однако нигде не видно. Что касается предположения, что писатель либо отказался от прежних взглядов, либо всё время колебался, переживая тяжелую внутреннюю борьбу, не приходя к определенному решению, — то оно тоже чрезвычайно неправдоподобно. Очень странно и даже необъяснимо, каким образом эта борьба нашла свое выражение только в литературных произведениях. Ни малейших следов отказа от взглядов или борьбы мы не находим ни в публицистических статьях, ни в переписке. Никто из близко стоявших к нему людей ничего подобного в нем не замечал. В годы зрелости, как раз в период создания больших романов, Достоевский всегда, и в статьях, и в письмах, защищал неизменно одно и то же мировоззрение. Очень мало вероятно, чтобы он при этом скрывал в себе какие-то задние мысли, сохранял в душе сомнения и возражения, тщательно скрываемые от всех, как от публики, в статьях, так и от друзей и

близких, для того только, чтобы высказать их в своих литературных произведениях.

Противоречие между публицистическими статьями и литературными произведениями на самом деле объясняется совершенно иначе, а именно разницей *функции*, выполняемой мировоззрением в обеих категориях произведений. В философски-публицистических статьях и идеологических письмах центр тяжести лежит в поучении и пропаганде. В них мировоззрение является самоцелью — это система взглядов, которых Достоевский твердо придерживается, которые составляют его глубокое убеждение и которые он хочет передать своему читателю. В литературных же произведениях мировоззрение служит только для характеристики действующих лиц. В изобразительной системе Достоевского мировоззрение тесно связано с характером данного лица, они составляют вместе одно целое. Это мировоззрение принадлежит не Достоевскому, а данному лицу, точно так же как и все другие его черты, физические и нравственные, принадлежат именно ему, а не автору. Это единое целое, состоящее из мировоззрения и характера, определяется положением и значением данного лица в романе и, в конечном счете, всей структурой романа. Несомненно, что некоторым из своих персонажей Достоевский дал мнения и взгляды, которые сам считал правильными, точно так же, как он мог некоторым из них придать иные черты своего собственного характера. Но комбинация этих элементов, их соединение в одну характерологическую фигуру — это уже было единственно созданием его творческой фантазии.

Итак, здесь повторяется то же самое, что мы уже видели, когда говорили о значении биографии в творчестве писателя. Некоторые элементы из мировоззрений действующих лиц могут быть взяты из идеологии Достоевского, но так как они вырваны из своего естественного контекста и поставлены в другой, сочиненный автором, в котором они исполняют совершенно новую функцию — их происхождение для нас безразлично. Кроме того они связаны с другими элементами, не происходящими из мировоззрения писателя и часто даже ему противоположными. Поэтому должно быть совершенно ясным, что выводить идеологию Достоевского из его произведений невозможно. Исследователи, стремящиеся именно к этому — а их, к сожалению, большинство — ставят себе неразрешим-

мую задачу, совершают грубую методологическую ошибку и оказываются на ложном пути.

Так же методологически неправильно толкование «настоящего смысла» отдельных произведений. Нельзя забывать, что Достоевский не тенденциозный писатель. За очень немногими исключениями он не стремился в своих литературных произведениях к пропаганде своих взглядов, не ставил себе целью кого-либо поучать или доказывать правильность тех или иных мыслей. Поэтому не следует читать между строк его произведений то, чего в них нет. Особенно ошибочно искать в них скрытое, символическое значение. В эту ошибку исследователи впадают довольно часто, особенно когда дело идет о юношеских произведениях или о произведениях переходного периода. Из того, что в свои зрелые творения Достоевский вводит философские мысли, еще далеко не следует, что таковые существуют и в его молодых произведениях, и что там надо их искать в скрытой, символической форме, раз они открыто нигде не высказаны.

Тот, кто хочет изучить мировоззрение Достоевского, должен изучить с этой точки зрения его публицистические, философские, критические статьи и его письма. Литературными трудами в этом отношении можно пользоваться лишь с крайней осторожностью, в качестве иллюстрации, подтверждения, но никак не самостоятельного аргумента. Разумеется также, идеологию Достоевского нельзя изучать изолированно, а лишь в связи с историей русской философии, богословия, идеологических систем; эта история, с своей стороны, тесно связана с историей европейской мысли. Если «Достоевский-человек», как мы видели принадлежит историку, то «Достоевский-мыслитель» принадлежит философу или историку философии.

К области *литературоведения* принадлежит только «Достоевский-писатель», «Достоевский-художник». Литературовед исследует прежде всего форму, образительные методы, художественные приемы, тематику произведений писателя, в их постепенном развитии и окончательном завершении. Ибо то, что отличает литературное произведение от нелитературного сообщения мыслей или фактов, это именно *форма*. Литературная форма — вот что является специфическим для литературы, а следовательно и единственным предметом изучения для литературоведения. Но форма, разумеется, неразрывно связана с так называемым содержанием. Существуют литератур-

ные произведения, состоящие из одной формы, без всякого содержания, но обратный случай невозможен: произведение, состоящее только из содержания и лишенное всякой формы — немыслимо. Нормальное литературное произведение обладает и формой, и содержанием. Чисто-научному, объективному исследованию поддается только форма, никогда не содержание; но через изучение формы можно проникнуть и в содержание, во внутреннюю сущность произведения. У Достоевского развитие формы и содержания идет совершенно параллельно. Изучая форму его произведений в ее постепенной эволюции, мы получаем одновременно и историю содержания, и представление об эстетической ценности и о духовной сущности этих произведений.

Я хотел бы еще упомянуть о двух методах исследования, которых следует остерегаться. Достоевский страдал эпилепсией, болезнью, влияющей на всю психическую жизнь человека. К тому же он был и определенно выраженным неврастеником. Эти два обстоятельства привлекают внимание психиатров и невропатологов к его произведениям. В последнее время ими занялись особенно психоаналитики школы Фрейда. Как известно, эта школа исходит из утверждения, что сознательные мысли и чувства человека очень часто являются только реакцией на подсознательные душевные движения, причем последние большей частью имеют свои корни в забытых или вытесненных из сознания переживаниях, часто относящихся к эпохе раннего детства. Таким образом, сознательные действия и мысли человека часто являются лишь символом подсознательного. Пользуясь законами этой особой символики, можно путем анализа реконструировать то, что происходит у человека в подсознательном. Наилучшим материалом для такого анализа являются творения фантазии, воображения — в первую голову сны, выдуманные рассказы, рисунки «из головы» и т. д.

Мыне собираемся здесь обсуждать фрейдовский психоанализ, нас интересует только ценность этой теории для литературоведения вообще и для изучения творений Достоевского в частности. И тут мы должны сказать: если творения Достоевского могут дать полезный материал психоаналитику, то литературоведу, изучающему его литературное наследие, психоанализ не приносит ни малейшей пользы. То, что психоаналитик может почерпнуть из произведений Достоевского, он с тем же успехом мог бы почерпнуть из его снов, его рисун-

ков и т. д. Далее, такой же материал он мог бы получить и из творений другого писателя, имевшего в подсознательном «комплексы» сходные с «комплексами» Достоевского. Что Достоевский был именно великим писателем, а не великим музыкантом или полководцем — не играет при этом ни малейшей роли. А между тем для литературоведа именно это обстоятельство и является наиболее важным. Примем правильность психоаналитического метода и предположим, что Достоевский описал, например, в романе какой-нибудь эпизод, потому что хотел таким способом освободиться от мучившего его комплекса. Это однако нисколько не объясняет того, почему он описал этот эпизод хорошо, почему он при этом применил те или другие художественные приемы, почему этот эпизод действует на читателя, даже на такого, в чьем подсознательном такого комплекса нет. Присматриваясь ближе, мы заметим, что для описания данного эпизода нельзя было бы выбрать лучших приемов, чем те, которые выбрал автор, что этими приемами он пользуется не только в этом случае, но и в других, что они принадлежат к арсеналу его художественных приемов, и что вся совокупность этих приемов составляет стройную и внутренне-связанную систему. Вот это-то и важно и интересно для литературоведа, это единственное, что для него существенно: только благодаря этому произведения Достоевского становятся *литературными* ценностями, а сам Достоевский — писателем и художником. Подсознательный же источник литературного вымысла сам по себе не имеет никакого значения. Такие подсознательные, задние и побочные мысли и переживания, остаются собственностью индивидуума; они несоциальны уже по самой своей сущности и не могут быть сообщены другому человеку (если только этот человек не психоаналитик). Между тем литература — явление прежде всего социальное, это нечто, что может быть сообщено другим, что предполагает не только существование творческого ума писателя, но и воспринимающего ума читателя. По всему сказанному мы не можем признать никакой ценности за психоаналитическим методом ни для литературоведения вообще, ни для изучения произведений Достоевского в частности.

Второе направление, которое мы тоже не можем признать полезным для изучения творчества Достоевского, это так называемое социологическое направление. Оно исходит из теории, что каждое литературное произведение, каждая

культурная ценность вообще, в конечном счете должны иметь экономическую базу. Желает ли этого автор или нет, он невольно создает только такие образы, которые соответствуют экономическим условиям данного времени. Каждый образ в творениях Достоевского является, таким образом, воплощением определенного социального типа, чей характер, взгляды, мысли и действия определяются его ролью в экономической жизни, в производственном процессе. Задача исследователя, согласно этой теории, состоит в том, чтобы вскрыть социальную роль данного образа, выяснить связь между его социальным положением и его характером. Так же как и психоаналитический метод, это направление рассматривает литературное произведение не как таковое, а как материал для вне-литературного изучения. Психоаналитик интересуется им только как записью созданных фантазией образов, которая может быть подвергнута медицинскому исследованию и в этом отношении ничем не отличается от записи опроса больного. Точно так же и социолог оставляет в стороне художественную и литературную ценность произведения и обращается с ним, как с материалом для социальной психологии, ничем не отличающимся от всякого другого материала.

К литературе всё это не имеет ни малейшего отношения. Как мы уже говорили, литературное произведение предполагает прежде всего художественный замысел автора, затем художественное впечатление, производимое им на читателя, и, наконец, художественные приемы, с помощью которых это впечатление достигается. Только при наличии этих трех условий простое сообщение мыслей становится литературным произведением. Можно с уверенностью утверждать, что в произведениях Достоевского социальное положение и экономическая роль его действующих лиц никакого значения для этих трех предпосылок не имеют: ни сам автор, ни его читатели не воспринимали соотношения между характером действующего лица и его ролью в производственном процессе как основной фактор, они просто не замечали его, и никогда это соотношение не применялось автором в качестве приема, чтобы произвести то или иное художественное впечатление на читателя. Достоевский был художником-реалистом, и поэтому его произведения развертываются на фоне действительных социальных и экономических условий его времени, и герои его так или иначе включены в социальную жизнь. Но совершенно так же и по тем же причинам в произведениях пи-

сателя изображены действительно существующие русские климатические условия и географические особенности, что может быть очень интересно для географа, но не для литературоведа.

Итак, наше собственное направление — чисто литературоведческое. Нас интересует Достоевский как писатель, то есть его художественные намерения и замыслы, средства, которыми он пользовался для того, чтобы произвести желаемое впечатление, наконец, то действительное впечатление, которое его творения производили на современников. Биография и идеология Достоевского интересуют нас также, но не как самоцель, а лишь поскольку они связаны с его творчеством.

Н. С. Трубецкой.

УЧЕНЫЙ

Размах и силу чертежу дает он,
Безмерен он по широте охвата,
Из рук его стартуют самолеты,
Дымят ракеты. Им расщеплен атом.
И кажется он достаёт до неба,
И Млечный Путь ему не седина ли?
Под цифрами раздвинут звездный невод,
И голову планеты задевали.
Он формулой заглядывает в вечность,
Системам он свое оставил имя,
А в молодости так бывал застенчив
Под чистым взглядом женщины любимой.
Сегодня ночью сдал сердечный клапан,
Во сне он умер. Формул всех проверка.
Мелькнула жизнь, и как неважен атом
И ход планет в сравнении со смертью.

Олег Ильинский

ЧЕХОВ — ОБЩЕСТВЕННИК

(Биографическая справка)

17. 1. 1860-2. 7. 1904*

1

Биографией Чехова интересуются мало. Широкому читателю, даже любящему Чехова, его биография представляется в чересчур общих чертах, скорее всего — в некоторой схеме; окончил таганрогскую гимназию, потом — московский университет по медицинскому факультету; медициной занимался мало, только первые годы, а всю жизнь был занят литературной работой; умер от чахотки.

В этой биографической схеме отсутствует несомненно важная часть: в ней отсутствует общественная деятельность Чехова, и схема эта не отражает его общественных интересов.

Эта сторона жизни Чехова не только мало известна: она в общем представлении даже и искажена. Достаточно прочно установилось мнение, будто общественные интересы проходили мимо Чехова, будто он жил вне их и даже чуждался их. В писательском треугольнике тех годов (Горький — Короленко — Чехов) двое первых рисуются писателями-гражданами, отдающими свое перо общественному служению, а третий представляется писателем, стоящим вне общественной жизни и даже сознательно сторонящимся от нее.

Такое мнение справедливо лишь постольку, поскольку оно касается Чехова-писателя, а не Чехова-человека; своего пера на общественное служение Чехов не отдавал, что, конечно, не означает отсутствия глубокого общественного значения всего его творчества. В этом смысле «писателем-общественником» он не был. Но и писателем, и общественником он был всю жизнь. Достаточно даже беглого ознакомления с

* Даты указаны по старому стилю.

некоторыми сторонами его биографии, чтобы убедиться в справедливости этого утверждения.

Конечно, косвенная связь (через призму творчества) между писателем и общественником была, и многие общественные вопросы, настроения и стремления отражены в произведениях Чехова. Но настоящий очерк не ставит своей целью установление и характеристику подобной связи, хотя задача эта, несомненно, очень интересна. Цель очерка значительно скромнее: это — биографическая справка и — не более того.

2

Когда началась общественная деятельность Чехова и когда начался его интерес к общественным вопросам? Установить точную дату, конечно, невозможно. Но всё же интересно отметить, что общественный интерес пробудился в Чехове довольно рано: еще в старших классах гимназии. Сотрудничая в рукописном гимназическом журнале, он давал в него «сценки из таганрогской жизни». Кроме того, он время от времени сочинял «таганрогские обозрения» для любительских спектаклей, которые ставились в доме А. Дросси. Если в этих сочинениях можно и надо усмотреть раннее тяготение Чехова к писательству, то в избираемой им тематике можно и надо усмотреть ранний интерес к общественной жизни, как бы мелка и бедна ни была она в провинциальных условиях.

Еще интереснее упомянуть об одном гимназическом эпизоде. В 1878 году из таганрогской гимназии был уволен ученик 8 класса Волкенштейн, который дал пощечину своему товарищу за то, что тот назвал его «жидом». Чехов в то время был в 7 классе, но он вмешался в эту историю и поднял вопрос о коллективном протесте, предлагая подать заявление об общем уходе из гимназии, если Волкенштейн не будет принят обратно. Начальство не сочло нужным доводить дело до крайности, Волкенштейн был принят обратно, и история последствий не имела. Можно считать, что участие Чехова в этом эпизоде было его первым «общественным» выступлением¹.

В университетские годы Чехов интересовался студенческой жизнью, хотя активным студентом-общественником и не был. Он ходил на сходки, на собрания, прислушивался ко всему, но участия не принимал, а был лишь пассивным слушателем.

¹ М. Андреев-Туркин «Чехов в Таганроге».

лем, т. е. «был в числе не индифферентного, но и не активного большинства», как говорит в своих воспоминаниях Г. И. Россолимо². Несколько условно можно считать началом активной общественной деятельности Чехова его участие в переписи населения (январь 1892) или, более точно, участие в инициативной группе «Русского гимнастического общества», в котором он некоторое время состоял членом-учредителем³. Но это участие было весьма кратковременно и, вероятно, случайно, и никакого следа по себе не оставило.

Более определенная общественная работа Чехова началась в последние студенческие годы и была связана с врачебной деятельностью. Свои первые медицинские шаги Чехов делал в провинции, в деревне, где соприкоснулся с земской работой и с земскими работниками. Медицина и общественность сразу же тесно слились. Веря в свою литературную судьбу, Чехов не предполагал делать медицину своей профессией, а поэтому его шаги на этом поприще были случайны и неопределенны: в них не было элемента профессиональности.

Еще в последние студенческие годы Чехов, во время летних приездов в Воскресенск, добровольно работал на приеме больных в чикинской земской больнице⁴. По окончании же университета (1884), уехав на лето в тот же Воскресенск, он по собственному желанию ездил на судебно-медицинские вскрытия⁵ и временно замещал уехавшего в отпуск земского врача Успенского⁶. Чего было больше в этой его работе: интереса к врачебному делу или тяготения к общественной деятельности? Медицина ли заставила его идти на сближение с земской работой, или, наоборот, земская (общественная) жизнь потребовала от него занятия медициной? Судить трудно, и провести разделяющую линию между Чеховым-врачом и Чеховым-общественником вряд ли возможно.

Вернувшись в Москву, он открыл у себя на дому прием больных, но его врачебная практика ничуть не стала профессией, а сразу же свелась не то к благотворительности, не то к исполнению общественных обязанностей. В письме к М. Г. Чехову он сознавался, что «половину больных приходится

² Г. И. Россолимо «Воспоминания о Чехове».

³ «Новости дня», № 88, 1883.

⁴ М. П. Чехов «Вокруг Чехова».

⁵ П. Г. Розанов «А. П. Чехов в 80-х годах».

⁶ Полное собрание сочинений и писем А. Чехова, т. 13, письмо 69.

лечить даром»⁷. Это подтверждается и воспоминаниями А. С. Грузинского: «Больше всего и чаще всего он лечил бедных и бедствующих из литературной братии, которые шли «к Антоше» так же просто, как ходят в бесплатную больницу»⁸.

В этих условиях медицина никак не становилась для него профессией, чего он и не ждал, занимаясь врачеванием лишь постольку, поскольку того требовали сложившиеся условия. Такое положение усугубилось следующим летом (1885), когда Чехов, приехав в тот же Воскресенск, опять начал заменять уходящих в отпуск земских врачей, лечить больных, делать вскрытия и т. д. Он всё это и делал, но не в порядке профессиональных обязанностей и не «из любви к делу», а оттого, что всё больше и больше сближался с миром земских (общественных) работников. На результат своей летней работы он кратко, но выразительно указал в письме к Н. А. Леикину: «Больные лезут ко мне и надоедают. За всё лето перебывало их у меня несколько сотен, а заработал я всего 1 рубль»⁹. Надо полагать, что этот «1 рубль» достаточно ясно определяет собою и степень профессионального, и степень общественного начала во врачебной деятельности Чехова за указанное лето.

Вполне точный и до конца определенный характер приняла врачебная работа Чехова во время его жизни в Мелихове (1892-98): она стала типичной общественной работой.

Летом 1892 г. с Волги стала надвигаться холера. Чехов тотчас же известил серпуховскую земскую управу о своей готовности принять участие в борьбе с эпидемией. В Мелихове был открыт новый лечебный пункт, заведывание которым Чехов безвозмездно принял на себя: земство отпустило весьма скромные средства. Кроме «холерного пункта» он открыл в своем доме и амбулаторный прием больных, а через 2-3 недели принял на себя (безвозмездно) заведывание амбулаторными приемами в Крюкове и в Угрюмове¹⁰. Работы было много, средств и помощи — мало. В письме к Л. С. Мизиновой

⁷ «Полное собрание сочинений и писем А. П. Чехова», т. 13, письмо 91.

⁸ А. Грузинский «О Чехове».

⁹ Полное собрание сочинений и писем, т. 13, письмо 102.

¹⁰ Обзор серпуховской земской санитарно-врачебной организации за 1892/93 г.г.

Чехов писал: «Я назначен холерным врачом от земства (без жалованья). Работы у меня больше, чем по горло. Разъезжаю по деревням и фабрикам. Дано мне 25 деревень, а помощника — ни одного». Кроме этих деревень в его участке были 4 фабрики и один монастырь. Приняв на себя ответственные обязанности, Чехов не отнесся к ним формально, но весь ушел в организационные и врачебные дела: оборудование пунктов и барачков, прием больных, постоянные разъезды... «А так как земство не дало мне ни копейки, — пишет он А. С. Суворину, — клянчу у богатых людей. Оказался я превосходным нищим: мой участок теперь имеет 2 превосходных барака со всей обстановкой и пять скверных. Я избавил земство даже от расходов по дезинфекции. Известь, купорос и всякую пахучую дрянью я выпросил у фабрикантов на все свои 25 деревень». За лето им было принято свыше тысячи больных, проведены многочисленные осмотры и беседы с крестьянами, а издержано на все это было только 110 р. 76 к. земских денег: «Львиную долю расходов я взвалил на соседей-фабрикантов, которые и отдувались за земство».

Отмечая исключительную энергию Чехова и полную его готовность к несению общественной работы, нельзя не отметить и того, что вся эта работа не сопровождалась речами и громкими фразами, а была как бы «само собою разумеющейся», как будто «иначе и нельзя». Впрочем, нельзя не вспомнить, что свойство скромности и незаметности отличало огромное большинство общественных работников в дореволюционной России. Не является ли это свойство скромности и незаметности косвенной причиной того, что общественная деятельность очень многих лиц, в том числе и Чехова, почти совсем неизвестна даже образованной части общества?

Чехов не ограничивал свою общественно-врачебную работу одной только борьбой с холерой и лечением больных, но распространял ее и на повседневные случаи земской жизни. В течение всего лета (а в последующем — во все остальные года жизни в Мелихове) он неуклонно посещал заседания санитарного совета, активно участвовал во всех начинаниях, разрабатывал проекты, выдвигал новые соображения и был действенным из числа наиболее действенных. Он не принадлежал к категории тех членов всяких комиссий, которые только «числятся», а сами ничего не делают, но был (несмотря на «безвозмездность») нужным и полезным земским работни-

ком, хотя в начале и был лишь на положении кооптированного.

К этому следует сделать важное добавление: свою общественно-врачебную деятельность Чехов понимал широко и вел ее не только в пределах земской работы. Он безотказно и активно отзывался на все случаи, которые требовали поддержки или борьбы. Для примера интересно проследить его участие в судьбе журнала «Хирургическая летопись» (впоследствии — «Хирургия») ¹¹.

В 1895 г. определилось, что журнал этот за недостатком средств должен закрыться. Чехов взволновался. Он тотчас же поехал в Москву и начал действовать. Сытин сперва пообещал ему поддержать журнал, но вскоре раздумал и от участия в издательстве отказался. Чехов принялся искать деньги в других местах. В письме к А. С. Суворину он писал: «Такая нелепость, как гибель журнала, без которого нельзя обойтись, ударила меня по башке. Спасти хороший хирургический журнал так же полезно, как сделать 20 тысяч удачных операций». Нужен был или издатель, или деньги. Чехов энергически начал искать: «Я усердно искал, просил, унижался, ездил, обедал черт знает с кем, но никого не нашел». Всё же ему удалось временно сохранить журнал, но к концу 1897 г. опасность закрытия опять возникла. Чехов опять заволновался. В письме к тому же Суворину он пишет о своей готовности «простоять перед домом Витте ¹² босиком, с непокрытой головой и со свечей в руках», чтобы получить правительственную субсидию. Наконец, спасение было найдено: сахарозаводчик Харитonenko согласился дать 2000 рублей.

Невозможно перечислить в данном очерке все случаи вмешательства ¹¹Чехова в те дела, которые имели отношение к медицине и которые, по его мнению, требовали общественной поддержки. Он поднимает вопрос об организации при больницах благотворительных учреждений и сам состоит членом правления одного подобного Общества (при солнышевской земской больнице) ¹³. Вместе с психиатром Ольдерогге он хлопочет об устройстве колонии для лечения алкоголиков. Будучи сам в последней стадии чахотки, затевает в Ялте по-

¹¹ Выходил в Москве с 1891 г. под редакц. проф. Склифасовского и проф. Дьяконова.

¹² Тогда — министр финансов.

¹³ Обзор серп. земск. сан. врач. орг. за 1893/94 г.г.

стройку пансиона-санатория для приезжающих неимущих больных, для которых жизнь в Ялте во время сезона была непосильно дорога. В этом случае он проявил громадную энергию: выпустил воззвание¹⁴, обратился к многочисленным газетам, организовал «Попечительство о приезжих больных» и добился того, что в декабре 1900 в Аутке был открыт первый пансион «Яузлар» на 20 человек, на содержание которого, кстати сказать, Чехов пожертвовал 5000 р. личных денег.

Будучи за границей (1901), он обдумывает проект создания клиники кожных болезней и запрашивает М. А. Членова о том, какая сумма нужна для этого: «Если достаточно 120 тысяч, то телеграфируйте мне», — пишет он в своем письме, уверенный, что деньги достанет.

Нельзя не упомянуть и о том, как в марте 1904 г., уже умирающий, он просит Вл. И. Немирович-Данченко устроить литературное утро в пользу женских медицинских курсов. Он пишет из Ялты своей жене: «Я врач, я друг женских медицинских курсов. Курсистки обратились ко мне, как к врачу» и т. д.

«Как к врачу»... Этого мало. Как к писателю? Мало и этого. Как к чуткому общественнику! Если бы Чехов был только врачом и писателем, он не сделал бы и десятой доли того, что делал, будучи подлинным общественником. Следует отметить: общественный долг в дореволюционной России, чувствуемый многими общественными группами, особенно полно ощущался именно во врачебной и писательской среде.

3

Но не одним врачебным делом ограничил Чехов свою общественную деятельность. Была у него и другая постоянная забота: народное образование.

Школьным работником (в смысле — учитель) Чехов никогда не был: ни в низшей, ни в средней, ни в высшей школе. Но он всю жизнь был школьным работником в другом смысле. Его работа «на ниве народного образования» была вызвана не профессиональной заинтересованностью, а заинтересованностью другого порядка: общественной.

¹⁴ «Страстный призыв Чехова, — свидетельствует Н. Сысоев, — облетел всю Россию. Ни одно воззвание не имело такого успеха. Пожертвования посылались со всех сторон.» (Н. Сысоев. «Чехов в Крыму».)

Еще в 1891 г. он был избран членом «Комитета грамотности при московском обществе сельского хозяйства», но следов его деятельности в этом Комитете не сохранилось. В период же своей жизни в Мелихове он отдал очень много сил и трудов всему, что связано с делом образования.

Хорошо ознакомившись со своим участком, который он изъездил вдоль и поперек, он не мог не обратить внимание на недопустимо малое число школ. «Обратить внимание» для него значило — «начать действовать». И в его жизни начался достаточно долгий период, когда он «строил школы».

Средства на постройку школ обычно отпускались земством и отчислялись крестьянскими обществами, но, как правило, средств этих всегда было недостаточно. Поэтому Чехову приходилось изыскивать добавочные источники, т. е. обращаться к состоятельным людям уезда, что требовало сил, времени и труда, не говоря о том, что ему часто бывало неприятно «ходить по подокоңью» (его выражение). Но обстоятельства того требовали, и он не мог пренебречь ими. В письме к А. С. Суворину он пишет: «Была у меня депутация от мужиков, просила денег на школу, и у меня не хватило мужества отказаться. Земство дает тысячу, мужики собрали 300 р., а школа обойдется не менее трех тысяч. Значит, опять мне думать всё лето о деньгах и урывать их то там, то сям». Всего в своем участке Чехов построил три школы: в Талеже, в Новоселках и в Мелихове. На постройку мелиховской школы (1898) он не только дал из личных средств 300 р., но и ассигновал на нее гонорар со своих пьес: «Театральный гонорар весь должен итти на постройку мелиховской школы», — распорядился он. Зато немного позже он мог вполне удовлетворенно сказать: «Я выстроил три школы, и они считаются образцовыми. Выстроены они из лучшего материала, комнаты 5 арш. вышины, печи голландские, у учителя камин и квартира не маленькая — в 3-4 комнаты. Две школы обошлись по 3 тыс., а третья, меньшая, в 2 тысячи».

Но одной постройкой школ дело помощи образованию для него, конечно, не ограничивалось. Он принял на себя попечительство талежским училищем, а немного спустя, избранным гласным серпуховского земского Собрания, занялся школьным делом вплотную. В письмах и в воспоминаниях беспрестанно встречаются указания на то, как он посещал школы, проводил экзамены, создавал школьные библиотечки, изучал учебные программы, помогал учителям и т. д. Другими

словами, был столь же действенен, как и в области врачебного дела.

Та же картина повторилась и в Ялте, куда Чехов переехал, нуждаясь в климате Крыма. Скоро после приезда он был избран членом попечительного Совета ялтинской женской гимназии и тотчас же погрузился в его дела. Характерен и случай, рассказанный М. П. Чеховой в ее воспоминаниях о брате. В начале сентября 1899 г. к Чехову пришел учитель сельской школы в Мухалатке (40 верст от Ялты), которая разваливалась и которой грозило закрытие из-за недостатка средств на ремонт. Чехов отдал ему все деньги, какие тогда были у него: 500 р.¹⁵ Но одним только пожертвованием он не удовлетворился и тотчас же начал хлопоты по подысканию средств на постройку новой школы. В письме к мухалатскому священнику, о. Ундольскому, он заверял, что поможет ему найти нужные деньги, и, действительно, весной следующего года передал ему собранные 1000 р. Школа была построена.

Наряду с заботой о школах Чехов был также крайне озабочен организацией и поддержкой библиотек. Главной для него была библиотека в его родном городе Таганроге, куда он постоянно, всю жизнь, посылал ящики книг. За последние 10 лет его жизни книги были им посланы в Таганрог свыше двадцати раз и зачастую — целыми транспортами. Так напр., будучи во Франции (1898), он посылает в Таганрог 319 томов, сам на себя жалуюсь в письме к сестре: «Денег у меня нет, но соблазн велик; я не удержался и послал в таганрогскую библиотеку всех (подчеркнуто в подлиннике) французских классических писателей. Это стоило недешево».

Вернувшись с Сахалина (1891), он начал собирать и покупать книги для сахалинских школ. По его просьбе Комитет грамотности при Вольно-Экономическом Обществе послал туда 1470 книг, а кроме того сам Чехов отправил туда же 7 ящиков книг (2200 томов). Также посылал он на Сахалин и школьные программы и учебные пособия¹⁶.

Он снабжал книгами и другие библиотеки. Сохранились сведения о посылке им книг в армавирскую, серпуховскую и ялтинскую библиотеки, в русскую общественную читальню в

¹⁵ М. П. Чехова «Из воспоминаний о прошлом».

¹⁶ В связи с заботой Чехова о книгах для Сахалина, для «царства тюрьмы», интересно напомнить, что произведения Чехова в тюремных библиотеках были воспрещены.

Гейдельберге и даже в читальню при русском консульстве в далеком Сеуле¹⁷.

Он не только жертвовал книги, но был и постоянным активным работником библиотек. Совместно с П. Ф. Иордановым (член таганрогской городской Управы) он разрабатывает каталог таганрогской городской библиотеки, вводит в него новые отделы и систематизирует старые. По сохранившейся переписке с Иордановым можно судить о том, как внимательно и старательно был занят Чехов этим каталогом, как вдумчиво он относился к нему и какое значение он ему придавал. Помимо каталога он был чрезвычайно занят также постройкой особого здания для таганрогской библиотеки, организацией при ней справочного отдела, а впоследствии — музея.

Кроме того он постоянно создавал библиотеки, так сказать, особого назначения: напр., при серпуховской больнице — для выздоравливающих, при ялтинском приюте — для хронических больных и т. д. По просьбе серпуховской земской Управы он взваливает себе на плечи новую важную заботу: безвозмездно принимает на себя заведывание местной библиотекой и, конечно, не остается на этом «посту» бездеятельным.

В своем «завещании» (вернее — в своем распоряжении сестре Марии Павловне) он оставляет свое имущество сестре, жене и братьям, но с тем, чтобы после их смерти все средства были переданы таганрогскому городскому управлению на нужды народного образования.

4

Так же чрезвычайно широка и разностороння была общественная работа Чехова вне школьной и библиотечной сферы. Невозможно перечислить все те случаи, когда он не словами, а делом отзывался на возникавшие нужды. Он собирает деньги на памятник Гоголю, принимает участие в разработке плана «Народного Дворца», заботится о проведении шоссейной дороги в серпуховском уезде, строит колокольню в Мелихове, сочиняет устав товарищества для ялтинской газеты, озабочен постановкой в Таганроге памятника Петру I и т. д. Вернувшись с Сахалина, он тотчас же начинает обдумывать:

¹⁷ Письмо секретаря сеульской библиотеки (хранится в Гос. биб-ке им. Ленина).

как помочь сахалинским детям? что можно для них сделать? И к разработке намеченного проекта привлекает А. Ф. Кони. Когда открылась нижегородская выставка (1896), он носится с мыслью: собрать деньги и отправить на выставку сто деревенских школьников. Узнав о проекте «Биологической станции», сейчас же начинает обдумывать этот проект и пишет председателю московского Общества испытателей природы по этому поводу исчерпывающее письмо. Много также он сделал для реализации плана страхования учителей.

В двух российских переписях (1882 и 1897) Чехов принимает непосредственное участие: в первой — достаточно скромное («счетчик II-ой группы по V-му округу 2 участка мещанской части г. Москвы»), а во второй — достаточно большое и ответственное, т. к. принял на себя обязанности «счетчика по производству первой всеобщей переписи населения Российской империи в 4-м участке серпуховского уезда московской губернии». Он подшучивает над собой в письме к А. С. Суворину: «Я буду среди счетчиков на манер ротного командира». Эта перепись потребовала от него много труда и времени. «Перепись, перепись, перепись! — пишет он П. Ф. Иорданову. — Все время и все человеки заняты переписью, и мой рояль весь завален листами. Счетчики то и дело ходят ко мне за объяснениями, и я читаю им лекции». «Замучила перепись! — жалуется он двумя неделями позже в письме к В. И. Яковенко. — Никогда еще мне не было так некогда». Но когда работа кончилась, он радовался тому, что перепись проведена им удачно и что счетчики «работали превосходно». И при всем том следует отметить, что как раз в эти дни, когда ему было «некогда, как некогда» он не забыл многого и сверх переписи: отправил очередную партию книг в Таганрог (6 и 13 января), обдумал меры, необходимые для поддержки организации при больницах благотворительных учреждений, составил список книг д-ру Яковенко, работавшему в комиссии по обоснованию ходатайства об отмене телесных наказаний для арестантов и даже принял активное участие в устройстве любительского спектакля в Серпухове в пользу земских школ.

Точно так же Чехов «с головой ушел» в дело помощи голодающим (1891). Он уехал в нижегородскую губернию, где совместно с земским начальником Е. П. Егоровым принялся за осуществление важного мероприятия: на собранные пожертвования они скупали крестьянских лошадей, которые

осенью и зимой продавались за бесценок, кормили их в течение зимы, а весной возвращали владельцам. «Ведь грозит серьезная опасность того, что яровые поля будут не вспаханы и что таким образом опять повторится голодная история», — поясняет он в письме к А. И. Смагину суть этого мероприятия. Впоследствии (февраль 1892) он ездил в воронежскую губернию, где также проявил много стараний в деле помощи. Менее энергичное, но действительное участие принял он в «самарском голоде», собирая пожертвования в пользу голодающих детей.

Несомненный общественный характер имела и вся личная жизнь Чехова. Помимо безотказной помощи отдельным лицам¹⁸, он проявлял себя всюду как «общественник» и на многие явления смотрел именно с этой точки зрения. Так напр., при посещении всеволодо-вильевского химического завода С. Т. Морозова (1902) он не только живо (как писатель), но и глубоко (как общественник) заинтересовался условиями труда и жизни рабочих, говорил с Морозовым о недопустимости 12-часового рабочего дня и настойчиво просил его (ради пробы) снизить этот день до 8 часов. В настоящее время есть сведения (быть может, недостаточно проверенные), что Морозов под влиянием уговоров Чехова ввел на этом заводе 8-часовой рабочий день для основных рабочих и 10-часовой для подсобников. После его смерти наследники устроили 10-часовой день для всех видов труда¹⁹.

Чехов чрезвычайно нервно отзывался на студенческие волнения (1899) и на ту реакцию, какую они вызывали у правительства и в некоторой части общества. В. М. Лавров в своих воспоминаниях пишет: «Студенческие волнения Чехов принимал близко к сердцу и страшно, до боли возмущался

¹⁸ Перечислить их невозможно за многочисленностью. Вот отдельные примеры: он принял на себя плату за правоучение дочери Г. А. Харитоненко (бывшего «мальчика» в лавке его отца, Павла Егоровича) и написал тому: «Когда Вашей дочери минет 9 лет, отдайте ее в гимназию и позвольте мне платить за нее»; высылает деньги на дорогу в Ялту чахоточному поэту Елифанову и устраивает его в санатории; добивается приема в санаторию ссыльного Радина; хлопочет о приеме в ялтинскую гимназию мальчика-еврея; помогает дьякону Любимову в переводе его сына в московский университет — и очень многое другое.

¹⁹ А. Шарц «Чехов на Урале».

человеконенавистническими словесами, изрыгаемыми рыцарями охранительной печати»²⁰. По поводу этих волнений Чехов резко писал А. С. Суворину, который оправдывал действия администрации, избиения, разгоны демонстрантов и т. д.: «Вы говорите о праве государства, но Вы не на точке зрения права. Если государство неправильно отчуждает у меня землю, я подаю в суд, и сей последний восстанавливает мое право. Разве не должно быть то же самое, когда государство бьет меня нагайкой? Понятие о государстве должно быть основано на определенных правовых отношениях, в противном же случае оно — жупел, звук пустой, пугающий воображение».

Неправильно думать, будто Чехов стоял в стороне от общественных и политических вопросов современности: он всегда интересовался и жил ими. Даже будучи совсем больным, незадолго перед смертью (начало 1904), он, так сказать, «набросился» на С. Я. Елпатьевского, приехавшего в Ялту после 9 пироговского съезда врачей. В своих воспоминаниях Елпатьевский рассказывает: «Когда я вернулся из Петербурга, он в тот же день звонил ко мне по телефону, чтобы я как можно скорей, немедленно, сейчас же приехал к нему, что у него важнейшее, безотлагательное дело ко мне. Оказалось, что это важнейшее, безотлагательное дело заключалось в том, что он волновался: ему безотлагательно сейчас же нужно было знать, что делается в Москве и в Петербурге, в политическом мире, в надвигающейся революции». И когда Елпатьевский пришел, Чехов жадно и настойчиво расспрашивал его: что говорилось на съезде и что чувствовалось на нем? каково настроение в общественных кругах Москвы и Петербурга? каков дух студенчества? что делается в союзе «Освобождение»²¹?

Для полноты характеристики общественных интересов Чехова нелишне упомянуть о его отношении к делу Дрейфуса, в свое время так радикально поделившему общественное европейское мнение. Чехов решительно встал на сторону Дрейфус-Золя. Позиция суворинского «Нового Времени», обвинявшего Дрейфуса и лившего воду на мельницу мракобесия, возмутила его, несмотря на его близость к Суворину: «В деле Золя «Новое Время» вело себя просто гнусно!» — писал он брату Александру. В другом письме к нему же он повторял свои

²⁰ В. Лавров «У безвременной могилы».

²¹ Выпуски «Освобождения» Чехов регулярно читал.

слова: «Поведение «Нового Времени» в деле Дрейфус-Золя просто отвратительно и гнусно. Гадко читать!» Последующий его разрыв с Сувориным, с которым его многое связывало в прошлом, был вызван, конечно, целым рядом накапливавшихся причин, но дело Дрейфуса сыграло в этом разрыве большую роль, что Чехов года два спустя сам подтвердил в письме к брату Михаилу.

Многим, конечно, памятна история отказа Чехова от звания почетного академика по разряду изящной словесности Академии Наук. Чехов был избран 8 января 1900 г., а несколько позже был избран Горький. Но после ареста Горький был исключен из числа академиков, и выборы его были признаны недействительными²². В ответ на это Чехов (совместно с Короленко) отказался от звания почетного академика. Нет никаких оснований считать, что отказ этот был вызван какими-нибудь личными побуждениями: это был акт общественного порядка.

5

Ниже приводится (возможно — неполный) перечень общественных «должностей», которые принимал на себя Чехов по личному желанию или по выборам организаций. Перечень этот с достаточной полнотой и убедительностью доказывает широту общественной работы Чехова и его действенный интерес к этой работе.

- | | | | | |
|----|-------|-----|-----|---|
| 1. | 1883. | 9. | ?? | Член-учредитель «Русского гимнастического Об-ва». |
| 2. | 1888. | 12. | 19. | Член-сотрудник «Русского литературного Об-ва». |
| 3. | 1889. | 3. | 17. | Действительный член «Об-ва любителей российской словесности» (с 14 окт. 1903 — председатель этого Об-ва). |
| 4. | 1891. | 2. | 20. | Действительный член Комитета грамотности при московском Об-ве сельского хозяйства. |
| 5. | 1892. | 8. | 25. | Член санитарно-исполнительной комиссии серпуховской уездной земской Управы. |

²² «Правительственный вестник» от 10 марта 1902 г.

- | | | | | |
|-----|-------|-----|-----|---|
| 6. | 1894. | 7. | 24. | Гласный серпуховского земского Собрания (избран на трехлетие и переизбран на следующее трехлетие 25 июня 1897). |
| 7. | 1894. | 7. | 10. | Кандидат в члены Правления благотворительного Об-ва при солнышевской земской больнице. |
| 8. | 1894. | 9. | 24. | Член комиссии серпуховского санитарного Совета по осмотру фабрик в с. Крюково. |
| 9. | 1894. | 11. | 19. | Утвержден в звании попечителя талежского сельского училища. |
| 10. | 1895. | 12. | 27. | Член «Об-ва охранения народного здоровья». |
| 11. | 1896. | 5. | 28. | Член комиссии серпуховской земской Управы по выработке проекта образцовой школы. |
| 12. | 1896. | 10. | 2. | Действительный член московского «Об-ва грамотности». |
| 13. | 1897. | 3. | 7. | Попечитель хатунской (серпуховского уезда) народной библиотеки. |
| 14. | 1897. | 9. | 15. | Утвержден в звании попечителя чирковского народного училища. |
| 15. | 1897. | 10. | 31. | Член «Союза взаимопомощи русских писателей и ученых». |
| 16. | 1898. | 2. | 24. | Почетный член таганрогского «Музыкально-Драматического Об-ва». |
| 17. | 1898. | 9. | 19. | Почетный член «Об-ва взаимопомощи учащих и учивших в серпуховском уезде». |
| 18. | 1898. | 10. | ?? | Член попечительного Совета ялтинской женской гимназии. |
| 19. | 1898. | 11. | 27. | Действительный член ялтинского Комитета русского Общества Красного Креста. |
| 20. | 1899. | 1. | 17. | Член ялтинской комиссии по устройству празднования 100-летия со дня рождения Пушкина. |

- | | | | | |
|-----|-------|-----|-----|--|
| 21. | 1899. | 10. | ?? | Попечитель таганрогской городской библиотеки. |
| 22. | 1900. | 1. | 8. | Почетный академик Академии Наук. |
| 23. | 1901. | 5. | 21. | Почетный член таганрогского попечительства о детских приютах. |
| 24. | 1901. | 12. | 27. | Попечитель гурзуфского земского училища. |
| 25. | 1902. | 12. | ?? | Член петербургского «Об-ва Донских Казаков». |
| 26. | 1902. | 6. | 12. | Член ялтинского «Благотворительного Об-ва». |
| 27. | 1902. | 6. | 12. | Участковый попечитель о нуждающихся приезжих больных. |
| 28. | 1904. | 1. | 9. | Попечитель ауткинского земского училища. |
| 29. | 1904. | 4. | 24. | Почетный член московского «Литературно-Художественного Кружка» ²³ . |

При чтении этого перечня следует обратить внимание на три обстоятельства: 1) общественные «должности», занимаемые Чеховым, никогда не были «помпезными», а, наоборот, неизменно были весьма скромными: вплоть до члена комиссии по санитарному осмотру фабрик в с. Крюково. «Почетное» членство (их в перечне — 4) являлось не результатом стремления Чехова к «почету», а было только знаком уважения к нему со стороны различных общественных организаций и знаком их признательности; 2) все эти «должности» свидетельствуют о постоянной готовности Чехова принимать активное участие в местной общественной работе и о его неспособности к отказу от какой бы то ни было общественной «нагрузки». Нельзя не видеть в этой готовности естественного стремления к участию в общественной жизни и нельзя объяснять это одной только (всем достаточно известной) деликатностью Чехова; 3) многие из званий, предлагаемых ему, говорят о трогательном внимании современной общественности к Чехо-

²³ К этому перечню интересно было бы добавить перечень тех благодарностей, которые получал Чехов от различных организаций и частных лиц. К сожалению, привести этот перечень не представляется возможным: он чересчур велик.

ву: достаточно остановиться на почти курьезном избрании его членом Общества Донских Казаков, к жизни и деятельности которых он, конечно, никакого отношения не имел (он был избран, как уроженец Донской области).

Общественная работа Чехова, вероятно, вызывала настояренное подозрение в тогдашних административно-полицейских кругах, которые склонны были усмотреть в ней наличие «крамолы». Административным карам Чехов не подвергался, но в 1896 г. за ним был установлен негласный полицейский надзор. Архивных сведений об этом не сохранилось, но М. П. Чехова в своих воспоминаниях о брате рассказывает о том, как помощник серпуховского исправника в минуту откровенности однажды сказал ему по секрету, что за Чеховым установлен полицейский надзор и что в управлении исправника получено о том распоряжение из Москвы. После того в меликовском доме появился даже некий соглядатай, который, однако, вел себя так неуклюже, что сразу же был разгадан.

В добавление к перечню общественной работы Чехова не лишне добавить, что он кратковременно находился и на государственной службе: с 10 марта по 12 ноября 1893 г. он состоял «сверхштатным младшим медицинским чиновником при медицинском департаменте Министерства Внутренних Дел». Был он и «кавалером орденов»: 6 мая 1897 года он был награжден бронзовой медалью за участие в переписи, а 6 декабря 1899 года — орденом св. Станислава 3 степени за «отличное усердие и труды» в качестве попечителя талежского сельского училища.

Н. Нароков

ДАВНО МИНУВШЕЕ*

Саратовская провинция

I

Обнаружившееся обострение туберкулеза совсем из строя рабочей жизни моего мужа не выбило. Он сохранил уроки в гимназии, и только время от времени должен был пропускать их — при новых припадках кровотечения. Стал часто вспоминать своего брата, Алексея, умершего за год до нашего брака совершенно от такой же формы туберкулеза¹. Свою обреченность он стойко переносил и ни словом, ни намеком не показывал, что он об этом знает. А когда родился наш первый ребенок, прелестный мальчик с огромными синими глазами, он весь досуг свой посвящал ему. Трудно мне передать словами, что это была за любовь к ребенку. Приходя из гимназии, он прежде всего шел в детскую, и часто уверял, что «Коля» ждал его и улыбался ему. А для меня, загипнотизированной опасениями д-ра Шпаковского, это было мучительное лицемерие двух дорогих существ: одного, пришедшего в такое время в мир, и другого, уходящего из него с роковой неизбежностью...

Но жизнь есть жизнь. Она идет своим порядком, не взирая на эти человеческие трагедии, и требует реакций. Продолжали и мы — молодежь — свою работу самообразования. «Университет» в нашей квартире пришлось прикрыть: работа слишком беспокойная для больного. Но кружков для совместного чтения было много в других местах. С лозунгами революции в эту эпоху (вторая половина 80-х гг.) было совсем тихо. Гибель «Народной Воли», предательство Дегаева

* См. кн. 43, 44, 45, 47 «Нового Журнала».

¹ Алексей Петрович Ювенальев был активным членом саратовских революционных кружков. Упоминание об этой его работе есть в журнале «Былое», № 3 за 1903 год.

и арест единственного члена Исполнительного Комитета, Веры Фигнер, (1883 г.) *погасили* огонь этой боевой организации. Мой муж рассказывал мне, что после убийства Александра II Вера Фигнер приезжала в Саратов и пыталась возродить организацию. Он был поражен тогда ее угнетенным состоянием, также боязливо-холодным отношением саратовских радикалов к ее предложениям: тактика террора после 1-го марта 1881 г. уже не встречала сочувствия. В наших кружках даже не было спора об этой форме борьбы. Споры возникли позднее, в 90-х гг., когда уже зарождались кружки марксистов и нео-народовольцев. Во второй же половине 80-х гг. темой бесед был вопрос о «смысле жизни». Как жить? Чему служить? В это же время в кружках появились новые фигуры: толстовцы со своим непротиплением злу. С ними сражались даже мирные «культурники». Непротивление злу в России было самым непопулярным лозунгом, несмотря на большое имя Льва Толстого. Но об этом — ниже. Вопрос же о смысле жизни дебатировался всюду. И с особой силой и своеобразием — в саратовской провинции.

Не только больному человеку, но и здоровому оставаться летом в Саратове было невысливо: пыль, какое-то особое удушье, — нечем дышать при температуре в 40-42 градуса. Даже Волга казалась «кипящей» и купанье нисколько не освежало. Встал вопрос, куда же нам деваться с туберкулезным больным и с маленьким ребенком? На кумыс муж отказался ехать решительно, — в его целебные свойства он уже не верил. Хотел лишь покоя и чистого воздуха. У семьи Ювенальных был крохотный кусок земли в деревне Губаревке, Вязовской волости. Был там и домик (вернее большая изба), построенный еще родителями. Туда и решили ехать на всё лето. Мне надо было предварительно ехать туда, чтобы всё приготовить для жилья. Оставив мужа и ребенка на попечение сестры, я с нянькой, молодой девушкой, поехала в Губаревку, — 35 верст от Саратова. Муж дал мне имена двух крестьян, которые могли приютить нас первые дни. До этого времени я в деревне никогда не бывала и Губаревка поразила меня прежде всего своим бедным пейзажем. Поля, чернозем, кое-где лесочки с листьями, какими-то мятыми даже этой ранней весной. Потом оказалось, что это — дубы, и листья их объедает шелковичный червь, очень красивый на вид, мохнатый с черно-пунцовыми полосами, но прожорливый и опасный для дубового леса. А когда я спросила крестьянина, бо-

рются ли они с этим вредным червяком, он удивленно посмотрел на меня и ответил:

— Что вы, барыня! Зачем с ним бороться? Это тварь невинная, ест листочки, а стволов не трогает. Вот саранча нас мучит, хлеб поедает. Трудисься, корпийшь, а она, подлюта, налетит и всё пожрет...

— А как же боретесь с ней?

— Как боремся? Увидим тучу, — летит, подлая, как туча с неба, и все на поля... Кричим, орем, машем полотенцами, чтоб сгнула... Если туча редкая, — разлетится. А не дай Бог — черная, крыло за крыло, — тогда уже прощай урожай, — шлепается о землю и жрет...²

Когда я вошла в избу того крестьянина, на которого указал мой муж, сразу почувствовала, что тут остаться не смогу. Какие-то липкие мухи облепили меня, множество их кружилось над столом, и воздух в избе был такой, что кружилась голова. А на лавках и на печке лежали тулупы и меховые шапки. Вонь от них — тяжкая...

— Почему не спрячете тулупы-то? Зачем они вам летом?

Опять удивленный взгляд:

— Ишь-ты! Это же для лета и есть! На полях поработай-ка без тулупа: вся кожа сожжется...

Пожив лотом в Губаревке, действительно, увидела крестьян на полях в этих зимних нарядах: солнце палило так, что ожоги на коже...

— Где бы тут переночевать?

— А ты, барыня, ступай на мельницу: там — шикарно! Всё начальство останавливается...

Совет исполнила. Пошла на мельницу (водяную). Она стояла на узенькой речке Губаревке. Там прежде всего на нас накинулись огромные цепные собаки: неистово лаяли. Вышел пузатый хозяин и спросил сонным голосом:

— Чаво тебе?

Я сказала.

— Светличка пустая. Можешь занять. Да кто ты, собственно? Заплатишь чай. Нам и начальство платит...

Обещав заплатить, пошла смотреть светличку. Большая комната с двумя кроватями и с видом на какой-то парк на

² Хотелось бы знать, как теперь борются с этим страшным врагом поволжских губерний. Беженцы о таких явлениях почти не рассказывают.

другом берегу реки. Там стоял дом с галлереей, с балконами и цветниками.

— А это что такое? — спрашиваю.

— Што такое? Это Анны Петровны усадьба. Большущая! А сама гордая! Идет с паршивой собаченкой и здравствуй не скажет... Тут и купальня ейная, на речушке-то... Гордячка...

В светличке лежал мучной налет, — кровати без простынь, подушки, лучше не описывать... Кое-как устроились и пошли в ювенальевскую избу. Она стояла с плотно закрытыми ставнями на самом краю деревни. Внутри — приятная, стены из брусьев, свежие. Много мебели простой, но необходимой. Изба разделена сеньями на две половины. Во второй половине — печка и — к удивлению — плита. На другой же день принялись с Дуняшей (нянькой) за радикальную уборку. Мыли, чистили, скоблили... А вечером — беседа с крестьянами. Прежде всего о провизии: что можно достать в Губаревке. Только — молоко, черный хлеб и «квашеную капусту», которую саратовские крестьяне едят в изобилии. Масло — с трудом. Надо покупать молоко и сбивать самим. Никаких признаков лавки, или тем более кооператива — нет и впоmine.

— Где же берете чай, сахар, мыло?

— Чаю захотела! Чай пьем только по праздникам... Стираем в речке, без мыла... А купить, это можно в Вязовке, три версты отседова. Там и церковь... И учитель... Парнишки и девочки бегают учиться туда...

— А сами что читаете?

Хохот. Заливаются.

— Ишь чего... Неграмотные мы...

— Все?

— Не все, а редко кто рукой водит по псалтырю...

Как? Это — в 35 верстах от просвещенного Саратова, где мы занимаемся поисками «смысла жизни»? Тут, в этих вечерних беседах, говорили обо всем: об урожаях, засухе, саранче, о мельнике — дерет «страшную цену» за помол и управы на него нету. Злобились на мух и на баб, — с детищами спать не дают. Иной ревет всю ночь, хоть об пол его стукни...

Боже, какая нудная жизнь... Смысл ее? Да просто живут. Дана жизнь, — надо сеять хлеб, квасить кислую капусту, рожать детей...

II

Через две недели мы снова приехали в Губаревку на этот раз уже всей семьей. Единственно, что хорошо было в этой деревушке, — воздух. Теплый, весь пропитанный запахом полевых цветов. Во дворе был большой навес, там мы с сестрой устроили нары, наложили свежей соломы, и мой муж мог лежать целый день не в четырех стенах. Тут же, около него, стояла коляска, с его любимцем, Колей... Из Саратова мы привезли много необходимой провизии и жизнь — материальная — пошла гладко и спокойно. Теперь нужно было ознакомиться с соседним селом, Вязовкой. Д-р Шпаковский дал письмо к тамошнему земскому врачу, А. В. Амстердамскому. А у моего мужа был там знакомый помещик, тоже врач, С. А. Марковский, которого он хотел посетить и со мной познакомиться. Об этой семье он говорил с улыбкой: семья оригинальная и вся интеллигентная Вязовка — чтит ее. Интеллигентная Вязовка? После сплошь мужичьей Губаревки мне было странно слышать об «интеллигентности» деревни, находящейся от нас всего в трех верстах.

— Подожди. Увидишь, — говорил муж, улыбаясь.

В яркий солнечный день мы всей семьей, с Колюшкой и нянькой, отправились в Вязовку. Въезд в село и избы там показались мне гораздо более «жилыми», чем в Губаревке. Некоторые всё же были крыты соломой. Выбеленных изб, какие я потом видела на Украине, — ни одной. Всё серо-темное, скучное. Нет даже палисадников, — есть лишь «заваленки», на которых сидели старухи и старики. Почти в самом селе усадьба Марковских. Дом простой, двухэтажный, без балконов и украшений, кругом — большой сад. Входим. Навстречу нам, широко раздвинув руки, вышла женщина, которая меня просто поразила. Необычайно толстая, в каких-то туфлях «на босу ногу» и в широчайшем светлом капоте, она сразу же бросилась целовать нас. Целовала радостно точно мы все были родные и близкие. А я рассматривала ее лицо. Совершенно детское, щеки обветрены, стриженные волосы постоянно падали на лицо и она их откидывала энергичным жестом. Это — хозяйка, Елизавета Андреевна Марковская. Ведет в комнаты. Боже моя... Что это такое? На огромном столе грязный нечищенный самовар, такой же пузатый и большой, как сама хозяйка. В комнате — тучи мух... Облепили они и тарелки с остатками еды. Потом из всех дверей,

ведущих в эту большую комнату, высыпались дети... грязные, волосы нечесанные...

— Это вот мое потомство! Адам, Лика, Дика — знакомьтесь. Это наши друзья...

Лика, прелестная девочка, но тоже грязная, лет 4-5, бросилась к моему Колюшке и ловко дала ему пощечину. Тот заревел. Нянька ее оттолкнула, а Елизавета Андреевна заявила:

— Мы, знаете, эту саранчу воспитываем на полной свободе, по Руссо... Придет сознание, — выправятся... А пока с ними трудно, не слушаются никого.

Потом, когда я стала бывать в этом доме, это «не слушаются» я испытала на себе... Жуткое воспитание «по Руссо»! Один раз Адам, мальчик лет 9, вымил мне на шею суп, подкравшись сзади. Всё это — при всеобщем хохоте, — тоже, видно, по Руссо...

Потом вышел хозяин, доктор Святослав Адамович. Широкое русское лицо, толстый, подвижной, с чудесными веселыми глазами. В русской рубашке и шароварах.

— Ну, здравствуйте! Нашего полку прибыло! Зачем же вы устроились в этой несчастной Губаревке! Лучше бы к нам: у нас столица, — захохотал он громко. — Ну, а с вашей соседкой, Анной Петровной, познакомились? Это, я вам скажу, персонаж: из 16-го века. До сих пор сьоей беленькой ручкой бьет горничных. Одну из них мы подговаривали подать в суд. Как ни плохо сейчас, но бить-то человечину нельзя.

Я, смеясь, заметила, что Лика только что дала пощечину моему Коле.

— Ну, это она, любя... А вы, детка, Колю-то нежно не воспитывайте: битвы ему предстоят большие...

Какие битвы, я уже не спросила: Елизавета Андреевна звала нас в сад. Сад был полон кустами малины, крыжовника, смородины. Кусты сплелись, тенёта, никто, очевидно, не заботится о них. Тут уже не мухи, а тучи несносных маленьких мошек — саратовское наказание. Почему-то в Губаревке их не было. Марковский объяснил, что это — от близости скотного двора. А когда позже, близко познакомившись с этой семьей, я привезла им липкой бумаги, чтобы хоть немного уничтожить мух, Святослав Адамович снял ее со стены:

— У нас этого, к сожалению, нельзя: Лики-Дики уже начали отдирать прилипших мух и лизать бумагу. Отравятся ведь... Нам нужно жить по простоте, эти деликатессы не для нас. И потом, знаете. пусть ко всему привыкают...

Этой философии, которую в те времена часто слышала от людей как-будто культурных, никогда не могла понять: почему надо привыкать к грязи, к мухам и мошкам, если можно всё это уничтожить? А потом, при столкновении с толстовцами, я поняла что «жизнь по простоте» является одним из существенных элементов мировоззрения не только толстовства: радикальная интеллигенция 80-х гг., очевидно, за неимением боевых политических лозунгов, много времени посвящала проповеди узко-личной морали, осуждению роскоши и щеголяла «опрощением», доходившим часто до нарушения элементарных законов гигиены. Уже позже, когда я вспоминала этот период, мне казалось, что «опрощение» коснулось в эти годы не только условий бытовой жизни, но и мышления интеллигенции: надо не мудрствовать лукаво, а найти в самой русской жизни такие основы, устои, на которые можно было бы опереться и развивать их дальше, не перенимая европейских образцов, выросших совсем на другой почве. Даже такой образованный публицист, как Н. К. Михайловский, всё время сбивался на этот путь какого-то особого «крестьянского социализма», без стадии капитализма западно-европейского типа.

III

Я и сестра моя стали всё чаще и чаще «бегать» по вечерам в этот мушиный дом Марковских. Иногда возвращались уже на заре, так было всё интересно. По вечерам собиралось у них большое общество: вся вязовская интеллигенция и много каких-то молодых людей, — студентов и курсисток, приехавших из Саратова. Вечера проводили в саду, чтобы не будить детей криком и шумом песен и споров. Вечера начинались чаепитием вокруг этого пузатого самовара. Подавался варенец в огромных глиняных горшках и к нему — чудесный черный хлеб. По этому ржаному хлебу тоскуют русские люди, десятками лет живущие за границей. За этим чаем-ужином приезжие сообщали саратовские и столичные новости, сообщали о вышедших новых книгах, а иногда тут же читалась очередная журнальная статья. И сразу же — спор. В эти годы старое народничество 70-х гг. — хождение в народ для активной пропаганды политических и социалистических идей — потухло. Опыт показал, что крестьяне не только не реагируют на эти призывы, но иногда и доносят «по начальству» и показывают брошюры, которые получают от «городских гостей». Главной темой бесед 80-х гг. было

взаимоотношение народа и интеллигенции. Писатель Каблиц (Юзов) писал в «Неделе» довольно резкие статьи против «соли земли», интеллигенции, и указывал, что «формулу» надо перевернуть: не народу надо учиться у интеллигенции, ничего в народной жизни не понимающей, но, наоборот, самой этой интеллигенции надо учиться у народа. У народа есть «быт», есть вера, есть община, есть исконное занятие — земля, которую он любит и с которой он никогда не расстанется. Интеллигенция путает его прямую дорогу, хочет привить ему чуждое его душе мировоззрение. С Каблицом-Юзовым ругались все народники иного типа, но вот этот мотив его, что «надо учиться у народа», встречал сочувствие. Другой теоретик, В. В. (Василий Павлович Воронцов), тоже доказывал, что у России «свои пути», что нечего ей заглядывать на Запад, когда «крестьянское море» с его общиной даст почти готовую форму для социализма. В 90-х гг. В. Воронцов сделался едва ли не главной мишенью для нападок со стороны марксистов. Но в 80-х гг. — особенно в провинции — еще никаких марксистов не было, и В. Воронцов был одним из идеологов народничества. С призывами «сесть на землю» и «влиять на крестьянство» привитием ему данных точной науки о земледелии талантливо выступал в эти годы А. Н. Энгельгардт, ученый агроном и сельский хозяин. Он писал в «Отечественных Записках» свои записки «Из деревни». Его приглашение «садиться на землю» было одним из звеньев идеологии «служения народу». И его имение (Батишево Смоленской губ.) сделалось Меккой для людей, желающих служить народу этим путем. Как ученый он проповедывал там и пользу «удобрений», и изменение севооборота, и как ввести технические культуры, и т. д. Его книга «Сборник общепонятных статей по естествознанию» была в каждом сельском хозяйстве. Однако, именно эти его советы не прививались у новичков, сающихся на землю. У Марковских было устарелое трехполье, — как и у крестьян. Мудрил Святослав Адамович и с удобрением и с скотоводством, но как-то выходило так — по Щедрину: куры неслись плохо, коровы хирели и «буйных» урожаев не было и в помине... Эти «Монрепо» так и не поднялись до производительности культурного хозяйства, и впоследствии часто кающийся в своих «заблуждениях» П. Б. Струве сердито говорил:

— Лучше бы поучились у Энгельгардта сажать и выводить капусту, чем мутить крестьян...

Но в те времена мутить крестьян было почти невозможно: они не реагировали ни на какие «соблазны»³. Но для интеллигенции эти три фигуры, Каблиц, В. Воронцов и Энгельгардт были тогда единственными открытыми проповедниками путей «настоящего служения народу». К ним прибавлялась еще проповедь Н. К. Михайловского и Салтыкова-Щедрина. Но эти писатели даже до верхних слоев «народа» почти не доходили: слишком трудной была трактовка ими вопросов. Как-то раз Святослав Адамович читал вслух статью Щедрина, эзоповский язык которой требовал особого понимания. Сидевший в публике учитель земской вязовской школы (семинарист), Иван Кириллович, вдруг обратился к Марковскому с просьбой:

— О чем это они пишут, г. Щедринский, не поясните ли?

— Иван Кириллович, друг, не Щедринский, а Щедрин...

³ Как изменилось это положение к 1900 г., показывает замечательная записка А. А. Лопухина «О развитии революционного движения в России», написанная для Департамента полиции 6 декабря 1904 г. Читатель не посетует на меня за выдержки из нее, так она интересна для сравнения с 80 гг. В эти годы ни я, ни другие саратовцы не наблюдали ни одного нападения на помещичьи усадьбы; не было и волнений крестьян. Не читались в сколько-нибудь заметном количестве и прокламации. Да их редко кто и писал. Было подлинное затишье.

А вот что пишет Лопухин: «В качестве прокурора Харьковской Судебной Палаты мне выпало на долю наблюдать почти воочию небывалое до сих пор в жизни русского народа явление: в марте 1902 г. крестьяне нескольких страдающих в течение пяти лет от недородов и голодовок деревень Константиноградского уезда Полтавской губ. встали как один человек и пошли грабить соседние помещичьи усадьбы... Движение быстро перенеслось в соседние уезды — Полтавский и Валковский. Везде толпы крестьян, собравшиеся десятками и сотнями, двигались пешком и на подводах из усадьбы в усадьбу, грабя и увозя с собой всё, что попадалось под руку. Распространяясь вширь, движение росло и в своем ожесточении. Сначала крестьяне являлись в экономии и требовали хлеба, картофеля и корма для скота, говоря: «не дадите — всё равно возьмем», затем стали брать всё, что хотели... Решительные действия харьковского губернатора, князя Оболенского, остановили движение, но для всех было ясно, что в следующей стадии беспорядков ни один

— Ну, это всё равно-с, имя-то. А вот как будто бы затмнено у них, — прошу прощения; ничего не понял!

Не помню, какая это была статья. Но когда стали издавать в Советской России Салтыкова-Щедрина, мне говорили, что его мало читают: не понимают, о чем идет речь.

В доме Марковских я познакомилась с земским врачом Алексеем Васильевичем Амстердамским. Он стал посещать нас в Губаревке, лечил моего мужа и — конечно — предавался обычным интеллигентским разговорам. Но — каким! Мы прозвали его «скептиком». Большая странность. Он резко отрицательно относился к революционным кругам и говорил,

грабеж не обошелся бы без поджога и озверевший народ стал бы резать помещиков... В этих беспорядках сказались: обнищание крестьянства, сословная его приниженность, созданная долгими годами бесправия, отсутствие сознания о законе и праве, и тупая жестокость нравов. Голодные, не евшие в течение нескольких лет хлеба без примеси соломы или древесной коры, давно уже не знавшие мясной пищи, мужики шли грабить чужое добро с сознанием своей правоты, основанным на безысходности положения и на том, что им помощи ждать не от кого... Одним из самых характерных явлений при этих беспорядках была революционная пропаганда. С 80-х гг. прошлого столетия она была неизвестна нашей деревне. С конца ноября или начала декабря 1901 г. она, почуяв благоприятную почву, появилась в уездах Полтавской губ. и с удивительной быстротой возымела свое действие. Быстрота эта объясняется, помимо благоприятных местных условий, замечательно умелым подбором книжек, распространявшихся среди крестьян... Когда по окончании беспорядков жандармские офицеры выехали на место производить дознание, то в течение первых трех дней они отобрали 120 революционных брошюр, своим растрепанным и запачканным видом красноречиво свидетельствовавших о количестве мужицких рук, через которые они прошли... За это время во многих уездах Саратовской, Тамбовской, Пензенской, Херсонской и Киевской губ. происходили систематические поджоги крестьянами помещичьих усадеб. В Саратовской губ. крестьяне в течение одного лета 16 раз поджигали усадьбу помещика Ермолаева. Противоправительственная пропаганда, не имевшая еще недавно никакого успеха в крестьянской среде, теперь местами начинает властно руководить ею». («Былое», № 9-10, 1909 г.).

Всё это пишет не «преступный интеллигент», а бюрократ выско́й марки .

что «когда-нибудь они взорвут Россию и себя самих». И в то же время он исключительно вращался в этих кругах. (Таких скептиков в те времена в России было много). А когда я его спросила, почему же он считается «своим» в кружке Марковских, он ответил:

— Укажите другие кружки... Какие? В помещичьих кругах — отвратительно. Это большею частью крепостники, антисемиты, с большим гонором, с презрением ко всем, кто не записан в шестую книгу дворянских родов. Пустота, карты, разврат... И странно, когда от них отпадает «дворянин», человек с совестью и с общественной жилкой, он попадает каким-то образом в те же революционные круги, где верчусь и я. Ничего среднего в России нет. Это — ее несчастье.

С А. В. Амстердамским мы не только сошлись очень скоро, но и полюбили его, как родного. Страстный поклонник земства, он был в то же время и поклонником историка-этнографа Кавелина. Через Амстердамского я познакомилась и с его произведениями. Как и В. Воронцов, и Энгельгардт, Кавелин был народником. Отрицал «конституцию» («мы до нее не доросли!»), но поклонялся земству и писал, что это — наша «подготовительная школа к конституции». Верил в «миссию великороссийской расы». Писал о «быте народа и его нравах». Называл народ русский «праведником» и предлагал «у него учиться». Ценя работы Кавелина, д-р Амстердамский резко критиковал эту любимую формулу 80-х гг.

— Помилуйте! — говорил он, — чему же учиться у этого дикаря? Приходите ко мне в амбулаторию... Трудно даже лечить его. Недавно прописал плевритику мушку на бок. Объяснил раз пять, как надо поставить и — когда нарвет — позвать меня. Но вскоре же за мной прислали телегу. Вместо того, чтобы прилепить ее на бок, он намазал ее на хлеб и съел. Ну, разумеется, страшная рвота, боли... Едва отходил. А земство не имеет средств в таком районе как Вязовка создать больницу. Дети мрут от дифтерита и кровавого поноса, как мухи. А роженицы... Что я могу поделаться с амбулаторией? Езжу к помещикам, членам земства, — отворачиваются: «кто же даст вам, доктор, средств на больницу? Вы что же, откуда? Не знаете, что вшивому крестьянину лучше всего лежать на печке?»

Он бледнел, когда говорил об этих — тоже диких репликах. И я поняла, почему он ютится около радикальных кругов, стараясь привить им здравые понятия о России. Всё

свое малое свободное время он отдавал изучению крестьянства, его экономического и культурного состояния. Дружба наша сделалась крепкой, постоянной. И когда появилось настоящее земское движение с князьями Долгоруким и Шаховским, Петрункевичем и др., радости его не было конца.

— Наконец-то проснулись в России настоящие политики! Теперь дело пойдет...

Дело действительно пошло... слишком даже далеко. Когда мы уезжали в 1922 г. за границу, высланные советским правительством, он был врачом в Крыму вместе с доктором Изергиным, женихом моей сестры. Она умерла, заразившись во время страшной эпидемии дифтерита в Балашевском уезде Саратовской губ. (в 1895 г.). Там же Изергин был земским врачом, и она умерла на его руках. Не знаю, живы ли еще Амстердамский и Изергин. Заграницей я вначале получала о них вести, а потом всё прекратилось. Любил Амстердамский и мою сестру, которую называл «старушкой от Иверской», и ценил ее любовь к людям и готовность посвятить себя «служению им не словами, а делом». Чудный человек, много ли таких на свете? Большевизм он принял, как «законное наказание России» за отсталость, косность народа и витание в небесах интеллигенции. Сам он продолжал работать без усталости, стараясь побороть разруху первых лет революции. «Узкий культурник», говорили о нем радикалы.

Обозревая Вязовку, я наткнулась на поселок секты молокан, расположившийся на берегу речушки Вязовки. Познакомилась с ними сначала на почве покупки чудной малины и клубники, а потом — опять-таки в кружке Марковских, куда приходили молодые сектанты и яростно спорили с радикалами. Но как они жили! Это был какой-то оазис среди грязного русского крестьянства. Ладные избы. Чудесные огороды и сады по склону речушки, где были грядки роскошной, душистой саратовской клубники. Ее, другие ягоды и овощи — они возили на огромных плоских телегах в Саратов, — по ночам. Днями жара «ела» эти деликатесы. В Саратове продукты молокан брались нарасхват. Чудесные огурцы и липовый мед к ним (в Саратове огурцы тогда ели ложкой, поливая медом). Всюду и в избах, и в огородах — чистота, порядок. Нет даже злых мошек и мух. А когда мошки всё же достигали их, они надевали на голову кисею, смоченную гвоздичным маслом. Запах его отгонял этих отвратительных насекомых и — опять

чистота. Разве не чудеса? Тут же рядом тоже русские люди, но какой разной культуры! Не удалось мне только побывать на их молениях: это было запрещено их «светскими попами». Церковную иерархию православия они отрицали. О священниках говорили: «Как может он отпускать грехи, когда сам грешен», «Мы с Богом без этих посредников». Посты не соблюдали, пили молоко, за что и были прозваны молоканами. Их учение было родственно духоборам. Но в чем было различие, я плохо знала, — никогда изучением сект не занималась. Царя они не признавали, воинской повинности также, хотя налоги платили акуратно. Как-то не помню гонений на них, хотя хорошо помню вмешательство Л. Н. Толстого против гонения духоборов. Никакой пропаганды своего учения молокане не вели. Часто говорили, что внушить русскому крестьянину понятие о Боге — невозможно: он крестится, принимает причастие, а живет как свинья, часто пропадая в кабаках. В свою очередь крестьяне называли их «басурманами», и никакой дружбы между этими двумя Вязовками не было. Как они вели себя во время Октябрьской революции, не знаю. Но хорошо знаю, что они в бунтах крестьян не участвовали, и что потом большевики преследовали их за отказ от воинской повинности. Знаю даже случай расстрела за эти идеи. Но воспоминание о вязовских молоканах — самое теплое: народ, искавший активно, чем «душу спасти». И спасал особым распорядком жизни и работы.

IV

Кроме чтений, бесед, всякого рода встреч, у Марковских были и развлечения. Ни кино, ни граммофонов тогда не было. Если молодежь хотела танцевать — гармошка. Карты — не признавались. Чем же развлечься? Песнями. Иногда пели по целым вечерам. Песни только «революционные». Начиналось обыкновенно со Стеньки Разина, — «Есть на Волге утес». Потом переходили к современным. А современным был, прежде всего, Некрасов:

В полном разгаре страда деревенская...
Доля ты русская, долюшка женская!
Вряд ли труднее сыскать.
Не мудрено, что ты вянешь до времени,
Всё выносящего русского племени
Многострадальная мать!

Или — самое любимое:

Назови мне такую обитель
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал!

.....
Волга! Волга! Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнена наша земля...

Пели громко, с чувством... Иногда Святослав Адамович декламировал. Но всё на те же темы. Ходит по деревням странничек и всё спрашивает:

Я в деревню: мужик! ты тепло ли живешь?
Холодно, странничек, холодно!
Я в другую: мужик! Хорошо ли ешь, пьешь?
Голодно, странничек, голодно!
Уж я в третью: мужик! что ты бабу-то бьешь?
С холоду, странничек, с холоду!
Я в четверту: мужик! что в кабаке ты идешь?
С голоду, странничек, с голоду!

Удивительно! Тогда всё это трогало, волновало! Если б теперь кто-нибудь с эстрады... Вот всё это, однотонное, тяжкое... Мужик, мужик... Вероятно, не стали бы слушать? А тогда в столицах на студенческих вечерах подвизались такие знаменитые актрисы, как Ермолова, и с превеликим пафосом декламировали:

Идет-гудет зеленый шум,
Зеленый шум, весенний шум!

Слушатели бешено аплодировали... Шутка ли: весенний шум! В тишине российской... Салтыков-Щедрин писал тогда, что нигилиста 70-х гг. в 80-х заменил «сочувствователь». Сочувствующие росли в числе. И уже опять разгорались. В 1886 году на могиле Добролюбова снова была назначена «революционная панихида», только градоначальник Грессер не допустил ее, прислав огромный наряд вооруженной полиции. Всё это доходило и до саратовских Вязовок и вызывало отклик:

— Мы так и думали: *начинается*... Не может не начаться!.. Из какого воздуха бралось это «начинается» в затишье 80-х гг.? В тишине Россия была полна шорохами... Крепост-

ное право отменено. Но надо идти дальше. Ведь некрасовская поэзия выбирала темы жгучие:

Голодно, странничек, голодно...
Холодно, странничек, холодно.

Физически — многострадальному «мужику», и духовно — вот этой интеллигенции, для которой часто государство сливалось с цензурным ведомством, нужна была перемена воздуха... Даже ведь либеральные бюрократы понимали, что что-то неладно в их холодных ведомствах. Но в то же время ненавидели «оживающих» либералов, земцев, а тем более — вот этих социалистов...

V

Придя однажды к Марковским, я застала у них новую пару: Сергея Андреевича Малышева и его жену, урожденную Ивановскую, — одну из трех сестер-революционерок. Одна сестра, Авдотья, была замужем за В. Г. Короленко. Другая, — Прасковья Семеновна, — была членом Исполнительного Комитета «Народной Воли» в героический период его работы. В 1882 году судилась по процессу 17. Была присуждена к смертной казни, которую заменили каторжными работами в Забайкалье и на Каре. На Каре в 1888 г. разыгралась страшная трагедия с массовым самоотравлением заключенных. Третья сестра — за Малышевым (забыла, как ее звали). Малышевы только что вернулись из далекой ссылки и ждали устройства своей «усадьбы», которой заведывал его брат, Борис. Оба — мелкие помещики, народники. Борис как-то уцелел, а Сергей был сослан вместе с женой, Ивановской. Для Марковских это были «иконы», и за ними все ухаживали. Сергей Андреевич был очень красивый человек, охотно рассказывал о своей жизни в ссылке. Но жена... Это была какая-то неприступная, желчная, постоянно раздраженная женщина, особенно «проклинаяшая» заснувших рыб современности, не умеющих бороться «как раньше», а только показывающих «кукиш в кармане». А когда более смелые из нас, молодых, спрашивали ее, а как же нужно бороться, она только презрительно махала рукой и бормотала сквозь зубы:

— Этому не учат... У кого в душе пустота, тот никогда не найдет дороги к борьбе...

Мы от нее отлетали и дали ей прозвище: «мировая скорбь». Получила она это прозвище за то, что зло критиковала современную молодежь:

— Нет у нее в душе огня, — плесень... Они не знают, сколько в мире зла и что во главе этого зла идет российское самодержавие... Она, молодежь, даже... даже веселится, не смотря на народную скорбь!..

Молодежь ведь тоже бывает зла. Мы ее просто возненавидели и говорили, что она и крошку ест с «мировой скорбью», и мужа мучит своими «переживаниями». По вечерам, вот среди этих песен, мы иногда разжигали костер и прыгали через него. Надо было так прыгнуть, чтобы не загорелось платье. Увлекалась иногда и толстая Елизавета Андреевна в своей обычной ситцевой блузе. Один раз блуза загорелась при всеобщем восторге! Все хохотали и бросились тушить. Только Малышева закрыла глаза и потом бурчала:

— Шабаш какой-то! Где прежняя идейность? Пойдем... Сергей!

И удалялась, возмущенная. Таких мрачных «идейных» фигур в эти годы не любили. Делать им было совершенно нечего. Они всё вспоминали «героическое» народовольчество, и «мелкие дела» наводили на них тоску. Хорошо помню эту же черту у В. Н. Фигнер, когда она вышла из Шлиссельбурга. Но она была умна, активно боролась с этой своей психологией ненависти к «плетению плетешков», как она говорила. Но вначале одобрила «грандиозный» опыт большевизма, хотя и понимала хорошо всю дикость его методов насилия.

У Марковских же мы встретили народника-писателя, Николая Елпидифоровича Каронина (Петропавловского). На вид это был просто скелет какой-то. У него была давняя чахотка, медленно развивавшаяся. Его произведения мы читали раньше чем с ним познакомились. Он жил в Саратове с женой и ее дочерью Сашей (просто изумительной красавицей). В Вязовку приезжал летом «подышать воздухом». Марковские давали ему какую-то летнюю избушку в саду и ничего с него не брали: бедность его была потрясающая. Народ он любил как-то особенно: «без иллюзий». Он понимал всю его дикость и нищету, ненавидел правительство, «которое держит свою рабочую силу на уровне скота», и призывал интеллигенцию к «борьбе за свободу народа», опять-таки «без иллюзий». Мы часто с доктором Амстердамским, который его глубоко любил, сидели с ним в садике и слушали его рассказы. Раньше «путался» во все политические дела, сидел в тюрьмах и потом

в ссылке в Тобольской губернии. Пришел затем к выводу, что «теперь» политической борьбы нет, нужно еще ждать «накопления сил». Вспоминая теперь эту прекрасную русскую фигуру, вспоминаю и то, как волновало каждое свидание с ним. Поражал своей прямоотой и меткими суждениями об окружающем нас «сонном царстве». Иногда раздражался — кашлял и задыхаясь — от толстовской проповеди, считал всё это «затемнение души великого писателя» капризом «избалованного жизнью помещика» и особенно резко нападал на Толстого за его отрицание науки:

— Помилуйте, что за чушь! Ну, ходи в рубашке и в мужицких сапогах, у каждого своя фантазия, — опрощайся! Но как же отрицать то, что русскому Иванушке важнее хлеба? У нас все неучи, не знают жизни, говорят «с чужих слов» и в книгу смотреть не любят. Это — его преступление, многих он отвратил от любви к знанию...

И кашлял, кашлял зловеще.

Когда в Саратове этой же зимой мы столкнулись с толстовцами, он описал одного из них в своем рассказе «Учитель жизни». А толстовцы в это время плодились, призывали «соединяться в колонии», — которые, однако, проваливались. Встречи с толстовцами опишу ниже. Сейчас хочется лишь сказать, какое сильное впечатление производил Каронин своей какой-то особой «чистотой души», правдивостью и полным отсутствием рисовки. Надо всё-таки признать, что рисовка одна из черт и маленьких, и больших политических деятелей. Всё как-то не просто, — сказать речь, чтобы она «подействовала», утаить факт, неблагоприятный для «мировоззрения», иногда даже солгать «ради достижения цели», все эти черты давно укоренились — к сожалению — и в нашем освободительном движении. У Каронина все эти черты полностью отсутствовали: бичевал то, что было вредно «для души человека», и выдвигал «задачи-обязательства», от которых никто не должен был бы отказываться. Он умер в 1892 г., так и не дождавшись «подъема волны», которую всё время предсказывал. В те годы, когда мы с ним встречались, он совершенно откровенно говорил, что решительно не знает какие силы «потрясут трон». Но что он «будет потрясен», — это он «знал» каким-то особым своим чутьем. До сих пор душе моей памятен этот чистый, скорбный образ.

VI

В своей Губаревке у нас с сестрой было много дела. Уход за больным Иваном Петровичем, за ребенком, потом чтение. На речушке стоял старый дуб, весь изогнутый так, что толстый ствол его, лежащий как-то поперек реки, образовывал стол. От невыносимой жары мы завертывали голову мокрым полотенцем, клали статью Михайловского на этот стол, а сами влезали в воду. Откуда-то в ней шла холодная струя, — это освежало и мы читали, читали и — наслаждались! Именно Михайловский тогда захватывал, возбуждал такие вопросы и писал таким чудесным, убедительным языком, что после этого чтения как-то чувствовалось более уверенности в вопросе «что делать» и «каков смысл этой жизни». А напротив стояла усадьба вот этой Анны Петровны И., с которой мы уже успели познакомиться на мельнице. Она нас приглашала в свою усадьбу, но нам туда идти не хотелось, да и костюмов подходящих у нас не было: сама она одевалась очень нарядно и нас оглядывала неодобрительным взглядом. Сидим однажды с сестрой и читаем. В саду ее косят траву мужики. Вдруг с балкона спускается она. На ней нет никакой одежды, только накинутый на плечи купальный халат. Идет по дорожке мимо косцов — к купальне. Мы с сестрой просто в смятении, кричим:

— Анна Петровна! Тут люди, люди!

Она залахнула халатик и стала искать «людей».

— Что вы кричите? Где люди?

— Ах, как вы меня напугали. Я думала — гости... А ведь это — мужики, какие же это люди...

— Анна Петровна, — косцы же!

Этот эпизод ясно встал в моей памяти через много, много лет, уже в эмиграции, в Праге. В Прагу приехал известный славист, норвежский профессор, Олаф Иванович Брок. Он приехал для работы в Пражском Славянском Институте, где мы с С. Н. Прокоповичем состояли членами, и мы с ним познакомились. Он стал бывать у нас. Меня поразило его чистый русский язык почти без иностранного акцента.

— Олаф Иванович! Где вы так хорошо изучили язык?

Он засмеялся и стал рассказывать.

— Я много лет прожил в одной помещичьей усадьбе, — в Губаревке Саратовской губернии.

Я даже вскочила от неожиданности...

— Вы жили в Губаревке? В какие годы и у кого?

— Я был учителем-гувернером в усадьбе Анны Петровны. И... Там изучал язык и русское крестьянское хозяйство. Почему вы так разволновались?

Я рассказала. В свою очередь и он стал рассказывать. Человек культурный, европеец, не мог рассказывать без смеха...

— В этой усадьбе я изучил русские нравы. Каждое утро просыпался от шума и грохота. Это — Анна Петровна учила горничных. Она хлестала их по щекам, иногда лежа в постели «за кофеем» бросала в них башмаки и разные предметы. Те переносили всё это молча, а в кухне ревели. Я понял, что крепостное право еще не отменено. Пыталась она теми же методами воспитывать своих детей, но я ей пригрозил, что уйду, и она остерегалась. Спрашивал ее, почему она зовет их Гашками и Пашками, — разве у них нет полных имен? Но она неизменно отвечала: «Молодой человек! Разве у вас интрижка с этой Пашкой? Не советую: дрянь первостепенная, просто животное!» Скоро понял, что устыдить ее нельзя, и только старался огородить от этих сцен детей...

Помнил он и речушку, и крестьян. Искал кого-нибудь из русских, чтобы говорить по-русски, но Анна Петровна уверяла его, что тут никого нет кроме «нигилистов». Потом Олаф Иванович ездил несколько раз в Россию (уже при большевизме) и много интересного нам рассказывал. А переходя к анализу большевизма, он говорил:

— Не странно ли? Но в моем мозгу есть какая-то связь между Анной Петровной с ее Гашками и большевизмом...

Норвежец прав: связь несомненно есть.

VII

Из губаревских впечатлений следует отметить и еще одно «происшествие». Моя сестра, «старушка из Иверской», не умела подходить к несчастным людям, не оказывая им активной помощи. Присмотревшись к губаревским обитателям, она прежде всего обратила внимание на маленьких детей. Почему они так много спят? Часто матери уходили на «страду» в поле, а дети в люльках спали непробудным сном. Разговорилась с бабами. А те:

— Ну, как же, барышня! А что мне с ним делать коли орет? Суну ему соску и спит...

— Какую соску?

— А из мака черного... Мак даем...

Сестра стала объяснять, что мак — снотворное. Если часто давать, мозг перестанет действовать, глупым будет...

— А сами-то мы кто же? Вестимо глупые... А мак он, почитай, весь день и всю ночь сосет... ну, и спокой. А то мужики ругаются: спокойя нет от них.

Сестра предложила план. Она приучит детей к другим соскам, пусть бабы приносят их к нам, когда уходят в поле. Пять-шесть баб согласились. Закипела работа. У молокан в Вязовке сестра купила корзинки. Из Саратова ей привезли гутаперчевые соски, — из старого белья наготовила пеленок, — ясли! А когда бабы принесли ребят, мы просто ужаснулись... Грязь, на некоторых тельцах — экзема. Соска — жеванный мак в грязнущей тряпке... К стыду своему, я испугалась за Колю. Такой он светлый, чистенький... А эти несчастные! Заразят еще. Нянька и совсем возмутилась: можно ли «господского дитю» рядом с этим отрепьем... Но сестра энергичными движениями меняла облик этих крошек. Купала их, чем-то мазала экзему, едва отмыла слипшиеся волосенки. И всё это при неистовом крике ребят, лишившихся маковых сосок. Долго не могли взять в рот резиновую соску, орали неистово... Пришли вечером матери и такими милыми глазами смотрели на сестру:

— Ишь-ты! Мой Васька-то ровно барченок стал... Беленький! Спасибо тебе, сестрица... Ишь-ты...

Потом мы узнали, что ночью матери опять совали им грязную маковую соску, чтобы «дрыхли»: не дают спать им... И вообще эта идиллия скоро кончилась. Один из ребят заболел корью, и д-р Амстердамский велел эти «ясли» уничтожить: заразят! Мужики качали головами:

— Вот господа... Нечего им делать, забавляются с нашими котятами. Лучше бы замуж выдали эту барышню: со своим-то способнее...

Зато «барышня» совсем затуманилась: как помочь этой деревне, с первых дней рождения отравленной маком, а потом водкой?

Н. К. Михайловский на эти практические вопросы не отвечал. Его рассуждения о «прогроссе», гуманизме, о прирожденном социализме мужика, уже имеющего в своих руках орудия земледелия, так далеки были от «маковой» действительности Губаревок...

VIII

Заметным явлением эпохи 80-х гг. было толстовство. Оно было в двух совершенно различных образах. Сам Толстой, — гений, мыслитель, — неясный сам для себя... Скорее искатель правды, чем мыслитель. Но и он смущал людей своими противоречиями. Н. К. Михайловский написал о нем замечательную аналитическую статью «Десница и шуйца Льва Толстого». Но ученики его... Когда мы поздней осенью (1878 г.) вернулись в Саратов, — это был «сезон толстовцев». Их наехало в провинцию довольно много, но что за экземпляры! На одном собрании должен был выступать Клопский. Говорил страшную чепуху о вреде науки, об уничтожении денег и, конечно, о «самоусовершенствовании». Один из слушателей спросил его:

— Г. Клопский, вы — из Москвы. Как же вы приехали сюда! Заплатив за билет?

Оратор гордо ответил:

— Нет, брат, я за деньги никогда не езжу... Просто сажусь в вагон и еду. На первой станции меня снимают. Составляют протокол. Я сажусь в следующий поезд и еду дальше... На всех станциях снимают и опять — протокол.

— Но ведь так долго ехать! И потом нужны же были деньги правительству для постройки дорог?

— Это меня не касается... Когда будет устроено достаточно коммун, живущих своим трудом, на своей земле и в братстве душ, никаких денег не будет нужно...

Публика хохочет, а он продолжает эту свою ахинею. В антракте вдруг кто-то крепко сжал мое плечо. Оглянулась — Клопский.

— Сестра! сегодня твоя очередь приютить и накормить меня... Я в гостиницах не останавливаюсь... Мне сказали, что у тебя несколько комнат, и я могу у тебя пожить для своей миссии.

Как я не отговаривалась болезнью мужа, — ничто не помогло: повинность! Как только пришел, началась проповедь: я — безнравственный субъект: у меня «нянька и кухарка», сейчас же рассчитать! Я у тебя буду служить как брат! Промучились с ним три дня, потом муж сказал: уходите! Наша повинность кончилась. Обругав нас «туняедцами», всё же ушел.

Этот человек с протоколами объехал много городов, везде читал свои проповеди и «по очереди» жил у «сочув-

ствующих». Под именем «учителя жизни» этого Клопского описал Каронин. Стоит прочесть и теперь, — знамение эпохи. Были толстовцы и другого типа. Помню чету Черепановых. Оба красивые, молодые, верующие... Он был блестящим офицером, она — смолянка. Увлечлись толстовством и решили организовать коммуну. Он вышел в отставку и выбрал Саратовскую губернию — для «оседания». А пока он должен был изучить плотничное и столярное ремесло, она — шитье. Отрицали всё: прислугу, деньги и, разумеется, военную службу, газеты, политику... Он поступил к столяру, она — часто плакала: ее тоненькие пальчики не выносили шитья... В конце концов «сели на землю», образовали коммуну. Через год она распалась и они, разбитые душою, уехали обратно в Петербург. Не знаю, долго ли они еще оставались толстовцами. Таких в те времена было не мало: какой-то микроб русской жизни выкидывал людей из их привычного уклада, заставлял болезненно искать «смысла жизни»... Однако, та же самая черта, выкидывая на арену жизни людей типа Клопского и вот таких Черепановых, создавала и «героев малых дел» необычайно ценных. Мне в этот год пришлось ознакомиться и с Балашевским, и с Петровским уездами Саратовской губ. Встретила не мало таких усадеб, какой была усадьба Марковских. В Петровском уезде — брат вот этого Малышева, Борис Андреевич Малышев, «кающийся дворянин» на 200-250 десятинах. Кругом — мордва, плохо говорящая по-русски. Темь страшная, бабы умели считать только до 10, — сколько пальцев!⁴ Но сама семья Малышевых казалась удовлетворенной своим «опрошением». Делали всё сами, — опять с теми же результатами: куры неслись плохо, коровы не давали молока, а трехполье истощало чудесный чернозем... Молодые не унывали: читали те же книги, что и Марковские, пели те же заунывные русские песни и пропагандировали только учителя: мордва их не понимала. Учитель был человек удивительный. Когда я зашла в его избу, — бросилась в глаза полка с книгами. Там Смайлс («О самодеятельности», «Герои труда», «Характер»), тогда очень читаемый, Спенсер, Писарев, Молешот и др. Часть книг была разрезана наполовину, на четверть...

— Что же не нравится? Почему не дочитали?

⁴ Большевики перевели на мордовский язык Маркса. К сожалению, этих знатоков его учения мне не пришлось встретить.

— Нет-с, совсем не так! — обидчиво произнес он. — Я, знаете ли, читаю только то, что понимаю. Как только дохожу до мест мне непонятных, бросаю. Возвращаюсь к книге через год, иногда два. И вообразите: чувствую, как самодеятельность мозга выросла: всё понимаю! Чужих объяснений не люблю-с... Мозг должен сам расти, как и тело... Вот и Г. Смайлс об этом говорит... Чудесная книга!

В Балашевском уезде был самым уважаемым культурником д-р Владимир Дмитриевич Ченькаев. Своей энергией он заставил земство поставить больницу в селе Турках. Работал в ней с фельдшерницей — буквально как вол. Читал лекции по гигиене — бабам. Принимал только «чистых», велел мыться раньше, чем придут на прием. А дома — вел пропаганду. Крестьяне его буквально обожали и слушались во всем: «наш Владимир Дмитриевич». Революционную борьбу он отрицал: в России надо сначала поднять народ культурно. Авторитет его был так велик, что его боялось местное начальство. Пропаганда его заключалась в том, что он указывал, как живут крестьяне и рабочие в Западной Европе. «Всё это надо перенести и к нам». Один раз, придя домой совершенно усталый, он застал крестьянина, приехавшего за советом.

— Послушай, Кириллыч, дай мне отдохнуть! На тебе новую книгу, читай. Проснись, поговорим.

Крестьянин сел на скамеечку около кровати и стал читать... Беллами, «Через 200 лет». Прочитал, не отрываясь, всю ночь. А когда Владимир Дмитриевич проснулся, тот был просто в раже:

— Владимир Дмитриевич, друг! Скажи: неужели всё это может быть на яву? И деревня тоже будет слушать музыку и разные там представления по трубам электрическим? А то ведь мы — неучи, обиженные Богом...

— Всё это будет, Кириллыч, надо только самим работать и всю нечистоту российскую уничтожить...

После речи Николая II о бессмысленных мечтаниях (в 1894 г.) я видела Владимира Дмитриевича в Москве. Он был в Петербурге депутатом от Балашевского земства. Меня поразила мрачность этого твердого, замечательного человека высокой морали и культурности:

— С самодержавием сегодня кончено, Екатерина Дмитриевна. И этот молодой царь не понял исторического момента. А я... А моя личная судьба отныне меняется. В бирюльки

«культурной работы» больше верить не могу. Надо искать другие, более решительные пути...

Он их и искал. А в 1919 г. был «по ошибке» расстрелян **большевиками** в Пасхальную ночь. «По ошибке» — объяснил мне Менжинский, когда я ему показала телеграмму из Саратова, умолявшую «Политический Красный Крест» спасти 14 человек интеллигентов, приговоренных к расстрелу. 13 спасти удалось. Ченыкаев погиб «по ошибке»...

IX

Но я отвлеклась от эпохи 80 гг. Медленно, путаясь вот в этих поисках «смысла жизни», мы приближались к 1891-2 гг., переломным и решительным. За это время у меня родился второй ребенок, Шура. А в 1889 г. скончался мой муж — в страхе и страдании за оставляемую семью, которую он страстно любил. Смысла жизни пришлось искать одной. Но к этому времени уже так оформлялись «мировоззрения», и такая масса людей появилась на арене общественной жизни, что тусклая эпоха 80 гг. с Клопскими, кающимися дворянами и проповедниками сажания капусты отходила куда-то в прошлое. Дул сильный ветер предреволюционной эпохи, предвещавший обычный «скачек России в неизвестное». Страшное бедствие 1891-2 гг. — голод 40 миллионов крестьян — как-то сразу преобразил российскую общественность. «Нытики» куда-то исчезли. Уже в первой половине 90-х гг. начался бой народников и марксистов. Бой — тем более захватывающий, что он был связан с начавшимся движением «масс»: рабочих и крестьянских. В России сменилось не только царствование, но и вся психология ее надполья и подполья...

Ек. Кускова

НА ПЕТЕРБУРГСКОЙ ОКРАИНЕ*

Памяти Александры Васильевны Пешехоновой

Бывают в жизни минуты, как будто совершенно незначительные, но которые тем не менее, неведомо для нас самих предрешают наше будущее. Таким именно событием в моей жизни была встреча с Александрой Васильевной Пешехоновой.

Случилось это, когда мне было 19 лет, а ей 39. В комнату вошла очень маленькая, худенькая женщина, вошла спокойно, твердо. Гладко зачесанные назад и закрученные в узелок русые волосы, круглое лицо, которое в старости должно было превратиться в печеное яблочко, живой румянец на щеках и большие, серые, светящиеся изнутри и сияющие, «лучистые» глаза. При виде ее мне сразу же пришли на память две строки, написанные поэтом Боратынским кому-то в альбом:

«Бог создал пару глаз
И к ним прибавил вас».

Александра Васильевна была в то время городской учительницей на одной из окраин Петербурга и пришла она ко мне для того, чтобы убедить устроить бесплатную столовую для нуждающихся учеников начальных городских училищ ее района. Район этот находился в пределах Александро-Невской части города и лежал за Обводным Каналом, вдоль незасыпанной еще тогда зловонной речки Лиговки. На углу Обводного Канала и Лиговки, в большом доходном доме владелицы бань Кобызевой, находилась та начальная школа, в которой Александра Васильевна тогда учительствовала. Позднее она

* Эти воспоминания покойной гр. Софьи Владимировны Паниной были написаны ею еще в 1948 г. Их отпечатанный на машинке текст был передан ею редакции «Нового Журнала», но с условием, чтобы он был опубликован только после ее смерти. Заключительная часть воспоминаний («Война и революция») появится в следующей книге «Нового Журнала». Мы печатаем воспоминания С. В. с незначительными сокращениями. *Ред.*

перебралась еще немного дальше, на угол Лиговки и Расстанной, где и прожила до самой своей смерти, наступившей в 1932 году, когда ей было 80 лет от роду. Она на много лет пережила свой 25-ти летний юбилей учительствования.

Родилась она тоже на Лиговке, только в противоположном ее конце, недалеко от Невского проспекта, в том самом деревянном флигеле, в котором в сороковых годах прошлого столетия жил и умер Белинский. Флигель этот стоял в глубине громадной старинной усадьбы, сад и огород которой, даже в начале двадцатого столетия, терялись в незаселенных просторах земель, примыкавших к Николаевской железной дороге¹. Там Александра Васильевна провела свое детство и раннюю юность, живя со своими родителями (отец ее был иконописец, а мать была из купеческой семьи).

Когда я в 1891 году познакомилась с Александрой Васильевной, всё это было уже далеким прошлым, родителей ее не было в живых, из вольной усадьбы она уже давно переселилась на угол Обводного канала и я знала о ней только то, что она прекрасная преподавательница, в особенности математики, так как свое высшее математическое образование получила под руководством астронома, профессора Страннолюбского.

Школа, в которой она тогда учительствовала, принадлежала к старому типу начальных городских училищ. Это была школа-одиночка, трехлетка, в которой все три отделения и все предметы преподавания велись одной учительницей или учителем, жившими при школе. Это хорошо нам знакомый тип той земской начальной школы, которая являлась первой образовательной ступенью на всех просторах русской земли в конце прошлого и в начале нынешнего столетия.

В Петербурге, однако, уже в 1890-х годах Городская Комиссия по народному образованию, с М. М. Стасюлевичем во главе, приступила к постройке больших городских училищных домов, в которых учебной единицей являлась уже не *школа*, а *класс* — первый, второй, третий и т. д. — и в которых преподаватели распределялись по предметам. Каждый преподаватель приходил давать урок по своему предмету и

¹ Только незадолго до первой мировой войны 1914 г. все старые здания этой усадьбы были снесены и на их месте вырос громадный доходный дом А. Н. Перцова.

связь его с учащимися этим и ограничивалась. Наоборот, связь учителя-одиночки, живущего при школе, фактически никогда не прекращалась и распространялась во внеклассное время не только на детей, но и на их родителей. Родители заходили поговорить и посоветоваться, учитель принимал участие во всех культурных начинаниях района и был постоянным участником всех семейных событий. Эта роль школы проявлялась особенно ярко в деревне. Но и в городе, особенно на его полудеревенских окраинах, школа-одиночка имела широкое просветительное влияние. Вот почему вопрос о постройке больших училищных домов вызывал в свое время такие страстные споры между сторонниками той или другой системы. Александра Васильевна всегда отстаивала школу-одиночку. И это так понятно в сильном человеке с яркими убеждениями и индивидуальностью, в учительнице по призванию, неутомимой в работе, всё счастье и весь смысл жизни своей полагавшей в том культурно-просветительном влиянии, которому отдана была вся ее долгая жизнь.

Думаю, что за исключением Охты, та окраина Петербурга, на которой жила и действовала Александра Васильевна, больше всех других сохраняла еще старозаветный быт и, если не деревенские, то провинциальные нравы. Ямская улица называем своим напоминала о том, что здесь когда-то была Ямская Слобода, а в мое время, вдоль Обводного Канала и за ним, ютились бесчисленные извозчицьи двory легкого и ломового промысла, санные и дровяные склады, тракторы и т. п. Помню, как в семик, вдоль дальнего конца Лиговки, ходили разряженные девушки в руках с березками, разукрашенными пестрыми лентами, пели и водили хороводы. А на масленице, на двух берегах всё той же, еще не засыпанной Лиговки, устраивались бега извозчиков-лихачей, показывавших в этот день всей округе своих лучших рысаков и новейшие пролетки, в которых восседали дородные супруги и богатые невесты-дочери.

Другая часть народонаселения этого конца Александроневской части состояла преимущественно из ремесленников, чернорабочих и мелких торговцев, т. е. из самых бедных и темных слоев городского населения. Заводов на этой окраине было еще мало. Местной умственной аристократией были рабочие завода Сан-Галли и резиновой мануфактуры «Треугольник».

Итак, 25 октября 1891 года, мы с Александрой Васильевой открыли детскую столовую, сняв для этого небольшую квартирку в доме Кобызевой, на углу Лиговки и Обводного Канала. При столовой поселилась ее заведующая, миниатюрная Елизавета Николаевна Филиппова, со своей старушкой матерью. Дети-школьники приходили обедать в большую перемену, в 12 часов, в две смены, каждая по 25 человек. Больше комната не вмещала. Это и было тем семенем, из которого со временем вырос Лиговский Народный Дом.

На этот рост пошло двенадцать лет, в течение которых мы переменили три квартиры, постепенно увеличивая их и кочужа между Обводным Каналом и Лиговкой. Детская столовая росла и обростала всевозможными новыми отраслями деятельности. Никто из нас ни о каком народном доме тогда не помышлял, никакого плана работы у нас не было. Но окружавшая нас жизнь громко и настойчиво стучалась в наши двери и мы старались по мере сил отвечать на ее запросы и нужды, используя в максимальной степени то помещение, которое сначала предназначалось только для детей и только для их питания. Дети и продолжали владеть им до самых вечерних часов: Елизавета Николаевна ограничивалась тем, что не запирала дверей столовой после окончания обеда, и дети совершенно естественно стали возвращаться туда по окончании школы, т. е. после 2-х часов дня, потому что там было тепло, светло и уютно, потому что ласковая Елизавета Николаевна всегда заботливо рассаживала их и помогала готовить заданные уроки. Вернуться домой дети всё равно не могли, квартиры были заперты и родители на работе, они могли только оставаться на улице, в холоде, грязи и темноте ранних петербургских зимних вечеров. Именно таких брошенных детей мы и подбирали в нашу столовую, которая стала их убежищем.

Маленький народ любопытен, любознателен и предприимчив. Дети всегда первыми проникнут во всякое новое учреждение и войдут во всякую приоткрывшуюся дверь. Но они же приведут за собой и родителей, подзадорят любопытство взрослых. Стали к нам заглядывать матери и отцы, стали просить «чего-нибудь почитать», а безграмотные женщины, каковых в те годы было еще много, «чего-нибудь послушать» или «чего-нибудь поглядеть». Мы стали устраивать воскресные чтения с туманными картинами для взрослых, добавляя к ним музыкальные номера, получили разрешение на бесплат-

ную библиотеку с выдачей книг на дом, а затем и на чайную для взрослых, которая одновременно была и читальней, и в будни открывалась по вечерам, а по воскресеньям и праздникам оставалась открытой весь день.

Разрешенные каталоги таких бесплатных библиотек были в те времена очень ограничены, но так как мы начали действовать на абсолютно пустом месте — на той окраине не было тогда ни одной общедоступной публичной библиотеки — то и это был хлеб, а с годами каталоги эти мало по малу расширялись, пока наконец мы не перешли, лет пятнадцать спустя, на положение нормальной публичной библиотеки.

Еще хуже обстояло дело чтений с туманными картинками. В 90-х годах прошлого столетия в народных аудиториях с бесплатным входом разрешалось только *читать*, а отнюдь не *говорить*, причем читать дозволялось исключительно по книжкам издания высочайше утвержденной комиссии народных чтений, каталог которой был до крайности скуден: в нем значился небольшой выбор рассказов из нашей классической литературы и книжки исторического, религиозного, географического содержания, чрезвычайно бездарно составленные. Картины, выдававшиеся Комиссией напрокат, были также очень плохи. Вот с таким-то материалом в руках приходилось начинать нашу деятельность. И тем не менее, отсутствие какого бы то ни было разумного и приятного развлечения было так абсолютно в жизни окружавшего нас народонаселения, что наша комната, громко именовавшаяся «залом», была всегда битком набита слушателями по воскресным и праздничным дням.

Председателем Комиссии народных чтений в те времена был небезызвестный Всеволод Сергеевич Соловьев, старший брат нашего знаменитого философа, Владимира Соловьева, и автор популярных тогда исторических романов. Помню, как он однажды неожиданно приехал к нам на одно из таких воскресных чтений и каким ужасным скандалом это всё кончилось. Человек он был пожилой и грузный, страдал к тому же бронхами, так что в морозные дни носил на рту защитный респиратор и одевался очень тепло. Приехал он в огромной меховой шубе, повесил ее в передней и заявил о желании лично прочесть в аудитории намеченный рассказ Лескова. Читал он не громко и мало выразительно, так что впечатления никакого не произвел, а когда, разгоряченный и утомленный, он вернулся в переднюю за своей шубой, то... ее там не

оказалось. За время его чтения ее успели украсть. Никогда до того у нас ничего подобного не случалось. Хочу добавить, что и позднее, за всю нашу многолетнюю работу среди тысяч посетителей, случаи краж были совершенно исключительными явлениями. И нужно же было, чтобы это, как на грех, случилось с нашим самым страшным и неприятным начальством. Мы все были в отчаянии, но найти шубы так и не удалось. Соловьева скоро сменил на посту председателя комиссии Евграф Петрович Ковалевский, живой, просвещенный и благожелательный человек, при котором и постановка всего дела изменилась.

Эти воскресные собрания ввели нас в общение со взрослым населением нашего района. Появилось требование на книгу и, наконец, на систематическое обучение взрослого рабочего и ремесленника: грамота для тех, кто или не знал ее, или забыл после окончания начальной школы, техническое черчение и, как подготовка для него, математика. В пределах этих трех предметов — русского языка, математики и черчения — и открылись наши вечерние классы для взрослых, в ведении и под контролем Императорского Технического Общества, где нашим прямым и бессменным начальством был милейший Александр Григорьевич Небольсин. К этому времени мы уже перебрались в наше третье помещение, всё на той же Лиговке, и имели в своем распоряжении «зал», вмещавший до 200 человек.

Этот размер помещения дал нам возможность хоть в малой мере пойти навстречу не только *просветительным* нуждам населения, но и его не менее острым потребностям в *развлечении*.

Мне до сих пор весело вспоминать о тех первых танцевальных вечерах, которые устраивались в этом скромном зале. Как старательно, воистину в поте лица своего, разучивались танцы нашими неловкими, точно по ногам и по рукам связанными, учениками-рабочими и мастеровыми. Как обидно бывало им не поспевать за музыкой и за молодыми девушками, гораздо быстрее приспособившимися к танцам. И как торжественны бывали представители торгового класса, когда, для пущей важности, они являлись на «бал» и танцевали в галошах и с огромными дождевыми зонтиками в руках. Эти атрибуты являли собой тогда последнее слово «шика».

Вспоминаю и наши первые спектакли, в которых мы были все участниками и где на мою долю выпадала всегда суф-

лерская роль. Сколько во всем этом было дружного веселья и как тесно спланивался вокруг этих занятий и развлечений тот кружок лиц, который во все последующие годы нашей, потом широко развернувшейся деятельности, был и оставался руководящим ядром и душой Народного Дома.

Трудно себе представить теперешнему жителю какой бы то ни было европейской страны, не говоря уж об Америке, до чего убога, сера и скучна была жизнь русского окраинного городского обывателя в 90-х годах прошлого и начала нынешнего столетия. Во всей этой, забитой камнем и людьми, безводной и бездарной части города, ни одного сада, сквера, ни одного деревца. Единственным местом для летних прогулок было Волково кладбище, в которое упирался трамвай и у границ которого останавливалась, замирала жизнь города. Крутые, поросшие травой берега Обводного Канала являли собой, в праздничные дни, зрелище другого рода кладбища: они бывали усеяны телами мертвецки пьяных обывателей. В течение всей долгой, темной, промозглой петербургской зимы, из перенаселенных квартир с угловыми жильцами, рабочему человеку, по вечерам и в праздники, был заманчиво открыт вход только в трактир. Ни кинематографа, который тогда еще не существовал, ни близкого и доступного театра, ни читальни, ни музыки, ни места где погулять и заняться каким либо спортом или игрой не было. Единственным доступным, просторным помещением была большая, красивая церковь св. Иоанна Предтечи, на перекрещивании Лиговки и Обводного Канала, с окружавшей ее площадью, обнесенной оградой. Только в Божьем доме было просторно, красиво, можно было слушать чудное пение и оторваться мыслью и душой от заедавшей тяжкой повседневной жизни. Но человеческое жилье было ужасно.

Всем нам, прошедшим с тех пор через войны и революции, тюрьмы и концентрационные лагеря, беженство и эмиграцию, ясно по собственному опыту, что теснота и перенаселенность человеческих помещений являются одним из самых тяжелых испытаний и одной из самых страшных казней в жизни. Как уберечь человека, постоянно погруженного в тоску такой беспросветно-нудной жизни, от раздражения и склоки, от отчаяния и злобы, ведущих к пьянству, к преступлениям, к политическим эксцессам? Одного «просвещения» для этого мало, недостаточно также благоустройства труда, ибо думаю, что решающим моментом и влиянием в жизни человека яв-

ляется не труд, а тот досуг, который остается у него после труда. Только в часы досуга есть место для любви и радости, для всего того, что превращает робота в человека и человека в личность. И часто в жизни лучше узнаешь человека не столько по «служебным» делам его, сколько по тому, чем он заполняет свои досуги. Думаю поэтому, что самое страшное в жизни человека, это полное отсутствие какой бы то ни было радости, отсутствие малейшей отдушины, через которую проникали бы свежий воздух и солнечный луч. Крестьянская жизнь, как бы убога и темна она ни была, никогда не могла знать полной меры этого проклятья, ибо вокруг тесноты и грязи избы, всегда лежали просторы полей, лесов, и рек; низшие же слои городского населения жили поистине в безрадостности если не ада, то чистилища.

Я особенно останавливаюсь на этом вопросе, потому что в те далекие годы русской жизни, никто в среде русской интеллигенции не сомневался в настоящей необходимости просвещения масс, но, в силу своего собственного духовного аскетизма, все гораздо менее остро ощущали другой голод тех же людей, — голод и жажду радости. Это была эпоха «пучавшей» живописи передвижников, и только с началом нового столетия воскресла в искусстве эллинистическая радость красоты. То же происходило и в нашей среде.

Дело еще портилось тем, что в конце девяностых годов, со времени введения государственной монополии на спирт, министерство финансов стало одновременно строить многочисленные «народные дома», назначением которых было отвлечение народа от пьянства. А так как правительство боялось просвещения масс и не сочувствовало ему, то в этих правительственных народных домах ударение было поставлено исключительно на «развлечении», причем качество этих развлечений было большею частью очень низкопробно. Оно потакало тому низкому уровню понимания и вкуса, который предполагался в посетителях, грубо подделывалось под него, впадало в тон балаганного скоморошества или кровавых мелодрам и только развращало девственную почву народного сознания, никогда не стремясь вызвать в зрителе новые интересы и запросы. Тем же естественно грешили и все частные предприятия этого рода, искавшие наживы, ибо во всех слоях общества пошлость всегда гарантирует полные сборы. Опыт же этот заставлял русскую интеллигенцию буквально шарахать-

ся от самого слова «развлечения», в применении к народной аудитории.

Перед нами, таким образом, стояла чрезвычайно интересная задача создания какого-то нового симбиоза просвещения и развлечения (добавлю еще — и воспитания) окружавшего нас населения. Этот симбиоз и есть то, что мы называем «культурой», и для распространения ее нам нужно было найти подходящие формы.

Только много позднее стали все наши впечатления и накопившийся опыт укладываться в отчетливые мысли и формы. Вначале же мы шли ощупью и если мы не сделали в эти первые годы крупных ошибок и, в общем, правильно заложили и вывели фундамент тогда еще не снившегося нам будущего большого здания, то это было, конечно, главным образом благодаря участию в этом деле Александры Васильевны Пешехоновой.

За всю мою долгую жизнь мне никогда потом не пришлось встретить человека, в котором бы так гармонично сочетались лучшие человеческие качества ума, воли, горячности чувств, практичности и административных способностей, выдержки и трудоспособности. Ее тактичность была изумительна, так же как и умение претворять в дело каждое из своих убеждений. Горячая и даже вспыльчивая по темпераменту, она умела всегда сохранять спокойствие и никогда не суетилась; она для всего находила время, ибо была неутомима и никогда не теряла буквально ни одной минуты в безделье. Прожив всю свою жизнь в одном и том же районе города и проучительствовав в нем двадцать пять лет, она превосходно знала несколько поколений жителей округи, их быт и их нужды. Выросшая и сложившаяся под влиянием благородных традиций эпохи великих реформ, она через всю жизнь пронесла их высокие идеалы, согретые никогда не изменявшей ей, от отцов и дедов унаследованной, православной верой. Исключительное и редкое сочетание в среде русской интеллигенции той эпохи. Но чтобы до конца плениться ею, нужно было видеть ее в среде детей и, особенно, среди отчаянных подростков нашей окраины, головорезов и хулиганов, с которыми подчас никто из мужчин справиться не мог. При своем маленьком росте Александра Васильевна совсем тонула в их толпе и никогда, даже в самые критические минуты, не повышала голоса. И тем не менее, никто не умел так быстро успокаивать их бушующую ватагу и так подчинять их своему

воздействию, как она. Все они ее любили, самые строптивые подчинялись ее авторитету и из дикарей превращались в кротких агнцев, повинаясь ее магическому влиянию. Они были ее преданнейшими друзьями и никогда не обманывали того доверия, которое она им оказывала. Точно она знала какое-то «слово», которое они одни понимали.

Политика, какая бы то ни было политическая пропаганда, явная или тайная, единодушно исключалась нами из нашей просветительной деятельности. Мы стремились именно «просветить», поставить на ноги беспомощно бредущих в темноте людей. Мне всегда казалось глубоко бесчестным навязывать какое-либо политическое учение людям, не имеющим в этих вопросах ни знания, ни пониманья, ни, следовательно, возможности выбора. За невозможностью критического отношения и убеждения разумными доводами, на таких людей обычно воздействуют методом демагогическим, взывая к элементарным, а часто и низким инстинктам. Эти приемы политической пропаганды, откуда бы она ни исходила, от крайнего правого или от крайнего левого крыла, в самом корне расходились с нашими взглядами на достоинство личности и на обязательную честность всякого «просвещения». Злоупотреблять невежеством и умственной беспомощностью слабейшего, когда ты становишься его «учителем», считалось нами так же непозволительно, как злоупотреблять своей физической силой по отношению к ребенку.

Эта установка создавала идеальные условия для дружного сотрудничества. Все наши личные жизни и страсти оставались за порогом нашего учреждения, в его стенах мы были жрецами только знания и были связаны круговой порукой абсолютной честности в наших взаимоотношениях. Я уж не говорю о том, насколько мы любили свое дело и... друг друга, как любишь людей, связанных с тобой самым дорогим и радостным в жизни. Я не zapomню поэтому, в кругу ближайших сотрудников, за долгие годы нашей общей жизни, ни одного случая личных столкновений и горьких расхождений, случаев тех ссор и обид, которыми вообще так изобилует обшественная жизнь.

Центром этого кружка была Александра Васильевна и ее друзья, тоже городские учительницы. Ближайшими из них, а позднее и постоянными ее сожительницами, были Елизавета Васильевна Попова и Надежда Фоминична Ялозо (когда я пишу эти строки, только последняя из троих еще может быть

жива). Совершенно исключительную роль играла — как в их личной жизни, так и в нашей общей — Елизавета Васильевна, «тетя Лиза» — для многих малых и старых. Большого роста, полная, с очень примечательным лицом римского сенатора, горячая и вспыльчивая, она могла сначала производить впечатление некоторой суровости. А между тем, именно она в их триумvirате была греющим, притягивающим центром. Веселая, любвеобильная, она страстно любила природу, заполняла свои комнаты растениями и выращивала на своем маленьком балкончике целые деревья. Летом ее неудержимо тянуло в деревню и, повинувшись ей, ее сожительницы всегда уезжали куда-нибудь в месячный отпуск, хотя Александре Васильевне никогда не хотелось расставаться с городом. Тетя Лиза вела домашнее хозяйство и прекрасно стряпала, но закупки делала Александра Васильевна и она же вела счета. Крайне застенчивая в общественной сфере, она никогда публично не выступала и ни в каких заседаниях участия не принимала, но три четверти непосредственной работы лежало на ней. Александра Васильевна была администратором, двигающей пружиной, Елизавета Васильевна — душой нашего общего дела.

После десяти лет постепенного роста, нам стало ясно, что никакие квартиры не смогут удовлетворить наших нужд и запросов: необходимо большое помещение и выгоднее такое построить, чем нанимать, даже если бы его и можно было найти в нашем районе. Ну, а найти его было невозможно.

Участок земли на углу Тамбовской и Прилукской улиц был приобретен с таким расчетом, чтобы непременно осталось место для сада — этой недостижимой мечты нашего района — а постройка дома была поручена архитектору Юлию Юльевичу Бенуа, по совместно с ним выработанному плану.

К этому времени относится мое знакомство с другой замечательной женщиной — Марией Ивановной Страховой.

В маленькой комнатушке, отведенной ей Н. А. Рубакиным при его библиотеке, не имея в своем распоряжении никаких средств, Мария Ивановна начала новое и крайне интересное дело. Она задумала создать склад учебных пособий, необходимых для преподавания в низших и средних школах,

склад, из которого пособия выдавались бы напрокат школам и даже частным лицам за минимальную плату. Не только крайне ограниченные в средствах начальные училища, но и средние казенные учебные заведения, не могли иметь в своем распоряжении всех тех пособий, которыми мог и должен был обзавестись центральный склад: картины для волшебного фонаря, физические приборы, микроскопы, коллекции по минералогии и ботанике, препараты по зоологии и чучела птиц и зверей, предметы по этнографии и, наконец, карты и иллюстрации по географии, астрономии, истории.

Ясно было также, что такой склад или «Подвижной Музей Учебных Пособий», как он был назван, мог принести огромную пользу не только школам города Петербурга, но и нашему намечавшемуся Народному Дому. Для того же, чтобы он мог развернуться в должных размерах, нужно было дать Марье Ивановне соответственное помещение. И вот, одновременно с Народным Домом, было заложено и построено, на том же участке земли, отдельное большое трехэтажное здание. Верхние этажи были заполнены матерьялом Музея, нижний же, высокий подвальный этаж, превратился в мастерские Музея. Тут разбирались, сортировались и изготовлялись коллекции по ботанике, зоологии и минералогии из того матерьяла, который привозился научными сотрудниками Музея, после их ежегодных летних поездок и экскурсий. Тут были своя столярная, слесарная, переплетная, картонажная и др. мастерские. Тут, наконец, стали очень скоро работать не только на себя, но стали принимать и исполнять заказы сторонних заказчиков. Это открыло перед Музеем новую, громадную и самую значительную сферу его деятельности, вывело его из тесных границ Петербурга и превратило во все-русский центр.

Идея подвижного музея учебных пособий была для русских городов и, в еще большей мере, для наших земств, настоящим колумбовым яйцом в решении неодолимого для них, с финансовой стороны, вопроса о снабжении школ необходимыми учебными пособиями.

Организация таких подвижных музеев в губернских и уездных городах давала возможность предоставить в распоряжение школ громадный выбор лучших учебных пособий, не отягощая бюджетов земств непосильными расходами. Вся работа по выработке примерных типов таких музеев, по составлению списков учебных пособий на различные суммы, соот-

ветственно делаемым земствами или отдельными училищами ассигнованиям, составление коллекций в пределах намеченных смет — вся эта работа легла на наш петербургский Подвижной Музей. Сюда приезжали учителя и земские деятели со всех концов России советоваться и учиться.

Всё это развивалось, конечно, лишь мало-помалу и если я говорю об этом здесь, то только потому, что Музей возник одновременно с Народным Домом. Он не входил в состав Народного Дома и был связан с нами лишь ближайшим соседством и сотрудничеством. Но было знаменательно, что одновременно создавались два учреждения, ни одно из которых не имело для себя образцов и прецедентов.

Создательницей Музея, идеологически и фактически, была М. И. Страхова, вся отдававшая этой работе и всегда скромно остававшаяся в тени. Целая плеяда добровольных сотрудников, так же как и в Народном Доме, безвозмездно несла на своих плечах огромную работу. С 1907 года заведующим Музеем сделался М. В. Новорусский, имя которого теснее других связалось с Музеем.

Народный Дом

7-го апреля 1903 года, на Пасхе, состоялось открытие Народного Дома. Освящал его очень в то время известный и популярный в Петербурге священник, о. Григорий Петров. Просторные, высокие и светлые помещения нового здания были залиты солнцем и светом, и радостное пасхальное «Христос Воскресе» звучало для нас как-то особенно ликующе в этот торжественный день. А между тем все мы, создатели и строители Дома, чувствовали себя очень смущенными и растерянными в его просторах. После небольших квартир на Лиговке, нам было жутковато в театральном зале на 1.000 человек, в столовой, которая должна была вмещать несколько сот детей и взрослых, в большой библиотеке и классных комнатах, в просторах вестибюля и лестниц. Наша сплоченная, дружная команда сотрудников казалась такой маленькой и ничтожной под высоким и легким сводом зала, к которому неслись звуки пасхальных песнопений. Кто кого одолеет? Пространство и людность нас? Или мы их? Что возьмет верх: количество или качество? Материя или дух? Вот вопросы, которые стояли перед нами и беспокоили нас в этот светлый и радостный день.

Теперь, сорок лет спустя, когда всё это прошлое стоит передо мной во всей его яркости, но когда можно с полной беспристрастностью подвести итоги закончившемуся периоду нашей деятельности, ибо почти никого из нашей первой команды нет уже в живых, я с уверенностью скажу: победили мы, победили дух и воля и, превыше всего, победила любовь. Ибо что, как не любовь, двигало теми людьми, которые бескорыстно и безвозмездно отдавали свои знания и свое время на служенье и просвещение своих обездоленных братьев. Урывали время от скудных заработков и несли свои дарования и таланты в аудитории и классы, наполнявшиеся самыми темными людьми, богатыми только своей жаждой знания. Я не называю такой труд «жертвенным», как это часто делают, и не люблю самого слова «жертва» в применении к тому, что дается с радостью, от избытка и полноты чувств. От жертвы скудеешь, от любовного дара — никогда. Слово «жертвенность» в данном случае слишком отдает нехорошим американизмом, расценивающим все поступки на вес золота. Есть радость и счастье в жизни, которые ни на какое золото не купишь. Это прежде всего — радость творчества, к какой бы области жизни оно ни относилось. А дело просвещения, если не творчество, то действие очень близкое к нему, ибо это пробуждение душ и умов человеческих. Мне всегда казалось, что в наших руках было нечто вроде магической палочки, прикосновение которой, подобно дыханью весны, пробуждало жизнь, многоголосое пенье добрых чувств и пышный расцвет мыслей.

Маленькие — великие — скромные русские люди, имена которых не занесены ни на какие скрижали истории, но которые были истинными строителями, созидателями Великой России в прошлом — учителя и учительницы наших городов и весей, работники на всех нивах просвещения — Лиговский Народный Дом был только одним из бесчисленных творений вашего труда и вашей любви.

Итак, через двенадцать лет после начала нашей деятельности, мы вошли в новое здание не с пустыми руками. У нас было уже пять организованных отделов и, что еще важнее, была дружная, спешащая группа сотрудников с близкой нам группой посетителей, читателей, учеников. С переходом в большое помещенье мы могли не только развернуть в долж-

ных размерах уже начатое, но также добавить нехватавшие звенья в цепи тех учреждений, которые подсказывались нам настоящими нуждами населения.

Так, к группе обслуживавшихся нами детей-школьников, мы могли теперь присоединить их младших и старших братьев и сестер. Народный Дом сразу же открыл свои двери для детей дошкольного возраста и для них нами был устроен детский сад.

Дети-школьники стали приходить к нам теперь не только обедать, но и проводить всё послешкольное свободное время. Для них устраивались занятия, игры, лекции, и в их распоряжении была детская библиотека, вместе с примыкавшей к ней читальней.

Занялись мы и самой старшей группой детей послешкольного возраста. Группа эта была в поистине трагическом положении. Городскую трехлетнюю начальную школу дети обыкновенно кончали к одиннадцати годам. Между тем, на основании закона, охранявшего труд малолетних, мальчик не мог раньше четырнадцати лет быть принят на завод или фабрику. Он поэтому оставался безо всякого призора, под растлевающим влиянием улицы, или поступал в частную ремесленную мастерскую, где в течение трех лет служил у хозяина на побегушках, ничему не учился, получал скудную пищу и обильные колотушки, и проходил ту безобразную и жестокую школу жизни, которую так часто описывали наши писатели.

Народный Дом должен был откликнуться на эту нужду. Часть его высокого и светлого подвального этажа была отведена под две большие учебные мастерские: столярную и слесарную. Мальчики принимались в эти ремесленные классы по окончании начального училища и проходили трехлетний курс, не только чисто ремесленного обучения, но и необходимой теории ремесла: технологии дерева и металлов, технического черчения и рисования. К этому добавлены были и общеобразовательные предметы (русский язык, геометрия, отечествоведение), которые могли хоть несколько увеличить тот скудный багаж познаний, который ребенок выносил из начальной школы. Опыт показал, что пройдя такую школу и получив такую техническую подготовку, мальчики легко устраивались на места и быстро продвигались на должность мастера, избегая тяжелых лет ремесленного ученичества.

Для девочек этого возраста, не пристроившихся, по окончании начальной школы, ни к дальнейшему образованию, ни

к работе, мы открыли «рукодельный класс». И здесь Народному Дому пришлось, по необходимости, взять на себя опыт ведения такого воспитательно-учебного дела, во главе которого стала у нас Елизавета Васильевна Попова.

Чтобы несколько подготовить девочек к практической жизни, были устроены уроки кройки и шитья, а для воспитательно-образовательного воздействия введены уроки русского языка, Закона Божия, арифметики, мироведения, рисования. Главной задачей этого двухгодичного курса было — не только дать девочкам практические знания и навыки, но возбудить в них интерес к окружающей жизни, научить вдумчиво относиться к жизненным явлениям и вызвать в них сознание личной ответственности и чувство долга. Елизавета Васильевна сумела придать этому делу особую задушевность, превратила эту группу в большую, дружную семью, и многие из ее питомиц работали позднее у нас же в Народном Доме; другие продолжали свое образование и стали учеными нянями и сестрами милосердия, некоторые вышли даже в учительницы. Но и те, которые просто вернулись в семью, внесли в окружающую их жизнь новый и свежий элемент душевной и физической культуры.

Для иллюстрации тех настроений, с которыми эти девочки 10-13 лет относились к своей школе и покидали ее, я приведу некоторые отрывки из их писем и отзывов, случайно у меня сохранившихся. Это всё же живой голос прошлого, объективно устанавливающий факты, которые в моем личном изложении могли бы показаться искаженными субъективным, пристрастным чувством. Нехитрыми, искренними словами рассказывают они свои впечатления от прочитанных книг, пишут о своих домашних бедах, о своих мечтах и надеждах. Так как жизнь этих детей вне школы безотраднее, то большинство из них видит высшую радость в «чистенькой квартире, чистенькой одежде, чтобы можно жить без всяких прикрасений».

«Хотела бы жить в чистоте и опрятности». «Мечтаю о том, чтобы наша семья всегда была обути, одета, напоена и накормлена — чтобы все жили в согласии и не ссорились». «Хотела бы помогать родителям, чтобы не голодали в старости». «Построила бы много школ для детей». «Хотела бы быть учительницей». «А если бы у меня был талант сочинять, то сочиняла бы. Кто бы мог покупать мои сочинения, покупай с удовольствием, а кто не мог — раздавала бы да-

ром». «Хотела бы быть художницей и жить в пещерах на берегу моря». «Хочу учиться дальше, во мне пробудилась страсть к учению, мне даже во сне снится. Я готова проводить для учения все часы сна, потому что и спать много тоже вредно».

Читая книги, девочки стремятся разобраться в них, пишут по предложению учительницы свои мнения. «Мне очень жаль капитана Гатераса, что он сошел с ума, но всё-таки он добился своего, вот какую мыслью я себя утешаю». «Счастлив тот, кто добился своего», пишет 11-летняя девочка, «Жанна д'Арк мне нравится за то, что у нее была сила воли и она боролась за родину. Всегда надо идти за веру и истину Христову».

И увлеченные хорошими книгами, дружескими разговорами с учительницей, они силятся выразить свой идеал жизни. «Хотелось бы отчасти жить по заповедям Христа». «Быть хорошей и трудолюбивой женщиной». «Ко всякому делу иметь побольше терпенья». «Не забывать тех, кто сделал нам что-нибудь хорошее». «Когда я старалась жить по евангелию, то сначала казалось трудно, но теперь мне очень нравится, и я буду стараться делать побольше хорошего и поменьше дурного».

Я остановилась подробно на описании детских отделов Народного Дома по двум причинам:

Во-первых, потому что за исключением детского сада, все они являлись в то время и в той обстановке чем-то *новым*. Даже бесплатных детских столовых для беднейших школьников до тех пор в Петербурге не было. Когда наше дело кормления детей перешло в новое, большое помещение и приняло такие размеры, что могло обслуживать школьников значительного городского района, петербургское городское управление стало уплачивать Народному Дому стоимость этих обедов, которых выдавалось около тысячи в день².

Во-вторых, потому что в обычное представление о народных домах детские отделы вовсе не входят. Народный дом — учреждение обыкновенно предназначенное исключительно для взрослых и обслуживающее те или иные их нужды. По крайней мере, ни в одном из тех народных домов, которые я

² Обед состоял из двух блюд, из которых одно было всегда мясное, а хлеба давалось вволю, в неограниченном количестве. Стоимость такого обеда в те времена равнялась пяти копейкам.

осмотрела на рубеже этого столетия в Германии, Бельгии, Франции и Англии, я детских отделов не встретила, и только в одном из английских учреждений подобного рода нашла ремесленные мастерские для подростков, натолкнувшие и меня на эту мысль.

Между тем, взрослое население нашего района, в дневные часы было занято работой, и помещения наши ему были нужны лишь в вечернее время. Поэтому, с раннего утра и до шести часов вечера Народным Домом владели дети. Исключением являлась только столовая для взрослых, которая открывалась от 12 до 2-х часов дня и выдавала дешевые обеды спешно прибегавшему рабочему люду. Зато после шести часов и до десяти часов вечера Народный Дом заполнялся взрослыми.

Говоря о наших отделах для взрослых, мне хочется главным образом остановиться на том, что являлось или новшеством, или же результатом местных условий и счастливо сложившихся обстоятельств.

Прежде всего, нам было важно *привлечь* обывателя, дать ему возможность свободно и бесплатно войти в Народный Дом и почувствовать себя в нем не в гостях, а дома, уютно и приятно. Таким открытым и всегда доступным помещением — по вечерам в будние дни, и весь день по праздникам — была чайная. Сюда приходили целыми семьями, располагались за отдельными столиками. Здесь было тепло, чисто, светло и просторно. Были газеты и разные иллюстрированные издания, шашки и шахматы. Не было игральные карты и не было водки. С помощью Подвижного Музея, на одной из стен чайной устраивались выставки картин и предметов на какую-нибудь определенную тему: лес и степь, море, Малороссия, Кавказ, Волга, Финляндия и т. п. Некоторые выставки приурочивались к текущим событиям или юбилейным дням писателей, художников и государственных деятелей. Тут же всегда вывешивался список рекомендуемых на данную тему книг, а по праздникам давались и устные объяснения. Посетитель, впервые пришедший в Народный Дом просто погреться и выпить чаю, заинтересовывался тем, что видел, и обычно начинал затем брать книги в библиотеке, шел послушать чтение с туманными картинами и лекцию, шел в театр или записывался в какой-нибудь класс. Народный Дом притягивал и затягивал многообразием своей деятельности. Всякий мог в нем найти то, что было ему по вкусу и по уровню его понимания. В

этом и заключался основной смысл того культурно-просветительного комплекса, который назывался «Народным Домом», и то, что отличало его от отдельных столовых, чайных, библиотек, театров, не связанных между собой общностью помещения и единством плана.

Наши посетители обычно крепко к нам прирастали, годами ходили в Народный Дом и становились преданными его друзьями. В них развивалось даже своеобразное чувство «чести» Народного Дома — «нашего Дома» — и они чувствовали себя носителями и блюстителями этой чести. Старый посетитель чайной обучал новенького, который в трактирном стиле обращался к дежурившим молодым девушкам: «Это тебе здесь не мамзели, а такая-то и такая-то (называя по имени и отчеству), и ты так говорить не моги». Престиж Народного Дома был так велик, что действовал даже на прилегающую местность. Возвращаясь однажды пешком поздно вечером из Народного Дома, я в темноте услышала следующего рода диалог. Кто-то подвыпивший шел и сильно ругался. Его товарищ, тоже выпивший, его урезонивал: «Это тебе не Невский проспект, чтобы так ругаться, а Лиговка, и Народный Дом тут, и мы с тобой туда ходим, и ты себя соблюдай» и т. д. И это говорилось на улицах той части города, про которую обитатель Невского проспекта думал не иначе, как о вертепе пьяниц и разбойников, куда в вечерние часы и сунуться не безопасно.

Кроме чайной, по вечерам открывались вечерние классы, а также бесплатная библиотека, выдававшая книги на дом. Дом тудел как улей — учеников собиралось до 1.000 человек — и не было такого закоулка, в котором бы не занималась какая-нибудь группа. Тут были и безграмотные мужчины и женщины, и малограмотные, и более подвинутые и развитые рабочие, которым нужны были технические и общеобразовательные познания. На этом я подробно останавливаться не буду, так как такого рода вечерние школы для взрослых хорошо знакомы всем, кто имел дело с внешкольным образованием. Для них обязательны чрезвычайная гибкость и разнообразие программ, которые всегда должны приспособляться к уровню знаний учеников и к требованиям их профессий и жизни. Вот почему преподавание в таких школах не терпит рутины и требует от преподавателя постоянного творчества. Задача эта до того интересна, что обычно привлекала в стены таких школ самых одаренных преподавателей начальных и

средних учебных заведений, которые все работали в них безвозмездно. Состав преподавателей и лекторов Народного Дома получился исключительно блестящий.

К участию в наших многолюдных педагогических собраниях привлекались и представители учеников, сотрудничество которых часто было не только психологически, но и технически полезно и никогда никаких осложнений не создавало. Слово «ученик» в стенах Народного Дома было так же почетно, как слово «студент» или слово «офицер» в другой среде, в иных кругах. Ученик становился нашим сотрудником, членом нашей большой семьи, ответственным за благополучие всего учреждения, и я не могу достаточно подчеркнуть воспитательное значение этого чувства ответственности.

Ученики имели свои собственные литературные, научные, театральные кружки; издавали свой рукописный журнал; устраивали свои ученические спектакли и литературные вечера. Летом, когда большинство сотрудников Народного Дома разъезжалось, им поручалось устройство воскресных чтений для широкой публики, и хотя в это время года чтения эти собирали относительно небольшую аудиторию, всё же эта работа являлась, под нашим руководством, прекрасной и ответственной школой для наших юных учеников-сотрудников.

За пятнадцать лет деятельности Народного Дома, до 1918 года, целое поколение вышло в жизнь из его стен, даже из тех его посетителей, которые узнали дорогу к нему с 3-х летнего возраста и детского сада. Основным мотивом мечтаний и устремлений этих юношей и девушек, судя опять-таки по тем прозаическим и поэтическим их выражениям, которые сохранились у меня, является стремление «к свету», «к знанию», «к правде», к служению ближнему, к счастью — непременно всеобщему. Они учатся со страстью и спорят только о значении, которое имеет тот или другой предмет «для смысла жизни». Главное — понять жизнь. Ни одной ноты «американизма», т. е. мечты о личном, материальном благополучии. Это до того поразительно на фоне всех произошедших с тех пор событий, что я опять привожу тексты, дабы избежать обвинения в голословности.

«Только книга может натолкнуть меня на хорошие мысли и заставить стремиться к хорошим делам». «Под свежим впечатлением книг невольно порываешься сделать что-нибудь

полезное». «Чтение для меня как лекарство в трудную минуту, которых у меня не мало». «Всё то, что для меня так дорого, и чем одним я только живу, я приобрел из книг дорогих для меня писателей». «После чтения хорошей книги, сам делаешься отзывчивее, начинаешь отделять хорошее от дурного».

В одном из стихотворений читаем:

«Мы испытали удары ненастья;
Их испытав, мы теперь сознаем,
Что идеалы всеобщего счастья
Силою грубой одной не возьмем.
Нам непривычно оружия бряцанье,
Мы ведь мечей для борьбы не куем.
В помощь нам будет союз наш, да знания,
С ними мы твердо к победе пойдём».

«У нас есть убеждение», пишет другой ученик, «что образование — это какая-то волшебная сила, умеющая переносить человека в новый мир, к новой, светлой, радостной и непременно счастливой жизни. А когда начинаешь учиться и мыслить, сознаешь, что образование — это высокая гора: чем выше идешь, тем шире горизонт. Это лестница, по которой человек постепенно поднимается и становится лучше и нравственнее, и серьезнее приходит к сознанию, что для достижения цели нужен упорный и долгий труд».

Надо удивляться тому, как много энергии и бодрости в этих усталых от ежедневного фабричного труда, но сильных духом людях. Лекции им кажутся полезны, потому что побуждают ум работать на пользу общества. — «Учат человека, как жить по-человечески, потому что слушая их, хочется идти по пути великих писателей, чтобы дать познания другим людям». «Мне хочется узнать об истории развития человеческой нравственности и причинах ее упадка. Что такое Бог. Почему действительность расходится с нашими идеалами. Не оттого ли, что религия в загоне».

Со свойственным молодости желанием выражать свои мечты в звучных словах, многие пишут стихи.

«Я не один, нас в свете много,
Певцов, поющих как-нибудь.
Своей поэзией убогой
Мы лишь другим готовим путь

И в песнях нам гордиться нечем.
 Встречая первую красу,
 Мы робко так еще лепечем,
 Как листья юные в лесу».

Юноша спрашивает:

«Слышишь ли ты, как народ просыпается,
 Ищет искусства, добра, красоты?
 День трудовой, шумный день начинается,
 Слышишь ли ты?»

«Веришь ли ты, что проснутся все спящие,
 Сбудутся наши святые мечты
 И вдохновят всех труды предстоящие,
 Веришь ли ты?».

«В моих мечтах», пишет в сочинении взрослая девушка, «мне представляется изба в деревне, я окружена детьми, они смотрят на меня так ласково, они внимательно слушают уроки. Я вкладываю в этот урок всю душу, они понимают меня, они любят меня. Когда я думаю об этом, у меня дух захватывает от радости и я не могу спать».

Это мечты о любви к людям. Атмосфера идеальных стремлений, идейных споров, бескорыстного отношения к науке, вера в торжество правды заражает многих, пришедших сюда бессознательно, что называется «на огонек». Одних, более способных, молодых и пылких, увлекает сразу и держит крепко. Некоторых же тяготит эта атмосфера. Жизненные неудачи, разочарование в людях, противоречие действительности с идеалами мучает и бросают они холодные слова: «из идеалов-то шубы не сошьешь, не к чему прекраснотушничать».

Один ученик пишет: «Пять месяцев изо дня в день я заглашал в себе всё живое, не ходил в класс, боясь услышать мысли так волновавшие меня. Я хотел выработать из себя русского американца, жить только для себя и был уверен, что этого добился. Но стоило мне опять соприкоснуться с Домом, как весь мой эгоизм рассеялся. Здесь мне придется часто голодать; там, куда я хотел ехать, я всегда буду сыт. Но если жить только для того, чтобы быть сытым, то лучше не жить».

Одно из просветительных учреждений, создавшееся у нас с содействием Подвижного Музея, оказалось первым в своем роде в Петербурге. Это была общедоступная обсерватория.

До тех пор в Петербурге и его окрестностях имелись обсерватории исключительно научного характера, как Обсерватории Пулковая, Университета и Палаты мер и весов. Ни частные лица, ни учителя и ученики учебных заведений доступа к ним не имели. Между тем, интерес ко всем астрономическим явлениям был всегда очень велик среди публики. Никакие темы не собирали более многочисленной аудитории, чем лекции о солнце, луне, планетах, звездах и пр. Популяризация этих знаний, наглядные наблюдения над небесными явлениями должны были иметь огромное образовательное значение, как для средних и высших школ, так и для внешкольного образования. Наша обсерватория, высоко поднимавшаяся над крышей Народного Дома, первая заполнила этот пробел в образовательных учреждениях Петербурга.

Заведующим обсерваторией был исключительно талантливый физик и популяризатор, Алексей Егорович Якобсон, безвозмездно отдававший свой труд этому делу. Во все ясные вечера, когда наблюдения были возможны, он и его помощники руководили посетителями и давали им объяснения.

Вслед за нашей обсерваторией, открылась на Марсовом поле другая, специально для того сооруженная, частная общедоступная обсерватория Меркулова.

Так проходили в Народном Доме будние дни. Праздники заполняли его еще более многочисленной и оживленной толпой.

Прежде всего открывались двери чайной, причем дети, которым был предоставлен отдельный вход, сразу отбирались в особое большое помещение, где ими занимались отдельные сотрудники. Им читали или рассказывали сказки и рассказы, иллюстрированные картинами волшебного фонаря.

В это же время, в большом театральном зале, вмещавшем до тысячи человек, устраивалось чтение с туманными картинами для взрослых. Вход был бесплатный. Эти «чтения» превратились мало-помалу в настоящие литературно-музыкальные утренники, далеко ушедшие от тех первоначальных и примитивных «чтений», по разрешенным администрацией тек-

стам, на которые когда-то приезжал Всеволод Соловьев. Теперь мы обязаны были заблаговременно заявлять полиции только об имени лектора и о теме, на которую он будет говорить. Вокруг этих воскресных чтений у нас тоже сплотилась особая группа лиц и сотрудников, как лекторов, так и музыкантов.

Устройство таких утренников для тысячной аудитории, состоявшей из мужчин и женщин, стариков и подростков, было нелегкой задачей. Ощупью, путем бесчисленных опытов, дошли мы наконец до того, что выработали тип утренника, сосредоточенного на одной, избранной для данного дня, теме. Последняя иллюстрировалась и словом, и музыкой, и картинами. Такая смена внешних впечатлений, при единстве содержания, лучше всего владела вниманием слушателей и удовлетворяла разнообразию их вкусов и желаний.

Бывали утренники, посвященные русским и иностранным писателям и их произведениям; бывали темы географические и исторические, иллюстрировавшиеся соответственными картинами, поэзией и музыкой. Устраивались и настоящие концерты, посвященные кому-либо из русских композиторов, а иногда и иностранных. Бывали чтения об изобразительных искусствах, посвященные или отдельным художникам, или жанрам, или искусству отдельных стран. Однажды, на утреннике, посвященном Репину, появился сам Илья Ефимович и был встречен восторженной овацией. Эти чтения иллюстрировались прекрасными цветными репродукциями картин, которые изготовляла художественная мастерская Веры Александровны Беренштам (дочери А. Н. Пыпина). Бывали темы по естествознанию, по истории человеческой культуры, бывали духовные. Некоторые из этих тем, всегда разнообразившиеся по форме, повторялись нами ежегодно, как например, освобождение крестьян, А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой. Одной из таких тем были «Страсти Господни», — ей мы всегда посвящали Вербное воскресенье. И я не только редко видела, но и редко сама испытывала более сильное впечатление, даже в церкви, в эти дни. Иллюстрируя евангельский текст о страданиях Спасителя, мы показывали виды Палестины и воспроизведения картин великих мастеров, в то время как скрытый за картиной хор исполнял церковные песнопения. Редко кто уходил с этого чтения с сухими глазами.

Аудитория постепенно развивалась и росла, а также дисциплинировалась и, сравнивая ее с так называемой интелли-

гентной аудиторией, я могла бы только пожелать последней столько же сосредоточенности и внимания к докладчикам и артистам, сколько проявляла эта малограмотная толпа ремесленников, рабочих и чернорабочих.

Когда Народному Дому исполнилось десять лет жизни, мы произвели среди этой воскресной аудитории анкету, желая выяснить как состав наших слушателей, так и их преобладающие интересы и впечатления от виденного и слышанного.

Оказалось, во-первых, что слушатель у нас преобладал постоянный: одна треть аудитории оказалась посещающей эти чтения более пяти лет. Во-вторых, в значительном преобладании оказалась молодежь — три четверти посетителей были люди моложе 25-ти лет. В отличие от всех других наших классов и аудиторий более научного характера, на эти чтения ходило много женщин (30%), в особенности молодых девушек. На вопросы, «что вам больше нравится и о чем бы вам хотелось услышать», ответы иногда получались очень неожиданные. У женщин преобладал интерес к литературным темам, а среди мужчин часто повторялся вопрос о том, «как жить человеку». Один просит, «чтоб про житейское», другой — «об истине, которую скрывают от народа», третий хочет, чтобы прочитали «по вопросу о семейной жизни и выяснили отношение мужа к жене и наоборот. Просьба моя объясняется тем, — говорит он — что в настоящее время женщина-жена не только не хочет подчиняться мужу, но замечается общее стремление поработить мужчину, а если это не удастся, то получают частые скандалы».

Очень ярко сказывается интерес к тому, как живут другие народы и особенно трудящиеся классы чужих стран: «Интересно было бы, чтобы вы прочли очерки о разных странах и чтобы во главе чтения стоял трудящийся рабочий класс, кующий все богатства, а сам обреченный ходить голодный и холодный». Или: «О тех странах, где рабочим живется хорошо». Хотят также просто знать «об образовании земли и всей вселенной», «об образовании ветров и течения рек и морей», а также «о трезвой жизни народов».

На вопрос: что вам больше нравится, чтение или музыка, ответы поделились приблизительно поровну, но любопытные бывали мотивировки этих предпочтений:

— «Я люблю музыку и чтение, но так как рабочий, то музыка для меня на втором плане, а в чтении я имею в будущем некоторую опору».

— «Когда читаю, я понимаю про что меня интересует, а когда музыка бывает, конечно, она оказывает приятное настроение, но разобраться и понимать в ней я не могу».

Еще один сторонник чтения пишет:

— «Нравится музыка, но больше обожаю чтение», зато другая: «Музыка мне нравится больше всего... а чтение для меня всё равно безразлично».

Многие выражали самую трогательную благодарность:

— «Всё — надо бы лучше, да нельзя, премного благодарны».

— «В общем итоге за всё просвещение мы шлем нелицемерное спасибо».

— «Я рад, что толкнули меня на такую жизнь. Редкий вечерний спектакль пропускаю и лекцию. Пожелаю вам много лет в вашей жизни и наталкивать человека на этот путь, а там он и сам пойдет».

Устройством этих общедоступных утренников с бесплатным входом расписание воскресного дня в Народном Доме еще далеко не заканчивалось. Следом за этим, в другом, меньшем, зале устраивалась научно-популярная лекция с пятикопеечной входной платой. Плата эта взималась главным образом для того, чтобы оградить лекторов от неподготовленных, праздно-любопытствующих слушателей. Сюда приходили уже более развитые и подготовленные ремесленники и рабочие, желавшие послушать лекцию об астрономии, о гигиене, или по химии, физике, географии, литературе, истории, агрономии и т. д. Эти лекции по уровню своему приближались уже к тому, что называлось Народным Университетом.

На этом отделе нашей деятельности сильнее всего отражались колебания общих условий политической и общественной жизни страны и интересы момента. Придерживаясь, по возможности, полной беспартийности и строго научного отношения к трактуемому вопросу, стремясь дать каждую лекцию как нечто законченное и цельное, даже если она стояла в цепи нескольких неразрывно между собой связанных лекций, мы считали своим долгом откликнуться на запросы наших слушателей и по особо выдающимся вопросам полити-

ческой, экономической и общественной жизни. Запросы эти были очень многообразны и жажда знания вообще так велика, что трудно даже определить, какие именно темы вызвали наибольший интерес. Всякая научная лекция, если она была содержательна и хорошо прочитана, слушалась с неослабным вниманием. Женщины в этой аудитории почти полностью отсутствовали.

Едва успевали закрыться двери лекционного зала, как открывался большой театральный зал, и просторный вестибюль Дома заполнялся оживленной толпой театральных посетителей.

Ни одна из отраслей нашей деятельности не вызывала в свое время больше вопросов, сомнений и споров в нашей собственной среде, чем вопрос о том, каков должен быть репертуар театра, который для начала назывался «Народным», но быстро превратился в наших стенах в «Общедоступный».

Трудность выбора подходящих пьес создавалась, прежде всего, чрезвычайными цензурными ограничениями дозволенного в «народных» театрах репертуара. В пределы понимания «народной» аудитории — по понятиям далеко не одного только цензурного ведомства — входили в те времена лишь балаган, да мелодрама. Когда, приступая к организации нашего театра, я знакомилась с постановками других аналогичных «народных» театров и вела однажды беседу на эту тему с устроителями Василеостровского театра, который находился в заведывании просветительного общества и пользовался репутацией культурного учреждения, то услышала следующее мнение: «Островский. Нет, Островского ставить нельзя — у вас будет пустой зал. Чтобы собрать публику, нужно ставить мелодрамы, чем кровавее и страшнее, тем лучше».

Мы не пошли по этой проторенной дорожке, и честь, так же как и успех нашего опыта, должны быть приписаны тем талантливым, идейным руководителям, которые стали во главе этого дела. Это были Павел Павлович Гайдебуров с женой, Надеждой Федоровной Скарской, сестрой знаменитой Веры Федоровны Коммиссаржевской, и его помощник А. А. Брянцев, впоследствии создатель театра юных зрителей (ТЮЗ).

Первоначальные цензурные ограничения репертуара отпали, как только нам удалось перейти из категории «народ-

ного» в категорию «общедоступного» театра, но гораздо сложнее было выяснить себе самим и то, *что* мы хотим дать нашей аудитории, и то, *как* мы это хотим и можем дать. Нами была образована театральная комиссия, в состав которой входили руководители театра и его постоянные сотрудники, с одной стороны, и руководители и преподаватели Народного Дома, с другой. Позднее, когда сложилась группа постоянных учеников и посетителей Народного Дома, их представители также вошли в состав этой комиссии. Собиралась она в своем полном составе только два, три в год: весной, по окончании театрального сезона, для подведения итогов и для выработки репертуара следующей зимы, осенью, перед началом сезона и, в случае надобности, среди зимы. Собрания эти бывали часто очень бурными и всегда очень интересными. На них сталкивались два мира, искавшие взаимного понимания и общего языка: мир художественного творчества, в котором всегда живет идеальное устремление к «искусству ради искусства», и мир реального, жизненного преломления, который требует: говори со мной языком, который *мне* понятен, объясни мне, что хорошо и что плохо в жизни, где настоящая правда, дай мне это *почувствовать*, дай посмеяться и поплакать, не показывая мне моей собственной постылой, убогой и тоскливой жизни, которая уже и так набила мне оскомину, а покажи мне или воображаемое прекрасное, или увлекательно благородное и совсем иное нежели то, что меня окружает.

В итоге многих обсуждений мы установили три руководящих принципа для нашего репертуара: 1) ясность психологического рисунка, 2) литературность и 3) отсутствие беспроблемного пессимизма.

Через десять лет своей деятельности, когда впервые подводились итоги работе Народного Дома, Общедоступный Театр насчитывал в своем репертуаре почти все крупнейшие произведения русской и западной драматической литературы, многие из произведений новейших авторов, причем не раз посетитель нашего театра был первым русским зрителем, слышавшим с русской сцены не только современные новинки русской литературы, но и классические произведения Байрона, Бьёрнсона и др.

Одной из величайших технических трудностей для артистов нашего театра было то, что спектакли давались лишь раз в неделю, по воскресеньям. В нашем рабочем районе в будние дни зритель в театр не шел: не было ни времени, ни

средств для этого. Поэтому, каждое воскресенье давалась новая пьеса и лишь изредка можно было повторять в одном и том же сезоне ту же самую постановку. Были пьесы, которые мы повторяли ежегодно. Так, сезон наш неизменно заканчивался «Ревизором», с первоклассным Хлестаковым-Гайдебуровым, под дружный смех и аплодисменты зрителей. Но такая частая смена пьес могла отражаться отрицательно на сыгранности ансамбля. Мы никогда не прибегали к помощи знаменитых гастролеров, Гайдебуров сам подбирал и вырабатывал своих сотрудников. Они нашли выход из этого затруднения, создав параллельно с нашим «Общедоступным» свой собственный, «Передвижной» театр.

Как только весной заканчивались наши спектакли, артисты поднимались как стая птиц с насиженного гнезда и пускались в объезд губернских и уездных городов России. Они несли туда и то, что было ими уже приготовлено у нас, и то, что они включали в свой собственный репертуар, и то, что подготавливали к нашему следующему сезону. Эта постоянная совместная работа давала им возможность достигать такого уровня художественного исполнения, которое было бы невозможно при темпе работы в Народном Доме.

Поднимался с годами и уровень понимания и оценки наших зрителей. Помню представление «Василисы Мелентьевой» в один из наших первых театральных сезонов. Успех у зрителей и пьеса и исполнители имели большой, но очень далекий от художественных эмоций. Среди аплодисментов и оглушительных свистков (высшая степень одобрения и возбуждения), к ногам актеров упали пустые бутылки из-под водки, так называемые мерзавчики, очевидно принесенные с собой в карманах запасливыми зрителями. В сценах, где Василиса кокетничает с Грозным или где он любит ее красотой, исполнителям приходилось выслушивать циничные замечания и интимные советы опытных Дон-Жуанов с Обводного Канала. Поцелуи на сцене подхватывались дружным причмокиванием в зрительном зале. Исполнение пьесы пришлось прервать и со сцены обратиться к зрителям с соответственным моменту «словом». Такое «слово» мы стали предпосылать каждой постановке, которая по своему историческому, психологическому или художественному содержанию требовала разъяснений.

Уровень понимания нашей аудитории, так же как и степень культурности ее интересов и поведения настолько воз-

росли за первые десять лет нашей деятельности, что возможны стали постановки не только классиков нашей родной литературы, но и произведений иностранных авторов, требовавших конечно всегда специальных комментариев. Особенно врезалась мне в память постановка Софокловской «Антигоны», как иллюстрация неумирающей и всепобеждающей силы великого искусства, одинаково понятного и волнующего на расстоянии веков. «Хор» трагедии исполнялся П. П. Гайдебуровым единолично. Он стоял за кафедрой вынесенной сбоку, впереди сцены. Выразительность его чтения превосходила поэтому всякое возможное исполнение текста на действительно «хоровом» начале. Он воплощал собой не только голос вечной мудрости, но являлся выразителем чувств и мыслей и нас, толпы-хора, сидевшей в зале. Через него, стоявшего по *нашу* сторону занавеса, мы сами точно приобщались к действию и весь зал слушал затаив дыхание.

Наш опыт только подтвердил те убеждения, с которыми мы начинали наше дело. Кратко формулировать это убеждение можно так: чем примитивнее и безграмотнее слушатель, тем выше и бесспорнее должно быть качество того, что предносится его вниманию. «Демагогия» во всех сферах человеческой жизни вредна, подла и ядовита. Действительно же художественное, во всех областях искусства, скорее всего находит пути к человеческому пониманию, особенно если последнее предварительно не отравлено уже воспринятой им халтурой.

Вот несколько непосредственных замечаний с листов анкеты, произведенной нами среди посетителей театра на десятом году нашей деятельности. Не мало противоречивых мнений вызвали вопросы о том, какая пьеса понравилась больше, которую из пьес хотелось бы вновь увидеть, всё ли из показанного было понятно и что именно было непонятно. Привожу, для примера, три отзыва.

«Я должен описать вам за шестилетнюю ходьбу в наш театр. Много я видал пьес, драм, комедий. Мне было понятно и хорошо. Я очень заинтересован и очень увлекши. Я ходил редко в другие театры, и только ходил в Малый Театр. Но другие ходят много. Темные люди придут один раз в три месяца и говорят: «ох, какие здесь артисты худые; не умеют играть; вон там, говорят, в Мариинском Театре, там нараспев поют, а тут ничего не стоит. (В Мариинском Театре ставились оперы. С. П.) Это я сумею так сыграть».

И вот однажды приходилось с такими людьми говорить, даже скандалить, но я всегда был защитник вашего театра. Я бы мог написать и более подробно но этим словом заканчиваю». (Слесарь).

«Мне понравились больше всего те пьесы, в которых содержание согласовалось с художественной стороной». (Слесарь).

«Я не получила тот листок, который есть у моего брата, но я всё же хочу написать вам, то есть ответить на ваши вопросы. Я думаю, что вы прочтаете, хотя я и пишу на простой бумаге. Я не могла быть с самого открытия, потому что была мала. Непонятных пьес я не нашла, я готова приходить на одну и ту же пьесу по нескольку раз». (Молодая девушка).

На масленице, в прощенное воскресенье, заканчивались наши театральные представления и постом начинались по воскресеньям концерты и постановки больших оперных отрывков, исполнявшихся под рояль.

В наших музыкальных программах мы руководствовались теми же принципами, на которые я указывала выше по поводу театра. Мы не считали, что балалайка и гармошка должны пользоваться исключительной привилегией «народности», а полагали, что Чайковский, Мусоргский, Бородин, Глинка, Даргомыжский и другие корифеи русской и иностранной музыки являются достоянием всенародным и всечеловеческим. Программы наших концертов строились поэтому либо вокруг какого-нибудь избранного композитора, либо на основе объединяющей темы (концерты духовные, концерты русских народных песен и т. д.). Мы избегали только полной пестроты и разбросанности программы, ибо такие концерты не производили обычно никакого впечатления, не могли они иметь и образовательного значения. Отдельные концерты устраивались нами и для детей.

Несколько раз в год ученики вечерних классов устраивали в нашем большом зале балы, беря на себя роль хозяев и распорядителей. Народу собиралось до тысячи человек. Самым многолюдным и веселым из этих балов был тот, который устраивался под новый год.

Я уже упоминала о тех первых танцульках, которые мы устраивали еще в небольшой нашей квартире на Лиговке, когда последним словом шика считалось, среди местных ремесленников и торговцев, являться на эти вечера в тяжелых

резиновых галошах, с дождевым зонтом в руках, какова бы ни была погода. Этот зонт так и не выпускался из рук за весь вечер и торжественно кружился в вихре вальса, вместе со своим обладателем и его дамой.

Как далеко ушли мы теперь от этих времен «петровского регламента» с его первыми ассамблеями! Как нарядны и милы были уже молодые девушки в своих простеньких, светлых платьях и как аккуратно подтянуто и по-праздничному выглядели их кавалеры и озабоченно хлопотавшие вокруг них ответственные распорядители вечера. Сколько тут было смеха и веселья, сколько серпантина и конфетти!

В убогую, серую жизнь Обводного Канала наконец вошла радость. И оглядываясь теперь назад на всё пережитое, я думаю, что эти балы были одним из лучших начинаний Народного Дома.

В летние месяцы позвать публику даже в просторные помещения Народного Дома было невозможно. И по воскресеньям, и в светлые вечера длинных петербургских летних дней всех тянуло на волю, на воздух, на какую-нибудь мураву, хотя бы на ту, которой поросли могилки соседнего Волкова кладбища. Все занятия летом прекращались, работали только детский сад, ремесленные классы, столовая с чайной и библиотеки, продолжались в уменьшенном виде воскресники для детей и взрослых и усиленно заполнялся посетителями наш сад. Большой зал находил для себя в это время новое применение: в нем устраивалась какая-нибудь выставка. Бывали выставки картин, которые нам охотно давали наши лучшие художники, была выставка по сельскому хозяйству, была выставка научных изобретений.

Особенно памятна мне наша первая картинная выставка, когда мне впервые пришлось столкнуться с той нетронутой целиной не то что художественного, а просто зрительного восприятия, когда человек никак не может понять, не может *увидеть*, что на картине изображена корова, которая по своим реальным размерам никак не могла бы уместиться в пределах висящей перед ним рамки. И как затем, вдруг, с глаз точно спадает какая-то пелена и человек *видит*, что перед ним на полотне ходит по лугу не какая-то фантастическая козявка, а животное совсем похожее на его собственную корову. Это открытие сопровождалось обычно великой радостью. У меня,

к сожалению, не сохранилось одно стихотворение, написанное петербургским извозчиком, «Ванькой», как их тогда называли, после посещения этой выставки. Оно было совершенно изумительно по силе именно этих впечатлений от новых «прозрений», которые после выставки преследовали этого деревенского парня во время долгих часов его сидения на козлах. При всей беспомощности его полуграмотного писанья, он выразил их в стихах, пытаясь словесной музыкой передать охвативший его восторг.

Свое десятилетие мы отпраздновали весной 1913 года, а через год грянула война, нарушившая мирный строй и нормальное развитие нашей деятельности. А между тем, нами намечалось в это время новое, увлекательное добавление к нашему учреждению. Нам был уже пожертвован лесной участок верстах в двадцати от Петербурга, по Финляндской железной дороге. Он должен был превратиться в «дачу» Народного Дома. Чего, чего не мечтали мы там устроить! И детскую колонию, и дом, в который бы могли приезжать для отдыха сотрудники и ученики Народного Дома. Мечтали мы и об огороде, и о молочном хозяйстве. Мечтали обо всем, о чем мечтают жители больших городов, забитые в углы своих тесных коморок, прикованные к стойкам своих лавок, к станкам своих мастерских, задавленные машинами фабрик и заводов. Война помешала осуществлению этой мечты...

Наш десятилетний юбилей сыграл роль поворотного пункта в нашей жизни и в другом, уже вполне реальном, смысле. Мы попали по этому случаю в печать, о нас «узнали», о нас заговорили. А раз узнали, то конечно тотчас же и предъявили требования. Требования эти были дружеские, но настойчивые.

Нужда в народных домах сказывалась всё острее, по мере того как развивалась и усложнялась общественная жизнь в стране, — сказывалась не только в крупных городах и фабрично-заводских центрах с многочисленным рабочим населением, но еще гораздо острее в деревнях, где население было совершенно лишено каких бы то ни было помещений, по размерам своим соответствовавших его экономическим и культурным запросам. А так как по этому вопросу не существовало в то время осведомительного и руководящего центра, то сама жизнь стала превращать наш Народный Дом в такой

справочный центр. Со всех концов России потянулись к нам люди, письма, просьбы дать указания, прислать планы и уставы, каталоги для библиотек, списки чтений и театральные пьес и т. д. Люди пера, люди теоретических и практических обобщений — от них же первый Вл. Ив. Чарнолуцкий — требовали от нас, чтобы мы изложили письменно итоги нашего опыта и составили таким образом руководящую книгу, которая явилась бы основным пособием для работающих в области внешкольного образования вообще и по вопросу о народных домах в частности. Вся наша группа принадлежала как раз к братии не пишущей и взялась за систематизацию нашей ежедневной работы нам было очень трудно. Но сознавая и неотложность этой работы, и ее настоятельную необходимость, считая себя, наконец, морально обязанными поделиться с товарищами по работе своим личным опытом и вынести на общественный суд свои стремления и достижения, кружок сотрудников Народного Дома решил, в конце 1913 г., приступить к составлению этой книги.

Она появилась в печати в первой половине 1918 года и мое введение к ней было написано уже во время моего тюремного заключения, в конце 1917 года³. Начатая в «Санкт-Петербурге» книга была закончена в «Петрограде». Между ее началом и концом легли первая мировая война и российская революция, а меня лично вихрь событий перебросил с одной окраины Петербурга на другую, с Лиговки на Выборгскую сторону, из просторов Народного Дома в тесную камеру одиночного заключения, из рядов «друзей» русского народа — под официальный штамп его «врагов».

Но об этом — в другой главе моих воспоминаний.

С. В. Панина

³ «Народный Дом». Социальная роль, организация, деятельность и оборудование Народного Дома. С приложением библиографии, типовых планов, примерного устава и первой всероссийской анкеты о народных домах. Издание сотрудников Лиговского Народного Дома гр. С. В. Паниной. Петроград, 1918.

К ВОПРОСУ О СОВЕТСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ

Сессии Верховного Совета по большей части носят совершенно рутинный характер, мало отличаясь одна от другой. Но бывают и исключения, когда неожиданные эффекты придают нудной процедуре необычный драматический характер. Так было в феврале 1955 года, когда на заседании Совета было прочитано покаянное заявление Маленкова, вслед за которым Совет «принял» отставку признавшего себя неспособным премьер-министра. Многие ожидали чего-нибудь необычного и от сессии Верховного Совета в феврале нынешнего года. Ждали больших перемен, которые казались неизбежными после прошлогодних событий и возникших в связи с ними разногласий внутри коллективного руководства. Ожидания не оправдались. Но то, что обнаружилось на сессии, было очень интересно в другом отношении, хотя никакой сенсации, подобной отставке Маленкова, и не было. Сенсация — отставка Шепилова — имела место после закрытия сессии, но и она не дала ответа на вопросы о направлении советской политики, о том, кто же победил: «закоренелые сталинцы» или сторонники «десталинизации», продолжается ли «десталинизация» или уже происходит «ресталинизация»?

Ответа на эти вопросы нет. Но нужно ли их ставить? Не делают ли они нас пленниками слов, возникших как условные обозначения для каких-то процессов, но не дающих сколько-нибудь ясного представления об их характере и значении? Если бы можно было говорить, скажем, о демократизации, то было бы ясно, о каком процессе идет речь. Но демократизации нет. А что такое «десталинизация»? Отказ от сталинских методов управления или от основных принципов его политики? От сталинской каррикатурной версии марксизма или только от прежнего безграничного восхваления Сталина? Я не могу не вспомнить ядовитое замечание Мефистофеля о словах, которые во-время появляются, когда не хватает понятий. А затем — «словами диспуты ведутся, из слов системы создаются».

«Сталинизм», «десталинизация» — это именно условные обозначения: «сталинизм» для всего, что делалось, когда Ста-

лин был единоличным диктатором, а «десталинизация» для совокупности всех мероприятий и действий (включая секретную речь Хрущева) коллективной диктатуры, которые представляют собою изменения по сравнению с практикой сталинского периода. Не важно, называть ли эти изменения «десталинизацией» или нет, важны не термины, а мотивы и сущность самих изменений.

Первым из этих изменений был факт, что единоличную диктатуру сменила диктатура коллективная. Не буду повторять того, что я писал по вопросу о возможности или невозможности коллективной диктатуры в статье «Проблема коллективной диктатуры» («Новый Журнал» № 45). Что бы ни произошло в будущем, сейчас перед нами факт, что коллективная диктатура существует вот уже четыре года. Внутри правящего коллектива одни из его членов могут иметь большее влияние, чем другие. Хрущев, без сомнения, оказывает большее влияние на решения Президиума, чем Ворошилов. Но и он не диктует решений, которые являются коллективными, то-есть в случае разногласий принимаются большинством. Меньшинство подчиняется и участвует в проведении коллективно принятых решений. В прошлом году в связи с событиями в странах-сателлитах, внутри коллективного руководства были серьезные разногласия, о которых стало известно не только по слухам. В своей речи, произнесенной в Пуле, Тито достаточно ясно говорил об этих разногласиях, указав, что победили (он выразил надежду, что временно) — сторонники сталинских методов. Внезапно прилетевшим в Югославию Хрущевым Тито был уже раньше информирован о положении, и из контекста речи Тито ясно, что Хрущев был тогда в меньшинстве. Но он своего поста не потерял и по-прежнему выступает с очень ответственными заявлениями. При попытке оказать давление на поляков, прилетевшие в Варшаву члены президиума действовали совершенно солидарно, хотя во внутренней дискуссии некоторые из них — Хрущев и, вероятно, Маленков — не были согласны с другими (Молотовым и Кагановичем). Два года тому назад Маленков стал жертвой внутренних разногласий. Но и после опалы он остался членом Президиума ЦК партии, т. е. коллективного руководства. Была деградация, но не было расправы.

Наследники Сталина решили сохранять коллективную диктатуру прежде всего уже потому, что каждый из них не хочет, чтобы кто-нибудь другой стал единоличным диктато-

ром. Я думаю, что в этом была и главная причина расправы с Берия. Чтобы уменьшить опасность единоличной диктатуры, нужно было ослабить тот аппарат насилия, на который мог бы опереться претендент в единоличные диктаторы, о чем я также писал в упомянутой статье. Повторю только, что ослабление аппарата насилия заставило искать более прочной добровольной поддержки населения, что объясняет многие из проведенных мероприятий, а также и постепенное отделение себя от Сталина. Но были и другие факторы, делавшие существенные изменения политики объективно необходимыми, не позволявшие коллективной диктатуре действовать «по-сталински», как они сами действовали, когда были его сотрудниками и ревностными исполнителями его велений.

Они не могли больше так действовать не потому, что вдруг переродились. В их психике, наверное, произошли некоторые перемены, когда смерть Сталина освободила их от тяжести гнета, под которым и они находились в течение долгих лет. Но, как показало насквозь лживое обоснование расправы с Берия, ликвидированным не за его подлинные, а за грубо вымышленные преступления, вчерашние соратники Сталина не стали ни благороднее, ни честнее. Выражаясь заостренно, они перестали быть злодеями не потому что потеряли способность совершать злодеяния, а потому что поняли необходимость их избегать — необходимость изменения методов управления страной и в особенности ее хозяйством. Тем более, что в составе коллективного руководства сильно представлены «хозяйственно» ориентированные люди. Методы управления страной должны были измениться уже потому, что очень сильно изменилась сама страна. Правда, это изменение происходило при Сталине и под его руководством, но, пока Сталин жил, он, как единоличный диктатор, не допускал изменения методов, необходимость чего с каждым годом становилась всё более очевидной.

В результате изменений, происшедших в стране за время сталинской диктатуры, появилась необходимость гораздо более бережного отношения к человеческой жизни и человеческому труду — необходимость не по моральным, а по чисто деловым, хозяйственным соображениям. И я не сомневаюсь, что нынешние властители это понимают. Нет ничего невозможного в том, что, обеспокоенные проявлениями оппозиции, они в той или иной мере усилят полицейский нажим, увеличат репрессии. Но могут ли они вернуться к беспощадному унич-

тожению действительной или возможной оппозиции, массовыми арестами и ссылками, массовыми лагерным, по существу, рабским трудом? Если смогут, то только в припадке отчаяния и с последствиями чрезвычайно тяжелыми. Потому что нынешняя экономика страны не может выдержать того, что могла выдержать экономика 30-х годов. Массовый террор сталинского образца является предельным пренебрежением к человеческой жизни. Но более бережное отношение к людям стало необходимым, потому что в стране уже нет тех резервов рабочей силы, которые имелись, когда Сталин утверждал свою власть, укреплял систему тоталитарной диктатуры, проводил в то же время насильственную коллективизацию и форсированную индустриализацию, строя «социализм», как он его понимал. Сталин мог истреблять людей потому что их было кем заменить. Сталин мог заставлять миллионы людей работать рабским трудом с его чрезвычайно низкой производительностью, потому что в количестве рабочих рук недостатка не было. Но этих условий, делавших возможными варварские методы сталинской диктатуры, больше нет. «Возможными» в том смысле, что тогда они могли применяться, не вызывая паралича хозяйственной жизни, какую они грозили бы вызвать теперь.

Все, конечно, знают, как изменилось распределение населения в результате его передвижения из деревень в города. Достаточно напомнить, что с 1927 по 1940 год городское население возросло с 26 до 60-ти миллионов (в круглых цифрах), что в промышленности и в строительстве в 1928 году было занято всего 8% населения, а в 1937 уже 24%, что количество рабочих и служащих в 1928 году составляло около 11 миллионов, а к концу 1940 года достигло 31 с половиной миллиона. Если бы этот процесс продолжался в условиях мирного времени, то и тогда прежнее изобилие рабочей силы уже давно бы исчезло. Но условия мирного времени были прерваны войной с ее грандиозными жертвами — огромным количеством убитых, умерших от ран, ставших инвалидами, погибших в немецком плену и, что приобретает сейчас особенно большое значение, с крайне низкой рождаемостью в военные и первые послевоенные годы. Между тем после войны нужны были большие усилия для восстановления огромных разрушений. Процесс форсированной индустриализации продолжался. До недавнего времени продолжалось и выкачивание населения из деревни. Согласно вышедшему прошлым летом статистиче-

скому сборнику «Народное хозяйство СССР», количество городского населения составляло на апрель 1956 года уже 87 миллионов. В сельском хозяйстве образовался очень серьезный недостаток рабочей силы, в особенности мужской. Разительное несоответствие между количеством женщин и мужчин опять-таки приводит к уменьшению числа рождений. Рождаемость вообще очень понизилась за весь период индустриализации. В 1926 году число родившихся было 44 на тысячу жителей, в 1940 г. уже только 31,7. После периода низкой рождаемости в военные и послевоенные годы, она стала устойчивой, составляя с 1950 по 1955 год в среднем за год 26 рождений на тысячу жителей. Но для ближайшего будущего особенное значение имеет именно низкая рождаемость военных и первых послевоенных лет, так как приближаются «тощие» годы, когда приток новой рабочей силы — молодежи достигшей 16-летнего возраста, — будет критически незначительным.

В статистическом сборнике «Народное хозяйство СССР» была впервые с 1939 года приведена цифра населения всего Советского Союза: 200 миллионов 200 тысяч на апрель 1956 г. Так как после войны переписи населения не было, то эта оценка не может претендовать на большую точность. Вряд ли, однако, ошибка могла быть сделана в сторону преуменьшения численности населения. Во всяком случае не может быть и речи об ошибке, преуменьшающей численность населения на много миллионов. Между тем официальная оценка именно на много миллионов ниже оценок иностранных демографов, доходивших в своих подсчетах советского населения до 220 миллионов! Одним из источников такой фантастической переоценки было упорное нежелание учитывать факторы, которые должны были отразиться на очень низкой рождаемости в первые послевоенные годы. Эти факторы — потеря огромного количества мужчин, медленность демобилизации и возвращения в нормальную жизнь бывших пленных, явившаяся в результате войны крайняя нужда, в особенности скудное питание и невообразимые жилищные условия. В разговорах с приезжавшими прошлым летом в Москву американскими специалистами по статистике и демографии руководители советской статистики признали, что в 1946 году рождаемость была еще крайне низкой. Опубликованные теперь данные показывают, что и в следующие годы она повышалась крайне медленно. Я имею в виду статистику числа учащихся в первых

четырех классах общеобразовательной школы. Некоторые данные есть и в упомянутом сборнике «Народное хозяйство СССР», а более обстоятельные в вышедшем позднее статистическом сборнике «Культурное строительство СССР», где приведены цифры учащихся в годы от 1948-49 по 1955-56. Цифры эти нельзя назвать иначе как потрясающими. В учебном году 1948-49, когда и самыми младшими, вновь поступившими учениками были родившиеся еще до войны, число учащихся в первых четырех классах составляло 23,7 миллиона. Затем оно понижалось из года в год до учебного года 1953-54, когда пало до 12 с небольшим миллионов, хотя большинство вновь поступающих были родившиеся уже в 1946 году. Их число, однако, не могло быть значительным уже потому, что послевоенный период рождаемости нужно считать от окончания войны плюс по меньшей мере девять, а более правильно, еще больше месяцев. И в 1947 году рост рождаемости был незначителен, но всё же число учащихся повысилось с 12,1 до 12,66 миллионов. Более значительным был рост в 1948 году. Тем не менее сравнительно простой подсчет позволяет установить, что рождаемость в 1947-48 году ниже рождаемости в 1939-40 примерно на 2,3 миллиона. Тот уровень рождаемости, который является нормой для последних лет (от 24,9 до 26,8, в среднем за 6 лет 26 рождений на тысячу жителей), установился не раньше 1949 г., а, по всей вероятности, лишь с 1950 года. А это значит, что «тощие» годы с пониженным притоком новой рабочей силы, начавшись в 1958 году, продолятся, по всей вероятности, с колебаниями до 1965 года. При такой перспективе бережное отношение к человеческой жизни является повелительной экономической необходимостью. Но, как увидим, не только это.

Как ни серьезна эта перспектива сокращения притока рабочей силы, она не предвещает какой-либо катастрофы и даже не исключает хотя бы и несколько замедленного роста общей продукции — однако лишь при соблюдении определенных условий, которым должна соответствовать политика коллективной диктатуры. Члены коллективного руководства знали правду о положении с рабочей силой и раньше и лучше всех «сторонних наблюдателей». Они понимают, что теперь возможность дальнейшего экономического роста зависит главным образом от поднятия производительности труда, о чем постоянно говорилось за последние годы. Они должны были убедиться и в том, что прежний, так сказать, «стандартный»

метод добиваться более высокой производительности посредством потогонной системы повышения норм выработки уже почти исчерпал свою эффективность. Теперь внимание направлено на другие методы, из которых каждый оказывает в той или иной мере влияние на направление общей политики. Необходимость поднятия производительности сельского хозяйства заставила принимать меры к повышению доходов колхозников. Внедрение новой техники, чему сейчас вполне разумно придается первостепенное значение, связано с признанием превосходства техники в других странах, у которых теперь предписано учиться. Это с одной стороны заставляет искать контактов с Западом, а с другой вообще подрывает одну из баз советского шовинизма и разрушает легенду об упадочном, «гнилом» Западе. Обеспокоенное установившимся низким уровнем рождаемости, коллективное руководство стало уделять усиленное внимание жилищному строительству, потому что после преодоления прямых последствий войны низкая рождаемость в значительной мере является следствием жилищной нужды. И вообще диктатура уже не может не считаться с фактом зависимости производительности труда и от материальных условий жизни и от психического самочувствия трудящихся, от условий труда, которые должны быть лишены униженности и не связаны с лишней тратой энергии, от возможностей оздоравливающего отдыха и в частности доступности развлечений, действительно развлекающих и увлекающих, а не досаждающих казенной пропагандой. Экономическая необходимость заставляет думать о человеке, как бы чуждо ни было ученикам и соратникам Сталина уважение к человеческой личности.

По существу на той же линии находятся и проблемы реорганизации системы управления страной, ограничения бюрократизма и проведения той децентрализации, на которую всё больше и больше напирает коллективное руководство. В этой области последняя сессия дала очень интересный материал, обогащенный еще постановлениями Пленума ЦК, состоявшегося сейчас же после сессии Верховного Совета.

Игравя словами, можно сказать, что вопрос о децентрализации приобрел сейчас центральное значение. Но прежде чем к нему обратиться, я укажу еще на одну проблему руководства предприятиями и организациями, которая имеет ясно выраженную политическую сторону. Это вопрос о боязни от-

ветственности, о котором — далеко не в первый раз — была речь и на сессии Верховного Совета. В своем докладе Первухин говорил о том, что «некоторые хозяйственные руководители центральных как и местных органов уклоняются от самостоятельного решения вопросов в соответствии с предоставленными им правами. Они с трудом отвыкают от старых методов работы и... по-прежнему пытаются переложить решение всех дел на госэкономкомиссию и правительство». Переложить решение значит переложить и ответственность. Дело именно в боязни ответственности. Именно вследствие нее руководители уклоняются от пользования предоставленными им правами. Преодолеть эту боязнь можно будет только тогда, когда люди будут не только иметь предоставленные им на бумаге права, но и верить, что они ограждены твердыми правовыми гарантиями от царившего в течение десятилетий произвола. В это руководители, о которых говорил Первухин, видимо, еще не верят, несмотря на все заверения и на те мероприятия, которые коллективное руководство проводит ради «восстановления социалистической законности». Поверить всё еще рискованно.

Коллективная диктатура, без сомнения, хочет, чтобы граждане чувствовали, что они ограждены от произвола правопорядком, на который можно положиться. А граждане жаждут законности, ограждающей их от постоянной тревоги, от бессудных расправ, неожиданных арестов, от всяких придинок. Но может ли правовой порядок, ограничивающий произвол власти, быть осуществлен властью, которая хочет оставаться неограниченной? По всем рассказам, страха в стране стало гораздо меньше, но полной уверенности в будущем, как общего явления, еще нет. Люди надеются, что возврата к сталинскому прошлому уже нет, и всё же думают, «а кто их знает?»

Аналогичные противоречия проявляются и в проводимой теперь политике децентрализации. Эта политика диктуется очень существенными практическими, а также и пропагандными соображениями. Но как далеко планируемая децентрализация может идти? В какой мере она будет реальной? Судя по всему, что стало известно о еще не принявших окончательной формы проектах, децентрализация должна быть осуществлена опять-таки без ограничения прав центральной власти. Такого рода «децентрализацию» лучше называть, следуя терминологии некоторых авторов, «деконцентрацией». Ведь она в сущности сводится к тому, что центральная власть сохраняет всю полноту своих прав (если в случае диктатуры можно

говорить о ее правах), но органы этой власти не «концентрируются» в столице, а широко распределены по различным местным центрам. Децентрализация же в строгом смысле слова может быть только там, где существуют какие-либо единицы (области, города) с неотъемлемыми правами, на которые центральная власть не может посягать. При таком понимании можно сказать, что степень децентрализации измеряется объемом прав местного самоуправления. Но до такой децентрализации предстоящие реформы не доходят.

На первый взгляд исключением является предоставление отдельным республикам таких новых прав, как организация собственного судопроизводства, составление собственных судебных кодексов, как это было постановлено на сессии Верховного Совета. Это может быть вполне целесообразным приспособлением к привычкам и понятиям различных народностей, но ограничения центральной власти в этом не будет — и по очень простой причине. А именно потому, что все республики управляются коммунистами и центральная партийная власть, формально соблюдая права автономных правительств, может предписывать им всё, что хочет, в порядке партийных директив.

Много сложнее обстоит дело с децентрализацией управления планированным хозяйством. Тут предполагается весьма радикальная перестройка. Как Хрущев сказал американскому журналисту Джорджу Алсопу, предстоит упразднение всех индустриальных министерств как в центре, так и в отдельных республиках. Хрущев охарактеризовал предстоящие на основании решений Пленума ЦК перемены как «абсолютно фундаментальные», согласно переводу Алсопа. Весь Советский Союз должен быть разделен на экономические области, управляемые «территориальными экономическими советами».

По словам Хрущева руководящие органы каждой такой области будут составлять свои планы, которые затем будут рассматриваться Госпланом, чтобы была достигнута необходимая согласованность отдельных планов между собой и чтобы была обеспечена их максимальная эффективность. Будет ли составляться единый общегосударственный план? В отчетах Алсопа о его интервью с Хрущевым и председателем Госплана Байбаковым на это нет никаких указаний. Надо думать, что такой план будет складываться как своего рода «федерация всех областных планов». Если Госплан будет иметь по существу только координационные функции и не будет вмешив-

ваться в практику выполнения планов, то территориальные советы получают такую степень автономии, что налицо будет действительная децентрализация. Но что же будет делать Госэкономкомиссия, которая только что получила усиленный — и очень внушительный — состав руководства, а также оперативные функции? Это неясно.

Одна идея такой перестройки наверное вызвала бы взрыв ярости у Сталина, который был фанатиком централизации: всё держать в своих руках. Именно в этом случае особенно ясно, как отход коллективной диктатуры от сталинских традиций диктуется практической необходимостью. В разговоре с Алсопом Байбаков откровенно признал, что абсолютно централизованное правительство просто не в состоянии справиться с управлением таким огромным экономическим целым, которое выросло теперь в Советском Союзе. В частности, Байбаков признал неспособность центральных планирующих органов успешно бороться с тенденцией отдельных министерств создавать для себя своего рода самодовлеющие хозяйственные «империи». Эти тенденции, приводящие к расточению рабочей силы и материальных средств будут радикально искоренены... упразднением министерств.

Похоже на то, что коллективная диктатура, полностью сохраняя свою абсолютную и неограниченную власть, хочет несколько сузить ставшую непосильно широкой сферу ее прямого применения. Это могло бы объяснить многое в политике коллективного руководства. Но прежде чем об этом говорить, я должен еще несколько дополнить предыдущее изложение. Не пытаясь «объять необъятное», я выделил группу вопросов не охватывающую всех проблем диктатуры в области внутренней политики и совершенно оставил в стороне такие обширные области, как вопросы внешней политики, проблемы советской империи и взаимоотношений с иностранными коммунистическими партиями и пропаганду во внешнем мире. При всей законности такой изоляции нужно считаться с тем, что она неизбежно связана с известной односторонностью. В особенности нужно иметь в виду, что действия советской власти часто имеют не одну, а несколько мотивировок. То или иное из них может мотивироваться и чисто внутренними и внешнеполитическими соображениями и интересами пропаганды. Это очень ясно в случае одного мероприятия, относящегося к выделенной мною группе вопросов, — сокращению численности вооруженных сил, сначала на 640

тысяч, потом еще на 1.200 тысяч. При преобладающей трехлетней службе, это сокращение означает, что каждый год будут призываться на 600 с лишним тысяч человек меньше. Это равносильно увеличению рабочей силы на то же количество человек. Сокращение вызывается экономической необходимостью, но в целях внешнеполитических и пропагандных оно изображается как проявление миролюбия советской политики в отличие от «воинственности» противной стороны. В том же духе советская пропаганда старается использовать и каждое, хотя бы минимальное, сокращение *явного* военного бюджета, тогда как скрытая часть этого бюджета в то же время может возрастать. Сокращение численности вооруженных сил, конечно, не означает ослабления военной мощи и не исключает возможности ее роста. Конечно, оно проводится в соответствии с существующей и в других странах тенденцией: сокращая число людей, делать вооруженные силы всё более механизированными и специализированными. Меньше всего можно заподозрить коллективное руководство в ослаблении его внимания к так называемым «задачам обороны».

Но так же ошибочно считать, что всё, что делает советская власть в первую очередь определяется подготовкой к возможной войне или на случай войны. Эта подготовка играет огромную роль. Именно она мотивирует теорию «преимущественного развития тяжелой промышленности», говоря о чем Первухин в своем докладе о плане на 1957 год заметил: «Наша армия оснащена современной военной техникой, которую изготавливает тяжелая промышленность». Но, как я старался показать, та эволюция советской политики, которая получила условное название «десталинизации», в основном определяется внутренними факторами. Вряд ли можно найти общую формулу для характеристики этой эволюции. Политика наследников Сталина гораздо более эмпирична, чем идеологична. Вообще идеология в Советском Союзе находится в жалком состоянии, беспомощно оперируя старыми догмами, явно неприменимыми к новым условиям. Можно ли всё еще рассматривать советский режим как «идеократию»? Здесь я могу только поставить этот вопрос для дальнейшей дискуссии. Но из приведенных в настоящей статье соображений естественно вытекает, как заключение, другой вопрос: не проявляются ли в эволюции советской политики признаки кризиса тоталитаризма? Я говорю о тоталитаризме не как об абсолютно неограничен-

ной, а как о всеохватывающей власти. Абсолютизм не ограничен в своей власти решать, но он всегда имел лишь ограниченную сферу воздействия на различные стороны жизни страны. Тоталитаризм не ограничен и в этом отношении. Именно поэтому он представляет собою явление нового времени, только в это время возможное — по крайней мере в государствах сколько-нибудь значительных размеров. Власть может всюду проникать только при современной технике сообщений — благодаря железным дорогам, автомобилям, телеграфу, телефону, радио. Она должна иметь современное вооружение, абсолютно недоступное простым гражданам. У советской диктатуры есть все эти материальные предпосылки тоталитаризма в более чем достаточном объеме. Но советский тоталитаризм складывался в сравнительно примитивных экономических и социальных условиях (конечно, подчеркиваю, сравнительно). Как бы предчувствуя предстоящие трудности, он неуклонно проводил политику примитивизации интеллектуальной жизни, что становится гораздо труднее по мере роста образованности и необходимости иметь высококвалифицированные научные и экономические силы. Особенно важно то, как возросли размеры индустриального хозяйства и как усложнилась его структура. Не чувствуют ли наследники Сталина, что им не по силам нести ставшее слишком тяжелым бремя всеохватывающей власти — бремя тоталитаризма? Из центра за всем не уследишь — так если не буквально, то по смыслу его слов, вздыхал Байбаков в разговоре с Алсопом. И многие послабления послесталинского времени можно рассматривать как частичные ограничения сферы постоянного воздействия государственной власти.

В этом можно видеть тенденцию развития от тоталитаризма к абсолютизму более традиционного типа. В этой тенденции нельзя видеть никакой демократизации, потому что власть остается абсолютной и не допускает ограничений свободы ее решений никакими не ею установленными нормами или не ею управляемыми органами. Но как далеко может идти ограничение всеохватывающего характера власти без ограничения ее абсолютизма? Мы видели, в особенности на примере децентрализации, как стремление разгрузить центральную власть наталкивается на предел, который ставит этому стремлению нежелание допустить малейшее ограничение абсолютной власти. И параллельно — каждый шаг, дающий лю-

дям дышать вольнее, расширяет возможности оппозиции, т. е. потенциальной угрозы для абсолютизма власти. Это противоречивое развитие позволяет, по моему мнению, по меньшей мере гипотетически, считать кризис тоталитаризма одним из аспектов эволюции советской политики.

Ю. Дениже

СОРОК ЛЕТ

Так случилось, что каждая следующая «декада», отдалявшая нас от февральской революции, давала мне повод и возможность откликнуться на нее в печати. Перед тем, как сделать это в четвертый и, надо думать, в последний раз, я просмотрел свои отзывы о Феврале в 1927, 37 и 47-ом годах. Писал я о том же, но не то же. Общий подход и оценка оставались прежними, но содержание было разное: на каждом отклике лежал отпечаток времени. И сейчас, глядя на Февраль из сорокалетнего далёка, могу повторить основное сказанное прежде, с учетом происшедшего за последнюю «декаду».

1917-27

Когда минуло первое десятилетие, я дал в «Современных Записках» (т. 31) своего рода апологию Февраля, каким я его пережил и осознал. В самом общем виде намечены были социальные и политические причины, обусловившие революцию, и внутренний, исторически-непреодолимый смысл Февраля, несмотря на превратности последующей его судьбы. Этот смысл мне виделся в том, что Февраль был *национальной революцией*. И не только потому, что в нее вложились все народы России, все классы и все политические, общественные, религиозные группировки и даже официальные учреждения. То была национальная революция и потому, что впервые в истории России народ — или народы России — из объекта управления превратились в субъект властвования. Впервые ощутили они себя как целое или единство, неотменимое никакими последующими искажениями или потерей лица. Февраль был не только эпилогом трехвекового периода русской истории. Он был, как мне казалось и кажется, и прологом к будущему России, неотделимому у каждого народа от его национальной революции.

Изложение смысла Февраля я сопровождал сравнением того, что выдающиеся русские люди говорили о февральской революции под непосредственным впечатлением от нее, по живым

следам, и что те же лица говорили о ней позднее, после неудачи Февраля и личных разочарований.

Когда произошла революция, кн. Евг. Трубецкой писал: «революции национальной в таком широком понимании, как нынешняя, русская, доселе не было на свете». Февраль благословлялся всеми и считался благословенным. З. Н. Гиппиус позднее вспоминала, как «печать богоприсутствия лежала на лицах всех людей, преображая лица. И никогда не были люди так *вместе*, ни раньше, ни после». И даже не в первые дни и недели после Февраля, а несколько позднее, П. Б. Струве отмечал: «Мы все испытали громадный и спасительный нравственный толчок... Мы пережили историческое чудо. ...Оно прожгло, очистило и просветило нас самих».

Прошло всего несколько лет, и для того же автора русская революция обернулась «загадкой». Оказалось, не «объективные условия народа» вызвали революцию и вовсе не народ ее делал, — народ «гораздо более жертва революции, чем ее делатель», «в известном смысле 'народ' абсолютно беспспорен лишь поскольку он сдан в мертвецкую историю», он не творец истории, а «в известном смысле творится и должен быть творим». И революция была «государственным самоубийством русского народа», «всего больше глупым делом». За Струве последовал его друг, философ С. Л. Франк, сделавший еще более широкое обобщение: «телеологически и исторически» всякая революция всегда безумие, болезнь, «бессмыслица и потому преступление» («Русская Мысль» № 1 за 1921 г. и № 6 за 1923 г.).

Это были вершины — или великаны — русской философской и социологической мысли. Их ученики и последователи, К. О. Зайцев, И. А. Ильин, С. П. Мельгунов и др., стали после этого как бы состязаться в том, кто задним числом возведет на Февраль более резкую и яркую хулу. Это была не только анти-историческая оценка, проходившая мимо реальных условий, в которых революция произошла. Это была и тенденциозная, несправедливая оценка: судили и осуждали Февраль не за его лишь грехи и преступления, свершенные в ходе событий, а и за грехи и преступления Октября, Февраль разгромившего. Привычным стало преемственность во времени (*после* Февраля — Октябрь) подменять причиннозависимость — Октябрь следствие или порождение Февраля.

Хулители Февраля, конечно, отлично знали, что «после» не равнозначно «вследствие» и прегрешения Февраля они

не вменяли в вину предшествовавшему режиму. Наоборот, они подчеркивали, что Февраль есть отрицание дореволюционного порядка и прямая ему противоположность. Ничего другого не утверждали ведь и сторонники Февраля, когда доказывали, что между ним и Октябрем такая же пропасть, как и между ним и самодержавием, и что Октябрь никак не «вытек» из Февраля, а был его предельным отрицанием. То, что возникло после Февраля, оказалось во многом хуже того, что было. Октябрь был в известном смысле возвращением к дофевральскому периоду русской истории. И в новой экономической политике напрасно стали усматривать начало конца большевизма, спуск на тормозах, «термидор».

1927-37

Следующее десятилетие принесло две «пятилетки» с коллективизацией деревни, истреблением кулака и подкулачника «как класса», созданием новой социальной группы «беспризорников», «организованным понижением культуры» и первым публичным процессом старых большевиков. Наряду с этим Сталин отметил «головокружение от успехов», даровал ряд ничтожных милостей крестьянству и, главное, опубликовал новую «демократическую» конституцию 36-го года с правами человека и гражданина, четыреххвосткой и проч.

Оптимисты во что бы то ни стало опять решили, что всё худшее позади — неминуемо наступление новой эры. Даже такой непримиримый к большевизму орган, как «Новая Россия» А. Ф. Керенского, отдал дань охватившим эмиграцию настроениям. Редакция обратилась через голову советской власти с воззванием «К стране». В обращении говорилось: «Мы хотели бы верить, что принятие новой конституции будет поворотным моментом также и в истории нашей родины». И уже не в качестве исповедания веры, а положительной меры, рекомендовалось — и жирным шрифтом подчеркивалось: «Нужно участвовать в выборах и воспользоваться всеми возможностями для проведения своих требований» («Новая Россия» № 16 от 15. XI. 36). Такое легкоеверие, конечно, не всеми разделялось.

Итоги тому, что получилось после двадцатилетнего владычества большевиков, я пробовал подвести в небольшой статье «Двадцать лет спустя» в «Русских Записках» (№ 1). Коснулся я всех трех основных проблем — мира, земли и во-

ли, — которым Октябрь дал свое разрешение. И моим выводом было: несмотря на фактическое торжество большевизма, по существу, идейно, крушение потерпел он, а не поверженный им в прах Февраль.

Мы, люди Февраля, писал я, были за скорейшее окончание войны, — но в рамках общего мира, а не сепаратного, предательского, отнюдь не выводившего страну из войны, а только перебрасывавшего Россию из внешней войны в войну гражданскую. Таков был план Ленина еще с 1915 года и он был полностью осуществлен. Гражданская война продолжалась, когда мировая война давно уже кончилась, — не в результате мировой революции, как рассчитывал и предсказывал Ленин, а благодаря победе «империалистов», бывших союзников России. За два года до того, как началась вторая мировая война, я ощущал, что «и по сей день Россия продолжает быть одним из главных возбудителей военной тревоги, треплющей Европу».

В течение многих лет большевики только и делали, что издевались над «империалистической» Лигой Наций. А к чему пришли? Сами стали напрашиваться в эту Лигу, чтобы через четыре года, после коварного нападения на Финляндию, быть из Лиги изгнанными.

Не лучше обстояло дело с разрешением земельного вопроса. Октябрь как будто передал землю трудящимся, но тут же стал отбирать у них плоды земли при помощи своих «комбедов» и «продотрядов». Последующая же коллективизация деревни сопровождалась, как известно, уже отображением «рабоче-крестьянской» властью не одних только продуктов земли, но и самой земли. Крестьянству Октябрь обошелся кроме того в 10 миллионов жертв голода 21-22 и 32-33 гг. Февраль стоял за радикальное решение земельной проблемы, но не путем прямого действия — «грабь награбленное» — и потакания стихии, а посредством планомерной передачи земли, в согласии с исконным крестьянским правосознанием и с утверждения Всероссийского Учредительного Соборания. Кто же был более прав: Октябрь или Февраль?

То же можно сказать и относительно государственного устройства. Февраль утверждал личную свободу и демократическое управление на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. Октябрь пришел с категорическим отталкиванием от этих начал, как злостной выдумки буржуазии. Утверждения Октября покоились на отрицании Февраля и то-

го, что утверждал последний. Так Февраль проектировал Декларацию прав человека и гражданина, а Октябрь — как бы в пику Февралю — надумал свою «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Стала превозноситься советская система, основанная на не-всеобщем, не-равном и не-прямом голосовании, — возвращавшаяся к давно изжитым образцам куриального представительства не граждан, а групп, социальных и территориальных (фабрик, воинских частей, железных дорог, кооперативов). Ленин считал попытку сочетать советскую систему с демократической — «нелепой», «вскрывающей до основания духовное убожество желтых социалистов и социал-демократов, их реакционную мелко-буржуазную политику».

Советская система возникла в анархический, или пугачевский период Октября, в период хаоса и импровизации. И она была объявлена исключительно благостной, социалистической формой правления.

Но пугачевскому периоду Октября пришел на смену аракчеевский, и первоначальная советская система полетела вверх тормашками. Новая конституция сохранила прежнюю монополию коммунистической партии на управление, но официально реабилитировала и демократию, и четыреххвостку, и личные права человека и гражданина. По образцу всех «буржуазных» конституций и в советской конституции появилась особая глава X-ая об «Основных правах и обязанностях граждан» и исключена была искусственно надуманная «Декларация трудящегося и эксплуатируемого народа». Отныне именно новый вариант советской системы управления признан был единственно благостным и социалистическим.

Можно ли после этого отрицать, что Октябрь идейно капитулировал перед тем, что защищал Февраль — капитулировал, конечно, скрывая это и обманно выдавая то, к чему он пришел, за якобы нигде небывалое и лишь Октябрем последовательно осуществленное?

С идейной капитуляцией Октября и начавшейся одновременно расправой с его виднейшими творцами, Каменевым, Зиновьевым, Ив. Смирновым и другими, от Октября стали отходить даже его былые приверженцы. И внешне возникала аналогия с обстановкой, предшествовавшей Февралю, когда от самодержавия стали постепенно отходить не только рабочие, крестьяне и разночинная интеллигенция, но и знать, монархически настроенные члены Государственной Думы, Государ-

ственного Совета, Синода, целые линии царствовавшей семьи — «Владимировичи», «Михайловичи», «Павловичи».

И в 37-ом году можно было задать вопрос: кто же с гениальным и незаменимым «отцом народа» не страха ради, а за совесть и по убеждению? Какие классы, группы? Рабочие? Молодежь? Большевики партийные или беспартийные?.. После «случая» с Ягодой Сталин не мог быть вполне уверен даже в террористическом своем аппарате. Как и двадцать лет перед тем, «долой» объединяло громадное большинство российского населения. Но что противопоставить в качестве положительного призыва, оставалось неясным: у каждой группы было свое «во имя» и свое «да здравствует!» «Контрафорсы» противников подпирали режим, умышленно создававший всеобщий разброд и распыление.

Выводом из двадцатилетней практики Октября я считал наглядный «показ» миру, что такое мнимый социализм. Как на уроках лже-конституционализма мир извлек поучение о конституционализме подлинном, так, надеялся я, на уроках лже-социализма мир познает, как невозможно и как не следует строить социализм. Мне представлялось, что, может быть, в этом и раскрывается исторический смысл эпохи и лишений, пережитых Россией, — «великий урок для отдаленного поколения», как писал Чаадаев об эпохе Николая I. Всё это было до второй мировой войны, открывшей собой новую эпоху.

После первого десятилетия Февраля я писал, что он представляется нам не таким, каким все мы его знали и пережили: многое для нас переставилось, многое стало чувствоваться по иному, многое по иному и осознаваться. После второго десятилетия эпиграфом к своей статье я взял слова Герцена: «Мы не знали того, с чем вступали в бой, но бой приняли. Сила сломила в нас многое, но она нас не сокрушила, и ей мы не сдались, несмотря на все ее удары».

1937-47

Февралю исполнилось 30 лет после второй мировой войны. К тому времени в России более 80% «работников умственного труда» составляли, по советским данным, люди, «прошедшие школу воспитания уже в советскую эпоху». Другими словами: «две трети действующих в России сил — в возрасте 35 лет и являются продуктом советского воспитания». Они не помнили Февраля и знали о нем лишь по наслыш-

ке или по каррикатурному изображению и злостному истолкованию сталинскими историками-лауреатами. И в эмиграции всё убывало число живых свидетелей Февраля. Да и из тех, кто остались, многие были ошеломлены неожиданными победами советского оружия и народов России под советской властью. Время и победы смягчали отношение к Октябрю.

Разум, как известно, услужливый сводник и в меру смягчения отношения к Октябрю, умалялся в историческом значении — политически, социально, национально — и Февраль.

Даже убежденные анти-коммунисты и светлые головы отдали дань патриотическому угару. Незадолго до своей смерти П. Н. Милюков в «Правде о большевизме» 1942 г. заявил, что февральская революция «подготовила Брест-Литовск и раздел России»; Октябрь же был «настоящей революцией в собственном смысле слова, разрушительно-творческой и органической частью русской истории». По существу это было повторением тезиса Милюкова, высказанного еще в 1927 г. в «России на переломе», будто всякая революция «должна следовать своему неизбежному курсу и не может остановиться на середине. Революционный пожар *должен* выжечь до тла всё, что уцелело от низвергаемого порядка» (Подчеркнуто Милюковым. Т. 1, стр. 41). Правда, в 29 г., в очерке, посвященном памяти А. И. Шингарева, П. Н. Милюков говорил другое — о «прямой дороге», с которой свернул Октябрь и на которую «Россия должна вернуться, чтобы продолжить свое историческое шествие по правильному, широкому, хотя и долгому, пути» («Памяти погибших». Сборник, стр. 44). Но это было лишь личной непоследовательностью.

И философ культуры Н. А. Бердяев, одно время проклинавший и Февраль, и Октябрь, теперь утверждал: «Принятие февральской революции и отвержение революции октябрьской есть непонимание исторического процесса, — непонимание того, что революция едина и имеет разные стадии своего разворачивания» («Русский Патриот» № 16. Май 1945 г.).

Одни Февраль позабыли. Другие его исказили, растворили и утопили в Октябре. И руку к тому приложили не одни только зубры или большевики.

Обо всем этом я упоминал в «Новом Журнале» в 47 г., возвращаясь мыслью к Февралю «из тридцатилетнего далёка». Однако главной темой статьи было другое: стоило ли вообще делать революцию? Надо ли было свергать самодержавие, чтобы получить не взамен, а хотя бы в итоге, советский строй

с диктатурой партии и получить не на недели и месяцы, как были убеждены все, все, все, — от жандармов и ненавистников революции справа и до Ленина с Троцким, — а на годы и десятилетия, которым не видать еще конца? Следовало ли повторить слова Шингарева, записавшего 5 января 18 г. в дневник, который он вел в Петропавловской крепости: «Я не жалею о происшедшем. *Готов повторить его* (подчеркивал Шингарев) и не опасаясь будущего... Я приемлю революцию и не только приемлю, но и приветствую, и не только приветствую, но и утверждаю»?

А. И. Шингареву только краешком глаза дано было видеть Октябрь в его первые «героические» месяцы. Он не мог предвидеть ни того, что через сутки после своей записи будет с Ф. Ф. Кокошкиным зверски умерщвлен в больнице, ни Брестского мира, ни затянувшейся на годы гражданской войны, ни людоедства 1920-21 и 1932 годов, ни людодерства ВЧК, ОГПУ, НКВД и МВД, ни пыток, ни казни 12-летних, ни рабского труда в концлагерях, ни «спаянной дружбы» с Гитлером, сопровождавшейся новой мировой войной с миллионами убитых и искалеченных, физически и морально, с газовыми камерами и прочим. Шингарев считал, что «наивно и близоруко думать, что революцию можно *делать или не делать*: она происходит и начинается вне зависимости от воли отдельных людей». Более спорно его утверждение, что «когда революция произошла, бесцельно говорить, хорошо это или плохо». Практически это, конечно, «бесцельно» в отношении к уже происшедшему. Но как отнестись к возможной в будущем революции? Как быть до того: желать ли ее? Способствовать ли ей в меру возможности?

Как следовало ответить на этот вопрос в 47-ом году в свете пережитого тридцатилетнего опыта? Уже задолго до этого — не помню точно когда и в каком органе — я упомянул, что «любовь к революции мы давно потеряли», — что вызвало отповедь со стороны бывшего моего лидера В. М. Чернова: «Взаимность в этом деле ему (Вишняку) вполне обеспечена... Революция разлюбила его еще раньше, чем он разлюбил революцию» («Революционная Россия» № 65 за 1928 г.). Но признание в любви или не-любви не было ответом на вопрос. В статье «Из тридцатилетнего далёка» я точнее и в общем виде утверждал, что, судя по итогам, революцию делать не стоило.

Революция ищет для себя оправдание в том, что способ-

ствует прогрессу, росту грамотности, индустриализации, политическому самосознанию. Но и это не всегда случается, а когда случается, «издержки производства» столь огромны, что результаты их не оправдывают. Со времени Герцена революция признается наименее желанной, а со времени Жореса и «варварской формой прогресса», — «отчаянным средством». Серьезные исследователи доказывают, что двадцать пять лет кровавой диктатуры привели Россию демографически, индустриально и культурно, в смысле элементарной грамотности, приблизительно к тому же, к чему она пришла бы и без революции, развивая наметившиеся раньше тенденции. Сослагательное наклонение с частицей «бы», конечно, не может не произвести неблагоприятного впечатления. Но если бы даже расчеты исследователей были неверны и завоевания революции были бы неизмеримо больше того, к чему страна могла бы придти без революции, неопровержимым остается, что *политически* Октябрь вернул Россию по меньшей мере на столетие назад, — ко времени Николая I, если не Павла. Здесь «прогресс» обернулся явным и ужасающим регрессом: Октябрь унизил человека и извратил все его духовные ценности — идеи демократии, социализма, гуманизма были использованы для прикрытия небывалой в истории тоталитарной диктатуры.

Другое дело февральская революция. Она была не только вестью о свободе, но ее апофеозом — для человека, для трудящихся, для иноверцев и иноплеменников. В излишестве свободы, в несоподчиненности ее другим ценностям сказался в значительной мере порок Февраля, — к своей власти народ оказался особенно требовательным, не мирился ни с какими ограничениями. Политически прогресс Февраля по сравнению с предшествовавшим и следовавшим за ним режимами может оспаривать лишь тот, кто забыл прошлое: «громадный и спасительный нравственный толчок», то «чудо, которое прожгло, очистило и просветлило нас самих» после Февраля, — и ужасы и казни, которые сопровождали Октябрь.

За тридцать лет Россия как бы завершила круговорот, предусмотренный Временным Правительством. В обращении, опубликованном 26 апреля 1917 г., Временное Правительство предостерегало: «Перед Россией встает страшный призрак междоусобной войны и анархии, несущей гибель свободы. Есть мрачный и скорбный путь народов, хорошо известный истории, — путь, ведущий от свободы через междоусобие и анархию к реакции и возврату деспотизма». Это было вешее:

предостережение: Россия прошла свой скорбный путь до конца, и после второй войны она оказалась перед многими из тех же проблем, которые стояли пред Февралем. Все благие надежды, что после второй отечественной войны «не может» не произойти того же, что произошло после первой отечественной, увы, не оправдались. СМЕРШ Берии был восполнен культурной ежовщиной Жданова. И снова воскрес старый вопрос: как выйти на путь свободы? Коммунистическое самодержавие оказалось бездушнее и гнуснее царского. «А в таком случае — заключал я статью — России как будто вновь не избежать наименее желанного, варварского пути развития». «Эволюция», которая желательна, может оказаться невозможной, и тогда снова станет неминуемой революция.

1957-

И из сорокалетнего далёка основное в оценке Февраля представляется нерушимым.

С течением времени, располагающим к историческому подходу, — что не дано современникам, — учащаются попытки даже со стороны сторонников Февраля признать его крушение как бы предрешенным: он будто бы с самого начала был обречен. Сознательно или бессознательно такое утверждение покоится на мнимо-научном основании: что было, было неминуемо и потому не могло не быть, иначе его не было бы.

Предрешенность — или обреченность Февраля — видят в разном: в том, что, будучи отсталой, безграмотной, экономически слабо-развитой и политически невоспитанной, Россия не могла справиться с поставленными революцией громадными задачами. Обреченность была предрешена и тем, что война должна была «съесть» Февраль, ибо он не был в состоянии «съесть» войну. На бесчестный сепаратный мир Февраль не мог и не должен был пойти, а общий мир «без аннексий и контрибуций» с признанием права на национальное самоопределение» исключался политикой союзных с Россией стран.

Именно так склонен объяснять трагическую судьбу Февраля С. М. Шварц. Свою статью в февральском номере «Социалистического Вестника» автор озаглавил «Обреченность февральской революции». Она носит некрологический характер и, вопреки желанию автора, может быть понята, как косвенное оправдание Октября, — не морально-политическое, конечно, а историческое. Ибо если Февраль был обречен, октябрьская метла сделала положенное историей дело.

Подчеркиваю: С. М. Шварц такого вывода не делает. Больше того: содержание статьи опровергает ее заглавие. Там говорится, что «обреченность (февральской революции) не была абсолютной». Это равносильно утверждению, что она вовсе не была обречена: не-абсолютная обреченность перестает быть обреченностью, ибо допускает возможность и некатастрофического исхода революции.

К своему выводу об обреченности Февраля Шварц пришел на основании докладной записки государю председателя 4-ой Государственной Думы Родзянко о «катастрофическом» положении продовольствия, топлива, транспорта и т. д. Если такие люди, как председатель Государственной Думы, московский городской голова, общество фабрикантов и заводчиков впали в «панику», — «дальше, кажется, некуда было идти. Россия находилась на краю пропасти», заключает С. М. Шварц.

Это так и это совсем не так.

Это так, если исходить из *психологии* того времени, — какое впечатление продовольственная и иная нужда производила на уставшее от двух с половиной лет войны население и как оно реагировало на неурядицу. И это совсем не так, если припомнить, что Россия не только накануне Февраля, но и в течение последующих восьми месяцев всё-таки питалась, передвигалась, не замерзала и как никак вела войну*. Покойный М. А. Алданов как-то заметил, что о «продовольственных затруднениях» как «причине революции» историку после 1920 г. писать «будет неловко». Алданов тоже был прав и неправ. Продовольственное положение накануне революции не исчерпывалось одними «затруднениями», оно было весьма неблагоприятно. Но никакого «вулкана», на котором мы будто бы тогда сидели, или «края пропасти», которая перед нами «разверзлась», конечно, не было. И положение не могло идти

* Летом 17-го года численность германских армий на русском фронте превышала численность их на протяжении всего предыдущего времени, — удостоверял отчет русского Верховного Командования от 19 сентября 17 г. союзному командованию. «18 июня численность вражеских дивизий на русско-германском фронте была та же, что 27 февраля (т. е. накануне революции. М. В.). Когда же бои в Западной Галиции и Буковине были в разгаре, вражеские силы были увеличены на 9½ пехотных дивизий. При этом увеличение произошло за счет германцев, число же турок и австрийцев уменьшилось». — Цитирую по книге А. Ф. Керенского «The Crucifixion of Liberty». Лондон. 1934. Стр. 349.

ни в какое сравнение с общим параличем хозяйственной жизни, голодом и холодом, которые принес Октябрь**.

Основания, которые приводят в доказательство обреченности Февраля, спорны фактически и по существу. Революцию всегда вызывают оскудение и нужда, а не экономическое благоденствие и культурное процветание. Потому и происходят тогда революции, что нет иной возможности изменить нестерпимые условия жизни и жителей превратить в граждан. Одно просвещение еще не гарантирует благополучного исхода революции. Прославленный прусский учитель и немецкая аккуратность с организованностью в придачу не облагородили нацистской революции и не предотвратили ее бесславного конца. Конечно, и экономическая разруха, и безграмотность, и самочинство масс, как и неподготовленность руководителей или упорство западных держав чрезвычайно осложнили ход февральской революции и фактически сыграли в руку Октябрю. Но не это было решающим.

«Выхода из положения вне окончания войны не было» — подчеркивает жирным шрифтом Шварц. Но и война вовсе не непременно должна была кончиться так, как она кончилась. Истощена была Россия. Но истощены были и Австрия, и Турция, и Болгария, и сама Германия. Шло молчаливое состязание на скорость истощения и на первенство в предложении

** Свидетельствую об этом не только как современник-очевидец, но и как сопричастный, косвенно, к представленной Родзянко записке. Эта записка опиралась, в частности, на доклад о продовольственном положении городов, представленный государю городским головой Москвы М. В. Челноковым, занимавшим в то же время должность Главноуполномоченного Всероссийского Союза Городов.

В «Дани прошлому» я рассказал, как по инициативе заведывавшего Экономическим Отделом Союза Городов В. Г. Громана, произведена была летучая анкета или «моментальный снимок» с продовольственного, топливного и иного положения городов. Анкетёры, и я в их числе, разъехались в разные концы и в десятидневный срок вернулись с итогами своего обследования. По независевшим от меня обстоятельствам именно мне было поручено в экстренном порядке обработать поступившие данные, составить доклад и вручить его Челнокову уезжавшему в Петроград. Доклад, мною составленный, помечен 10 февраля 1917 г. и был напечатан, — конечно, без моей подписи — в очередном номере «Известий Всероссийского Союза Городов», вышедшем уже после февральской революции.

мира. Временное правительство накануне Октября имело все основания ожидать такого рода предложения. Отказ России от Константинополя и Дарданелл усилил тяготение Турции к выходу из войны. К тому ее подталкивали М. И. Терещенко из Петрограда и американские дипломаты в Константинополе, — с Турцией (и Болгарией) США не находились в состоянии войны. Мира с Турцией ждали в ноябре. Болгария всегда была наименее надежным звеном в цепи центральных держав. Об Австрии маршал Гинденбург писал в воспоминаниях, что подавляющая часть ее войск «летом 1917 г. была менее расположена к отражению русского наступления, чем в 1916-ом году». Австрийский министр иностранных дел Чернин и зять императора Сикст Пармский вели секретные переговоры о мире с Клемансо и Ллойд Джорджем.

И в самой Германии не всё было благополучно. О том свидетельствует тот же Гинденбург, жалуясь на постепенное разложение армии и предвидя, что вступившая в войну на стороне союзников Америка чем дальше, тем энергичнее станет развертывать свои силы. Германский министр иностранных дел Кюльман уже нащупывал, чрез испанского посла маркиза де Виллалобара, условия, на которых Англия согласилась бы заключить мир. Это было в конце августа-начале сентября. Стороны разошлись из-за Эльзаса и Лотарингии, которые Вильгельм отказывался вернуть Франции.

Если даже считать, что ожидания Временного Правительства были преувеличены, всё-таки каждый лишний месяц, что Россия продолжала держать фронт, увеличивал шансы Февраля на то, что ему, в конечном счете, удастся «съесть» войну. И Шварц признает: «если бы Временному Правительству удалось продержаться еще немного месяцев и добиться общего мира, демократическая революция была бы спасена». О какой же обреченности в таком случае может быть речь?!

Заслуживает внимания указание Шварца на то, что Ленин «лихорадочно торопил ЦК, требуя от него решения о немедленном перевороте, не дожидаясь созыва назначенного на вторую половину октября съезда советов». «Нетерпение» Ленина Шварц объясняет тем, что «ему начало казаться, что дело идет к соглашению между союзниками (т. е. и Россией) и Германией». Это объяснение полностью совпадает с мнением, высказанным еще в 1934 г. А. Ф. Керенским, и раньше, и сейчас самым решительным образом отрицающим «обреченность» Февраля. В выше цитированной весьма интересной

книге Керенский, как и Шварц, подчеркивает совершенно исключительную настойчивость, с которой Ленин в сентябрь-октябре «гнал» своих единомышленников к немедленному свержению Временного Правительства. Почему? Потому что никто в России, кроме членов правительства, и не подозревал, что ведутся секретные переговоры о мире. Но Ленину, скрывавшемуся в Финляндии, это стало известно от Ганецкого, который находился в сношениях с германским послом в Стокгольме Люциусом, — свидетельствует А. Керенский («The Crucifixion of Liberty», p. 384-386).

Что и говорить, помимо объективных причин, препятствовавших благополучному завершению Февраля, были и личные заблуждения, ошибки, прекраснотушие, непредусмотрительность и прочие дефекты и пороки руководителей. Никто из них этого не отрицал, — а некоторые и печатно это признавали. Но решающим фактором было не это, а — большевики с их обманом, лицемерием, коварством, демагогией и насилем. Непростительной, даже преступно-легкомысленной была терпимость руководителей Февраля к творцам будущего Октября. Но у кого было достаточно убедительных доказательств — англо-саксы называют это «evidence», — к тому что именовавшие себя демократами-социалистами не только питают, но и близки к осуществлению своего дьявольского плана?! В февральскую эпоху они и сами, может быть, не проектировали применение к несогласным заложничества, пыток и массовой «ликвидации». И в начале, и в конце февральской эпопеи будущие творцы Октября отмечали, что Россия стала «самой свободной страной в мире из всех воюющих стран», что она «по своему политическому строю догнала передовые страны» (Ленин), что «нигде у пролетариата не было и нет таких широких организаций» (Сталин). И большевики-историки отмечали то же: Россия «пользовалась *максимумом свободы*... перешла к почти полной политической свободе... Широкой свободой агитации пользовались представители самых крайних политических течений» (История ВКП(б) под редакцией Ем. Ярославского. Т. IV, стр. 52. — 1929.).

И против такого строя Ленин и его соратники подняли свои преступные руки, на обломках Февраля воздвигнув свое самовластие — диктатуру партии, монополизировавшей в свою пользу власть. *В этом*, в удачливой подготовке заговора, замаскированного демагогическим воздействием на утом-

ленные и легковверные массы, ничтожное меньшинство коих вяло обманному призыву, а большинство оставалось пассивным, выжидая и «держа нейтралитет», — в этом был главный фактор, определивший поражение Февраля и торжество Октября.

В до-октябрьское время большевики неизменно обличали всех других в том, что те хотят гражданской войны или «объективно» к ней ведут. Но когда советская власть почувствовала себя прочно, она опубликовала протоколы Ц. К. и другие документы, свидетельствовавшие с полной очевидностью, что Ленин всячески подстрекал своих единомышленников — что, делаешь, делай скорей! А в 24-ом году Сталин совершенно открыто признал, что Октябрь «маскировал свои наступательные действия оболочкой обороны для того, чтобы тем легче втянуть в свою орбиту нерешительные, колеблющиеся элементы» (Сочин. т. 6, стр. 342).

Только что опубликованы в «Коммунисте» (№ 1 за 57 г.) интересные воспоминания умершего в 1948 г. Н. И. Подвойского, председателя военной организации большевиков и Военно-революционного комитета в дни октябрьского восстания. Воспоминания озаглавлены «О военной деятельности В. И. Ленина». Здесь описывается исключительный хаос и неразбериха, царившие на большевистском фронте. Волынский и другие полки решительно отказывались исполнять приказы Подвойского, Крыленко и других. Подвойский комментирует: «Я почувствовал, как начал трещать вследствие этого отказа фронт нашей обороны». Положение спас Ленин, его фанатизм и магнетическое воздействие. Обожавший своего лидера Подвойский вспоминает, как «Ленин страшно расвирипел, лицо его сделалось неузнаваемым, он вонзился в меня своими острыми глазами и сказал, не повышая голоса:

— Вы ответите перед ЦК, если полки не будут сейчас же выведены. Слышите, сейчас же!

Я пулей вылетел из комнаты».

В другом случае: «Ленин вскипел как никогда.

— Я вас предам партийному суду, мы вас расстреляем! Приказываю продолжать работу и не мешать мне работать.

Пришлось примириться».

Это и смешно, и трагично. Такой манеры обращения в свободных политических партиях, конечно, не существовало. Но в октябре 17-го года именно она дала большевикам победу. Волынцы выступили «в поход» на Царское Село и Гат-

чину — «против Керенского». «Отряд матросов, преследовавший бронированный поезд Керенского, почти целую ночь простоял в ледяной воде, подстерегая этот поезд». Вдохновляясь примером «гениального полководца», как он называет Ленина, Подвойский «настаивал на предании Дыбенко суду» и т. д.

Казалось бы, не подлежит уже спору, кто и какими средствами вызвал гражданскую войну, приведшую большевиков к «триумфальному шествию по России», по выражению Ленина. Однако, и по сей день советская печать воспроизводит версию, самими же большевиками отвергнутую: «гражданскую войну навязала нам буржуазия. Класс-агрессор напал на мирных людей труда», — пишет В. Перцов, поминая Всеволода Вишневского в «Новом Мире» (№ 9 за 1956-ой год).

Жажды свободы и упоения ею оказалось, увы, недостаточно для предотвращения заговора против Февраля и утверждения октябрьской тирании.

«...Всё это может показаться
Смешным и устарелым нам,
Но, право, может только хам
Над русской жизнью издеваться.
Она всегда — меж двух огней.
Не всякий может стать героем.
И люди лучшие — не скроем —
Бессильны часто перед ней».

(Возмездие А. Блока)



Сорок лет, как могу, защищаю я в печати Февраль. Февраль покончил с режимом самодержавия. Февраль подготовил передачу земли трудящимся. Он дал рабочим лучшие условия труда и независимые профсоюзы. Он признал свободу и равенство без различия пола, исповедания, этнического происхождения. Это он организовал местное самоуправление и выборы во Всероссийское Учредительное Собрание на основе последовательной демократии. Это он оформил национальное самосознание России.

И тем не менее память о Феврале тускнеет. Даже непримиримые противники Октября внезапно стали ощущать обреченность Февраля. Но что можно ему противопоставить? К

чему может придти Россия, когда она избавится, наконец, от большевистской тирании? Какие мыслимы возможности?

Монархия? Какая? Английского или скандинавского типа покоится на многовековой политической культуре. Для нее в нынешнюю атомную эпоху уже все сроки упущены. Монархия былая, легитимная?.. После сорокалетнего пребывания под советским абсолютизмом как будто выкорчеваны все ее бытовые, психологические и легальные корни.

Если не абсолютизм одной и единственной партии и не абсолютизм монархический, то что же — что вообще мыслимо? Теократия? Но в многоисповедной России и это как будто исключено, даже если этому пережитку ветхого завета и удалось бы собрать под свое знамя не только мудрствующих одиночек.

В исторически обозримом будущем единственной перспективой, имеющей за себя морально-политическое и реалистическое основание и в то же время созвучной, как новому времени, так и прошлому России, является возвращение к общим принципам Февраля. Еще в 1929 г. А. Ф. Керенский, заявив себя «непримиримым противником повторения исторической действительности февральского периода русской революции», высказался «против исторически данного Февраля во имя Февраля, *заданного* нам историей» («Дни» № 58).

Это представляется мне правильным и сейчас. И не потому только, что люди Февраля «в дни тягостных раздумий о судьбах родины» утешают себя, что те, кто придут после них, будут удачливее и откроют новую эру в истории России. Нет, мы думаем в то же время, что русский народ и его интеллигенция никогда не переставали стремиться к свободе и справедливости. Как утверждал в самом начале первой революции — 9 октября 1905 г. — Витте, не красной, а человек дела, «человек всегда стремится к свободе. Человек культурный — к свободе и праву, к свободе, регулируемой правом и правом обеспечиваемой».

Февраль пытался осуществить это стремление. Это не удалось, как многое не удавалось в русской истории, — как не удалось, по словам Бердяева, дело всей новой истории. Задание не было выполнено. Это бесспорно, но это никак не отменяет нашей твердой веры и убеждения, что вечное в Феврале не может не осуществиться.

М. Вишняк

КОММЕНТАРИИ

О Феврале

1

Едва ли годовщина большого исторического события может служить законным поводом для дифирамбов или для страстных обличений. Не правильнее ли видеть единственный смысл этих «юбилейных» дат в том, что они дают основание для переоценки вспоминаемого события в свете исторической перспективы и для извлечения из опыта прошлого политических уроков для настоящего?

Это звучит как трюизм, и всё же это легче сказать, чем сделать. Для такого пересмотра нужна известная доля объективности, готовность подчинить свои эмоции контролю разума. А это особенно трудно, когда последствия исторического события ощущаются на протяжении долгого времени — и тем труднее, чем ближе мы к нему находимся. Не через сорок лет, а через столетие и даже позже, не только в политической жизни, но и в исторической литературе, во Франции продолжали жить партийные страсти, порожденные революцией. Среди историков о ней писавших были и роялисты, и бонапартисты, и сторонники жирондистов, и носители якобинской традиции, и, наконец, либералы и либеральные консерваторы, принимавшие 1789-ый год, но отвергавшие 1793-ий. И даже фракционная борьба внутри якобинской партии нашла свое запоздалое отражение в научной полемике дантониста Оляра и робеспьериста Матьеза! Но наряду с этой полемикой шла и подлинная научная работа по изучению революции, было собрано и подвергнуто критической разработке огромное количество документальных данных, да и в числе окрашенных той или иной тенденцией сводных работ можно насчитать не мало выдающихся историко-литературных достижений.

Русская революция 1917 года этого еще не дождалась. У нас нет пока ни своего Мишле, ни Токвилля, ни Тэна, ни Оляра, ни Мадлена. Научно-историческое её изучение по-

настоящему еще не начиналось. В самой России оно было исключено фактом «вавилонского пленения» исторической науки — её насильственного подчинения правительственному контролю и коммунистическому руководству. Для эмигрантских историков трудно преодолимые препятствия были созданы недоступностью архивных материалов да и вообще всеми условиями эмигрантского существования. Едва ли однако можно свалить всю вину на внешние обстоятельства. Значительную роль сыграло здесь и преобладающее в нашей среде отсутствие исторического подхода к революции, неспособность сохранить при её обсуждении хотя бы ту долю относительной объективности, которую всё же можно найти и у наиболее тенденциозных из названных мною французских историков.

Еще хуже обстоит дело с политическим осмыслением революции. За редкими исключениями то, что можно найти в посвященной революции эмигрантской литературе, ограничивается сведением застарелых политических счетов и запальчивым обличением чужих грехов и ошибок — бесплодной борьбой страстей и эмоций, ничего не выясняющей, а наоборот только затемняющей подлинный смысл пережитого нами исторического опыта. И надо сказать прямо: почин такого рода дискуссии принадлежал многочисленным в эмиграции противникам Февраля — в том числе и таким, которые в свое время были его сторонниками. С самого начала эмигрантских споров о Феврале и до настоящей сороковой его годовщины, именно из этого лагеря шли и идут огульные обвинения русских либеральных и демократических кругов, часто объединяемых в общем понятии «русской интеллигенции», как главных или даже единственных виновников нашей национальной трагедии.

За то, что случилось в России в 1917 г. русские либералы и демократы несут свою долю ответственности. Было бы невозможно утверждать, что на совести русской демократии нет никаких исторических грехов, — и я не знаю ни одного либерала или демократа, который бы это утверждал. Напротив, самым ярким примером откровенной «самокритики» в эмигрантской литературе являются иногда спорные, но всегда вдумчивые и поучительные высказывания такого видного русского либерала как В. А. Маклаков. А вот параллель к этому в писаниях представителей правых кругов эмиграции найти нельзя. Для людей этого лагеря характерна уверенность в

своей непогрешимости, и они охотно принимают позу суровых судей и обличителей.

Психологическую основу этого, повторяю — широко распространенного в эмиграции, отталкивания от Февраля — понять, конечно, не трудно. Недавно, в статье, посвященной годовщине февральской революции, Джордж Кеннан писал о том, что едва ли какое-либо другое историческое событие вызвало в мире такие большие надежды, сменившиеся затем столь же сильным разочарованием. Если такова была реакция внешнего мира, то что же удивляться той гораздо более резкой форме, в какой она сказалась в русской эмиграции? Для сотен тысяч эмигрантов это была одновременно и личная, и национальная катастрофа — источник горечи, обиды и негодования. Понятно и естественное в таких случаях стремление — не столько выяснить причины катастрофы, сколько найти и обличить её виновников.

И всё же, как бы ни были понятны эти эмоции, без их преодоления не может быть ни правильной исторической оценки прошлого, ни надлежащих политических из него выводов. Чувства горечи, обиды, негодования — плохие руководители и в истории, и в политике. А если их страстность не ослабевает даже на протяжении четырех десятилетий, то они становятся симптомом опасной психической травмы. И это относится не только к эмоциям более личного характера, но и к оскорбленному национальному чувству: и в нем нет никакой гарантии политической прозорливости, и оно способно ослеплять отдельных людей и целые народы.

Преодоление эмоций нужно и для того, чтобы определить ту долю ответственности за неудачу Февраля, которую несет так называемая левая русская интеллигенция — русские либералы и демократы. Вопрос этот нельзя изолировать от вопроса об ответственности других сил и других течений, действовавших в России накануне революции и во время самой революции. Нельзя обсуждать его в своего рода безвоздушном пространстве, не учитывая ни полученного Февралем исторического наследия, ни той международной обстановки, в которой происходила русская революция. И надо изменить весь подход к вопросу. Я не последователь теории исторического детерминизма и не исключаю моральную оценку исторических деятелей. Но есть всё-таки разница между судом историческим и судом уголовным, так же как есть разница

между покаянием, актом глубоко-личным и интимным, и коллективным обсуждением общенациональной трагедии.

Прежде же всего надо расчистить почву для такого обсуждения от засоривших её трафаретных утверждений, часто в корне ошибочных, почти всегда неточных и основанных на игнорировании казалось бы твердо установленных и достаточно известных фактов.

2

Если постараться кратко формулировать ту концепцию русских событий 1917 г., которая распространена среди эмигрантских противников и обличителей Февраля, то она может быть сведена к следующим положениям:

В предреволюционное время Россия благоденствовала и для революции никаких оснований не было.

К революции стремились и её старались устроить только левые интеллигенты — либералы, демократы, социалисты.

В феврале 1917 г., воспользовавшись трудностями военного времени, они её и устроили.

Но, получив власть в свои руки, они обнаружили полную неспособность и неподготовленность к государственному управлению и погубили Россию.

Это может показаться преувеличенным упрощением, но не трудно было бы привести достаточное количество цитат из эмигрантской литературы, развивающих именно эти мысли. Сложностью эта популярная анти-февральская концепция не отличается и упростить её едва ли возможно.

Обсудить в этой статье вопрос о причинах русской революции с той полнотой, какой он заслуживает, я, конечно, не могу. Да для моей настоящей цели это и не нужно. Достаточно будет остановиться на некоторых основных моментах и напомнить несколько общеизвестных и бесспорных фактов. Начну с того, что я не принадлежу к тем, кто утверждает неизбежность революции 1917 г. Об этом я еще недавно писал в своих «Комментариях» по поводу пятидесятой годовщины революции 1905 г. и в связи с обсуждением воспоминаний Ф. А. Степуна* и потому повторяться здесь не буду. Скажу только, что по моему глубокому убеждению у предреволюционной России были определенные, и притом возраставшие,

* См. книги 43 и 46 «Н. Ж.».

шансы на решение её внутренних проблем путем мирного эволюционного развития. Россия конституционного периода находилась в состоянии прогресса, а не реакции или застоя. Но от признания этого, на мой взгляд неоспоримого, факта еще очень далеко до утверждения, что в русской государственной и общественной жизни того времени всё обстояло благополучно и что ничто, кроме зловредной пропаганды, этому благополучию не угрожало. Первое может быть доказано путем исторического анализа, второе не имеет под собой никакого фактического основания. Россия стояла на пути к разрешению своих основных проблем, но до самого этого разрешения было еще очень далеко. Над Россией всё еще тяготело тяжелое наследие её исторического прошлого, в её жизни было еще много застарелых недугов, а в её государственно-политическом и социально-экономическом строе — много острых противоречий и элементов неустойчивости.

В политической её жизни, даже и после подавления революции 1905 г., оставался налицо достаточно острый конфликт между властью и общественностью — и притом общественностью не революционной, в это время фактически обесиленной, а общественностью умеренно-оппозиционной. Достаточно напомнить, что уже в третьей Думе произошел разрыв между октябристами и Столыпиным, а в дальнейшем не трудно проследить процесс полевения «законопослушного» большинства третьеиюньской Думы — процесс постепенно нарастающий вплоть до начала мировой войны. Так даже цензовая Россия не могла примириться с близорукой политикой правительства, не умевшего приспособиться к радикально-изменившейся обстановке, а часто и не желавшего с этим изменением примириться. За пределами же Думы, в более демократических общественных кругах, этот конфликт естественно ощущался еще острее.

Не лучше обстояло дело и в области социально-экономической. Конечно, это было время значительного экономического прогресса, благодетельные последствия которого в некоторой мере отражались и на положении широких масс населения. Но и здесь до всенародного благосостояния тоже было еще очень далеко. Во всякой стране и при всяких условиях, начальный процесс индустриализации порождает экономические трудности и ведет к обострению социальных противоречий. В такой же стране как Россия, с подавляющим преобладанием крестьянского населения и с преобладанием в

его среде низкой земледельческой техники, эти трудности и противоречия неизбежно принимали особенно острый характер. Нужны были десятилетия настойчивых и непрерывных усилий, чтобы сделать эту проблему менее острой и тем обеспечить мирное её разрешение. До тех же пор оставалась почва для массового недовольства, и нужно быть слепым к исторической реальности, чтобы не видеть в этом факторе серьезной угрозы для устойчивости общественного строя предреволюционной России.

Положение усугублялось еще тем, что накануне революции и полстолетия после освобождения, русское крестьянство, т. е. подавляющее большинство населения России, по объему своих гражданских прав, по бытовым условиям своей жизни и по культурному уровню, всё еще оставалось в значительной мере обособленным от остальной части нации, на положении своего рода «граждан второго сорта». Никакие фантастические идиллии вроде тех, какие можно найти в писаниях эмигрантских апологетов царского режима, и даже никакие ссылки на действительно происходившие улучшения в материальных, бытовых и культурных условиях крестьянской жизни — этого основного и чреватого последствиями факта упразднить не могут. Нельзя забывать, что настоящие, серьезные усилия и в области народного образования, и по упразднению гражданской неполноправности крестьянства, и по ликвидации «аграрного перенаселения» Европейской России, начались только в двадцатом веке, меньше чем за два десятилетия до революции.

Повторяю, даже и при наличии всех этих, очень сложных и очень трудных проблем, возможность эволюционного развития в предреволюционный период в России исключена не была. Но для этого прежде всего нужно было время — и время мирное. И как раз этого условия судьба не дала России. Войны никогда не приходят «во-время». Но для России война 1914 г. пришла особенно не во-время. Она прервала то едва начавшееся прогрессивное развитие, которое происходило в разных сторонах русской жизни в предшествовавшем ей десятилетии. В 1914 г. конституционный режим насчитывал за собой всего восемь лет существования. Проект всеобщего начального обучения был еще в первой стадии своего осуществления. Столыпинское землеустройство тоже фактически действовало только в течение нескольких лет. Приходится удивляться тому, как часто этот фактор огромного, оказав-

шегося роковым, значения упускается из виду при обсуждении хода событий, приведших к революции. Здесь уместно привести два авторитетных суждения, исходящих из очень различных, можно сказать — диаметрально противоположных, источников. Столыпин говорил, что если России будет обеспечено по крайней мере двадцать пять лет мира, то за это время она станет «неузнаваемой». С своей стороны Ленин в 1912 г. мечтал о европейской или хотя бы русско-австрийской войне, но боялся, что правители России и Австрии не сделают ему этого «подарка», а позднее, уже после революции, признавал, что без войны её бы не было.

О непосредственном влиянии войны на внутреннее положение в России много говорить не приходится. Ни одна из участвовавших в войне стран (даже Германия!) в сущности не была подготовлена к вооруженному столкновению таких размеров и такой длительности. Теперь, в исторической перспективе, для нас уже ясно, что это была первая в истории «тотальная война». А к тотальной войне Россия была подготовлена менее всех других её участников — не столько в военном, сколько в экономическом отношении. И всё же, я берусь утверждать, что ни военные потери и поражения, понесенные Россией во время войны, ни вставшие перед ней огромные экономические трудности сами по себе фатального значения не имели. При другой морально-психологической атмосфере созданные этими трудностями проблемы, и в тылу и на фронте, могли бы быть разрешены, и катастрофа могла бы быть избегнута. Если неустойчивость русского довоенного государственного и общественного строя делала революцию, при неблагоприятных условиях, *возможной* и если война превратила эту возможность в *вероятность*, то только возникший во время войны острый политический кризис сделал революцию в конечном счете *неизбежной*. А за этот политический кризис ответственность лежала целиком на близоручой, более того — безумной политике власти.

Атмосфера, в которой Россия вступала в войну 1914 г., была глубоко отличной от того, что за десять лет перед тем наблюдалось во время войны русско-японской. Воспринятая как война оборонительная и угрожающая самым жизненным интересам России, война 1914 г. вызвала в русских общественно-политических кругах подлинный подъем патриотического чувства. Даже в революционно-социалистической среде оборонческие настроения преобладали над пораженческими. В Думе, устами Керенского, трудовая группа обратилась к

народу с призывом отложить дело внутреннего освобождения страны до освобождения её от врага внешнего. Умеренная думская оппозиция пошла еще дальше в своей готовности заключить перемирие с властью во имя национального объединения. Никакого ответного акта или хотя бы жеста со стороны власти не последовало. Она вела себя так, как будто ничего не произошло. В союзных странах, политически гораздо более сплоченных и устойчивых, вся серьезность момента была полностью осознана: в Англии образовалось коалиционное правительство, во Франции — министерство «священного единения». В России всё осталось по-старому — и в составе правительства, и в характере его деятельности, и в его административной практике. Как символ этой неизменности, правительство возглавлял всё тот же престарелый и бездеятельный Горемыкин, по собственному его выражению, «вынутый из нафталина». Среди членов совета министров по-прежнему преобладало подозрительное, если не прямо враждебное, отношение и к Думе и ко всем общественным организациям. Понадобилось потрясение великого галицийского отхода для того, чтобы власть пошла на некоторые уступки. Но и это был всего на всего преходящий тактический маневр. Очень скоро всё снова пошло по-старому — только в гораздо худшей форме. Власть нашла невозможным принять сотрудничество даже с образовавшимся в Думе прогрессивным блоком, объединившим все центральные её группы. Те более приемлемые для Думы и общественного мнения министры, которые были введены в состав правительства после галицийского поражения, оказались в трагическом положении: избранного верховной властью политического курса они изменить не могли. Одни из них добровольно ушли в отставку, другие были уволены и заменены более «подходящими» и менее независимыми кандидатами. Так, второй раз с начала войны, царская власть упустила шанс на хотя бы временное примирение с оппозицией.

Признаюсь, я испытываю чувство некоторой неловкости, напоминая об этих элементарных фактах сравнительно недавней русской истории. Но как же быть, когда сплошь да рядом приходится иметь дело с их сознательным или бессознательным забвением, а то и просто искажением? Ведь если мы хотим выяснить вопрос о причинах февральской революции, то прежде всего надо составить себе ясное представление о той обстановке, в которой она произошла, о том, что происходило в русской действительности в непосредственно предшествовавший ей период. Иначе мы никогда не выберемся из

области «творимых легенд» и «мифотворчества». Я знаю, что в глазах противников Февраля в создании легенд и мифов была повинна именно оппозиция, якобы намеренно подрывавшая престиж власти распространением порочащих её ложных слухов. Допустим, что среди распространявшихся тогда слухов были и ложные. Но уже неоспоримым историческим фактом, с тех пор документально установленным, является влияние Распутина на управление страной в эти годы. От этого потрясающего факта уйти никуда нельзя — и его одного достаточно, чтобы охарактеризовать всю глубину падения режима. В один из самых критических моментов русской истории управление огромной империей оказалось в зависимости от прихоти безграмотного и безответственного «случайного человека», сумевшего найти дорогу к самому центру власти.

Не приходится удивляться тому, что с осени 1915 г. — вплоть до кануна революции — и в стране и в Думе неуклонно крепились оппозиционные настроения. От предложенного ею, но сорванного властью, «гражданского мира» оппозиция вынуждена была перейти к открытому обличению «темных сил», стоявших за властью. В этом и заключалась та «подготовка революции», в которой её до сих пор продолжают обвинять. Но большинство оппозиции не только не хотело революции, но было озабочено тем, как бы её предотвратить. Ничего революционного не было и в той программе, которую она тогда предлагала; программа эта сводилась к требованию изменения политического курса и создания «пользующегося общественным доверием» министерства. Всякая сколько-нибудь разумная власть ухватилась бы за этот последний шанс — хотя бы ради собственного своего спасения. Русская же власть того времени оставалась глуха ко всем предостережениям — даже когда они шли от Государственного Совета и Совета объединенного дворянства!

Меньше чем за месяц до революции (4-го февраля 1917 г.) вел. кн. Александр Михайлович отправил государю письмо, заключавшее в себе такую характеристику положения: «...Как это ни странно, но правительство есть сегодня тот орган, который подготавливает революцию. Народ её не хочет, но правительство употребляет все возможные меры, чтобы сделать как можно больше недовольных, и вполне в этом успевает. Мы присутствуем при небывалом зрелище революции сверху, а не снизу».

3

За последние месяцы до революции, о её неизбежности часто говорили, но когда она пришла, она всех застала неподготовленными: и население, и правительство, и политические партии. В той быстроте, с которой она произошла, и в той легкости, с которой она одержала победу, было нечто фантастическое. Достаточно было нескольких дней уличных беспорядков в Петербурге и отказа солдат петербургского гарнизона эти беспорядки подавить, чтобы царский режим прекратил свое существование. Трудно даже говорить о его низвержении — он просто рассыпался от первого же толчка. Никаких настоящих попыток к самозащите с его стороны не было — оказалось, что ему не на кого было опереться. Замена его Временным Правительством была немедленно же принята и страной, и армией — без каких-либо заметных признаков сопротивления с чьей-либо стороны. Временное Правительство начинало свою деятельность в атмосфере всенародного признания.

Февральская революция была одновременно случайна и не случайна. Случайна по тем конкретным обстоятельствам, в которых она произошла, и не случайна по своим историческим корням и своему смыслу. Её могло бы и не быть, если бы обстоятельства сложились иначе. Но вместе с тем она была завершением всего русского освободительного движения и воплощением стремлений русского народа к свободе и социальной справедливости. В этом сочетании случайного и не случайного, в том, что эта исторически оправданная революция случайно произошла именно в данный момент и в данных обстоятельствах, таилась огромная опасность. Опасна была та быстрота и легкость, с какой революция одержала свою победу. В отличие от других великих революций нового времени — английской семнадцатого и французской восемнадцатого века — в русской революции не было той же постепенности развития. В несколько дней Россия, только за десять лет до того еще боровшаяся с самодержавием, сделалась «самой свободной страной в мире». И случилось это во время самой тяжелой войны из всех, которую России до тех пор когда-либо приходилось вести.

Можно сказать без преувеличения, что Временное Правительство оказалось в положении, в каком еще никогда ни одно революционное правительство не было. И без учета тех огромных трудностей, с которыми ему с самого же начала

пришлось столкнуться, всякая критика его деятельности становится беспредметной. Беспредметно, например, указание на неподготовленность его членов к государственному управлению. Среди членов Временного Правительства всех составов было не мало людей более даровитых, более образованных и наделенных гораздо большим политическим чутьем, чем большинство министров, действовавших в последние десятилетия царского режима. Да и вообще образцы государственной мудрости были уж не так часты в императорской России! Но дело не в этом, а в том, что вообще нельзя сравнивать проблемы государственного управления в нормальное время с задачами, стоящими перед революционным правительством. У всякого политического режима, имеющего за собой традицию долголетнего существования, есть одно неопределимое преимущество: оно обладает более или менее налаженным аппаратом государственного принуждения и оно может рассчитывать на инерцию подчинения со стороны подвластного ему населения. Революция всегда ослабляет, а часто и разрушает, аппарат принуждения и неизбежно сводит на нет инерцию подчинения. Вот почему в тысячу раз легче предотвратить революцию, чем задержать её в определенных границах после того, как она уже произошла.

Что в России 1917 г. эта последняя задача была гораздо труднее и сложнее, чем в какой-либо другой революции, кажется, не требует особых доказательств. Существует мнение, что при русском историческом наследии и в условиях созданных войной, задача эта вообще была неразрешимой и Февраль был обречен на поражение. Как правильно указывает М. В. Вишняк, мнение это логически приводит к историческому оправданию Октября. И в этом случае я тоже отказываюсь стать на позицию абсолютного детерминизма. Несмотря на все трудности, созданные и русским прошлым, и войной, торжество большевизма всё-таки не было неизбежным. Как известно, не считал его неизбежным и сам Ленин.

Но если так, то тогда необходимо признать, что в крушении Февраля повинны не только внешние обстоятельства, но и человеческие действия. Неправильно было бы однако сводить этот вопрос к вопросу об ответственности одного лишь Временного Правительства. Речь должна идти об ответственности всей русской демократии, органом которого это правительство являлось. И по своему происхождению, и по своей структуре, и в силу ограниченных пределов *фактической* своей власти, Временное Правительство не было и не могло быть

самодовлеющим фактором — хотя бы даже в той мере, в какой, на свою беду и на беду России, пыталось быть царское правительство предреволюционного времени. Как я уже указывал, в его руках не было ни готового аппарата принуждения, ни вообще сколько-нибудь налаженного административного аппарата. Не могло оно также рассчитывать и на какую-либо инерцию повиновения. В самом прямом и почти буквальном смысле оно могло опираться только на народное доверие — управлять, по известной англо-саксонской формуле, «с согласия управляемых». Все его усилия должны были быть направлены поэтому на мобилизацию этого доверия — и на своевременную организацию на этой основе демократической самозащиты. Я не хочу сказать, что ничего в этом направлении не было сделано — это было бы противно очевидности. Но можно думать, что могло и должно было быть сделано много больше. Но для этого требовалось в свою очередь не только предельное напряжение воли и разума самого правительства, но еще и гораздо большее сплочение и единодушие всей русской демократии. Если это совершенно необходимое единство достигнуто не было, то виною тому явились некоторые пороки русской демократической психологии, анахронические пережитки эпохи подпольной революционной борьбы с самодержавием. Сюда можно отнести и настойчивое противопоставление «революционной» демократии «цензовой» или «буржуазной», и органическое недоверие к государственной власти, сказавшееся в пресловутой формуле «постольку-поскольку», и заботу об «углублении революции», и преувеличенные страхи перед возможностью контр-революции справа. Никаких оснований для связанных с этим комплексом умственных и психологических навыков в русской реальности того времени не было. При созданных революцией условиях и при соотношении социальных сил в стране опасаться «цензовиков» было нечего. Временное Правительство, даже и без специально над ним установленного контроля, никакой антинародной политики вести не стало бы да и фактически вести не могло. Заботиться об «углублении революции» едва ли когда-либо приходится, так как всякая революция и без того имеет тенденцию к углублению, а в нашей революции отсутствие сдерживающих преград должно было бы быть вполне очевидным. По тем же причинам нечего было опасаться и правой контрреволюции — никаких наличных сил для осуществления её в России не было. А между тем этот страх перед мнимой опасностью в какой-то мере повлиял если не на игнорирова-

ние (о нем говорить едва ли приходится), то на недооценку единственной подлинной опасности — контрреволюции большевистской.

Накануне октябрьского переворота Ленин, пытаюсь убедить своих колеблющихся соратников в необходимости немедленных действий, ссылаясь на то, что «стопроцентной гарантии» на успех история революционерам никогда не дает. Это относится конечно ко всякой политике — не только к революционной. Такой гарантии на успех у русской демократии в 1917 г. не было и быть не могло. Но если бы она тогда действовала как единое целое, если бы все демократические партии безоговорочно сплотились вокруг Временного Правительства, если бы они все вели решительную борьбу с максималистскими тенденциями как в своей собственной среде, так и в народных массах, — то шансы на преодоление большевистской опасности и на спасение России от катастрофы несомненно возросли бы во много раз.

4

Катастрофа предотвращена не была, и в сознании современников февральская революция связалась с представлением о неудаче и поражении. Но сегодня, в сороковую её годовщину, не пора ли вспомнить, чем она была для огромного большинства русского народа, и оценить её значение в русской истории?

После разгрома декабрьского восстания 1825 г. декабрист Батеньков писал в своих показаниях: «Глас свободы раздался не долее нескольких часов, но и то приятно, что он раздавался». В 1917 г. «глас свободы» зазвучал в России с неизмеримо большей силой и звучал он всё-таки дольше чем несколько часов. Ни поражение Февраля, ни всё то, что за этим последовало, не могут свести на нет этого его исторического значения. Февральская революция была для России периодом всестороннего и общенационального освобождения — снятия всех пут, еще остававшихся на русском народе, полного осуществления политической и гражданской свободы, уничтожения всякой неравноправности. Она завершала долгий и трудный процесс русского раскрепощения — завершала дело, начатое освобождением крестьян и продолженное конституционными реформами начала века. Только она, сделав возможным восстановление патриаршества, принесла с собою

конец и тому «вавилонскому пленению» русской церкви, о котором в свое время писал Достоевский.

Нужна большая доля предубеждения и, я бы сказал, исторической близорукости, чтобы отрицать огромное моральное значение всех этих освободительных актов. Это был призыв к народной самодеятельности, к утверждению человеческого и гражданского достоинства — и призыв этот не остался без ответа. Подлинная народная реакция на февральскую революцию мало походила на ту картину всеобщего разгильдяйства и самоуправства, разгула низменных страстей и своекорыстных вожделий, которую можно найти в воспоминаниях некоторых «очевидцев». В отрицательных явлениях недостатка не было, но было и нечто другое и более существенное. Иначе не мог бы русский народ оказать большевистскому соблазну той доли сопротивления, какую он ему фактически оказал. В нашей эмигрантской литературе о февральской революции до такой степени преобладает изображение и осуждение отрицательных её сторон, что о положительных процессах, о новых формах общественной работы, о попытках создания нового порядка — в ней почти ничего найти нельзя. Не удосужилась она до сих пор заняться и изучением конструктивной деятельности Временного Правительства, его законодательных мероприятий и проектов. Его история писалась и пишется почти исключительно с партийно-политической точки зрения и с целью обличения его грехов и дефектов.

А между тем это было правительство, которое вело страну к учредительному собранию и народоправству, к радикальной аграрной реформе, к переустройству России на федеративных началах.

«Вело, но не довело» — могут мне сказать на это скептики. Но этот аргумент, исходящий из факта исторической неудачи, далеко не так убедителен, как он может показаться. Человеческая история полна неудач, но далеко не все из них оказались творчески бесплодными. В истории не бывает ни окончательных побед, ни окончательных поражений, и в ходе времени иная победа может обернуться поражением, а поражение превратиться в победу. И это относится особенно к революциям крупного масштаба. Непреложных законов в истории нет, и потому историческими аналогиями приходится пользоваться с большой осторожностью. Но тем не менее в общем развитии различных революций всё-таки можно установить некоторую закономерность, основанную на относительном постоянстве психологической их основы — челове-

ческая природа если и меняется, то чрезвычайно медленно. И в английской и во французской революции мы находим одну и ту же смену умеренной фазы — радикальной, свободолюбивых стремлений — революционным деспотизмом, программы общенародного характера — сектантской идеологией. И в обоих случаях длительные исторические последствия революции оказались гораздо ближе к её началу, чем к её концу. Несмотря на так называемые реставрации, возвращения к старому режиму ни в Англии ни во Франции не произошло. И здесь, и там основные «завоевания революции» укрепились в национальной жизни. Но как Англия не стала кромвеллевским «обществом святых», так и Франция не сделалась робеспьеровской «республикой добродетели». В исторической перспективе победившие в революции оказались побежденными, а потерпевшие поражение — победителями. И произошло это потому, что то, чего добивались и чего не могли добиться революционные «неудачники», по существу отвечало назревшим народным потребностям и, в этом смысле, было поставлено историей на очередь.

Таким же рисуется мне и будущее русского Февраля. И потому я думаю, что хоронить его еще рано. Не надо поддаваться гипнозу длительности существования советского режима и преувеличивать беспримерность его природы. Человеческую природу даже и тоталитарному режиму изменить не удалось — и прежде всего не удалось искоренить в человеке стремление к свободе и к справедливости. У нас есть теперь новые тому доказательства. Они заключаются не только в венгерских и польских событиях, но и в том, что происходит на нашей родине. Пусть это только начало долгого и трудного пути, но в направлении его можно не сомневаться. В его конце лежит историческое оправдание Февраля.

М. Карпович

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

М. А. АЛДАНОВ

Еще так недавно, чествуя Марка Александровича Алданова по случаю его семидесятилетия, русская эмиграция объединилась в выражении ему своей любви и признательности и в единодушно высокой оценке его литературного творчества. Сейчас, после его ухода от нас, в сознании понесенной нами огромной потери, мы еще острее ощущаем сколь многим мы ему обязаны и какую большую роль он играл в нашей жизни. И вместе с тем под непосредственным впечатлением этой потери особенно трудно найти слова, чтобы с достаточной полнотой и точностью определить значение М. А. Алданова в истории русской литературы. Его творчество заслуживает пристального и серьезного изучения, и надо надеяться, что этот свой долг эмигрантская литература выполнит.

Теперь же наша мысль обращается прежде всего к Марку Александровичу, как человеку. Повторим здесь то, что мы уже писали в своем юбилейном ему приветствии: для эмиграции он был одним из самых любимых писателей, с которым она ощущала себя особо тесно связанной. И объясняется это не только характером его литературных произведений — это было результатом и личного воздействия М. А. на эмиграцию. Он не был активным политиком, не играл — да и не искал — руководящей роли в каких-либо эмигрантских организациях. Тем не менее можно утверждать, что он принимал большое и живое участие в культурно-общественной жизни эмиграции. Но делал он это по-своему — путем личных отношений. Известно, какой огромный круг знакомств и связей был у него в самых разнообразных кругах эмиграции, сколько времени он отдавал личным встречам и еще больше — переписке. Показательно, с каким единодушием писавшие после его смерти отмечали его добродетельность, его неизменно внимательное отношение ко всем, в том числе и мало ему знакомым, людям. Это несомненно была одна из его отличительных черт. Но она имела свой особый характер, придающий ей не только личное, но и общественное значение.

По натуре своей М. А. не был экспансивным, с «душой на распашку», человеком. Напротив, он был очень сдержан в выражении своих чувств. И тот скептицизм, который сказался в его писаниях, был свойствен ему и как человеку. Никаких иллюзий насчет человечества он не имел, все человеческие слабости были ему хорошо известны, и к человеческой жизни он относился не без иронии, но ирония эта была не злобной, а снисходительной. Она умерялась в нем его подлинным гуманизмом, и потому его сомнение действовало в двух направлениях — не только против человека, но и в пользу человека. В основе его благожелательности лежало то, что он был прежде всего человеком культуры — не только умственной, но и душевной, не только личной, но и общественной. Этим благожелательность его нисколько не умаляется — напротив. Людей от природы общительных и добродушных на свете не так уж мало. Гораздо меньше людей, воспитывающих в себе чувство терпимости, готовность понять другого, способность воздержаться от скороспелых осуждений и, когда нужно, пойти на уступки. В наше время люди такой душевной дисциплины встречаются не очень часто. М. А. Алданов обладал ею в высокой степени — и в этом была его особенность и его ценность.

С. П. МЕЛЬГУНОВ И С. В. ПАНИНА

В этой небольшой заметке мы объединяем имена скончавшихся в прошлом году двух общественных деятелей, очень отличных друг от друга, но одинаково пользовавшихся широкой известностью в эмиграции.

Сергей Петрович Мельгунов был историком, публицистом и активным политическим деятелем. Это соединение научно-исторических интересов с сильно развитым чувством гражданского долга отличало С. П. с самой его молодости. Подобно В. И. Семевскому и В. А. Мякотину, с обоими из которых он был тесно связан, он не сделался академическим историком, а отдал значительную часть своего времени и энергии общественной работе. Характерна была и направленность его исторических интересов. Она шла по линии истории русских общественных движений и политических идей восемнадцатого и девятнадцатого века. Помимо собственных монографий и многочисленных статей С. П. вложил свои силы в организацию и редактирование больших коллективных работ, в том числе — посвященных истории русского масонства и «эпохе великих реформ». Усилиями С. П. был создан исторический журнал «Голос Минувшего», явившийся как бы продолжением бурцевского «Былого». В предреволюционной Москве С. П. был видной и ши-

роко известной фигурой, одним из выдающихся представителей умеренно левого направления русской общественности. В те годы он принадлежал к народно-социалистической партии, созданной теми последователями народничества, для которых была неприемлема революционная тактика социалистов-революционеров.

Большевистский переворот встретил в нем безоговорочного и непримиримого противника. Оставшись в Москве, он принимал участие в конспиративных антибольшевистских организациях, и эта его политическая работа едва не стоила ему жизни. Его эмигрантское существование началось в 1922 г., после того, как ему было разрешено выехать из России. Деятельность его в эмиграции шла по тем же линиям, что и на родине. По-прежнему он соединял свою работу в области русской истории с журналистикой и активным участием в общественно-политической жизни. Он возобновил издание исторического журнала, сначала под названием «На Чужой Стороне», а позднее — «Голос Минувшего на Чужой Стороне». Уж после войны он был в течение некоторого времени редактором журнала «Возрождение». Его исторические работы эмигрантского периода почти целиком были посвящены событиям революционного времени. Это неизбежно внесло в них публицистический элемент (можно думать, что сам С. П. не отделял в себе историка от политика) и столь же неизбежно вызвало возражения со стороны несогласных с его интерпретацией. Во всяком случае ему принадлежит почин первого детального изучения отдельных моментов в развитии русской революции, с результатами которого всем дальнейшим исследователям так или иначе придется считаться.

Политическая деятельность С. П. Мельгунова в зарубежный период его жизни сводилась главным образом к попыткам объединить различные группы эмиграции для совместной борьбы с большевизмом. Попытки эти не увенчались успехом, но, как известно, не удались они и никому другому. В актив политической работы С. П. Мельгунова несомненно следует отнести его решительную борьбу с соблазном «советского патриотизма» в первые после войны годы. В его лице эмиграция потеряла человека, горячо преданного России и делу ее освобождения.

Софью Владимировну Панину едва ли можно назвать политическим деятелем. У нее были свои политические убеждения, она принадлежала к кадетской партии и принимала некоторое участие в ее работе. Но не это является отличительной чертой, определяющей ее облик, и не в этом был ее жизненный пафос.

Если исходить из распространенного в дореволюционной России разделения между государственно-политической и культурно-общественной деятельностью, то можно сказать без колебаний, что именно к последней лежало сердце Софьи Владимировны. Из печатаемых нами ее воспоминаний видно, что главным делом своей жизни она считала участие в создании Народного Дома в Петербурге. В воспоминаниях этих, вопреки намерениям автора (с отличавшей С. В. скромностью она явно преуменьшает свою — в сущности, решающую — роль в этом замечательном культурном начинании), облик ее встает с такой яркостью, что к ним едва ли можно что-либо добавить. Можно только подчеркнуть некоторые характерные черты подхода С. В. Паниной к общественной работе.

Обычное, банальное понятие «благотворительности» к тому, что делала С. Н., никак не применимо. В одном месте своих воспоминаний она отвергает даже идею о жертвенности тех, кто такую работу делает: нельзя говорить о жертве там, где дающий находит такое глубокое удовлетворение и от самого процесса творческого созидания, и от повседневного общения с получающим. Непосредственные человеческие взаимоотношения были для С. В. неотъемлемым и чрезвычайно ценным элементом всякой общественной работы. Из отвлеченного понятия эта работа становилась конкретным, живым и личным делом, в котором любовь к ближнему заменяла любовь к дальнему. То же относится и к содержанию общественной работы такого типа. И оно определялось не стремлением к каким-либо общим, отдаленным целям, а потребностью удовлетворить непосредственные, жизненные человеческие нужды — удовлетворить их в данное время и в данном месте, в тех размерах, в каких это оказывалось фактически возможным. В воспоминаниях своих С. В. где-то говорит о «маленьких-великих» людях. Можно сказать по аналогии, что в ее работе для нее не было «малых дел» — были только «малые-великие» дела.

И еще одно нужно отметить. В представлении С. В. удовлетворение человеческих нужд не сводилось к заботе об улучшении материального положения тех, для кого она работала. Много было сделано Народным Домом и в этом направлении. Но основным в глазах С. В., как и ее сотрудниц и сотрудников, было удовлетворение духовных потребностей посетителей Народного Дома. Как в те предреволюционные годы, так и позднее, до конца ее жизни, главной заботой и главным делом С. В. Паниной была борьба за дух человеческий. Это и сделало ее одной из замечательных русских женщин нашего времени.

ВСТРЕЧИ С С. П. МЕЛЬГУНОВЫМ

С Сергеем Петровичем Мельгуновым мне довелось встретиться только в эмиграции, в конце 20-х годов, когда я переселился из Праги в Париж. С. П. выпускал тогда вместе с П. И. Рыссом журнал «Борьба за Россию» и предложил мне принять в нем участие. У меня было сомнение: С. П. был социалистом, я был всю жизнь противником социализма. Но после первого же свидания сомнения отпали: я узнал в нем человека, обладавшего редким среди русских даром — направить все силы в одну точку. С таким человеком хотелось вместе работать. Целью была ныне борьба за Россию; перед этой главной целью для него, как и для меня, все прочее отступало на задний план. Восхитила меня и замечательная способность С. П. в изображении прошлого и настоящего пробиваться через гущу противоречивых показаний и суждений и добиваться того, чтобы, согласно знаменитому изречению Ранке, выступало именно то, что подлинно было.

Вскоре обстоятельства изменились. Тяжелый экономический кризис, поразивший Францию, заставил С. П. из историка, журналиста и политического деятеля превратиться в куровода и садовника. Он поселился в Сан-Пиа, в ближайшем к Парижу уголке Нормандии, на берегу быстрой речки Эр, недалеко от шартрского собора, башни которого четко проступали на горизонте в ясные дни. Вскоре выяснилось, что в большом доме, центре его хозяйства, есть место для «платных гостей»; и вот летом 1932 года мы всей семьей поселились у Мельгуновых и быстро стали у них своими людьми. С. П. многие боялись за его «тяжелый характер». Да, он был тяжел, как у всех людей непоколебимо стоящих на известных принципах, но именно в пределах этих последних. А за этой преградой, каким очаровательным человеком и интересным собеседником на самые разнообразные темы он оказался! С моей покойной женой Татьяной Николаевной, как и он склонной к отчаянному спору, он иногда состязался часами — но потом всегда рад был согласиться, что спорилито они сравнительно о пустяках, тогда как в самом главном полностью сходились. И каким неожиданным открытием было, что он с величайшим удовольствием играет в «66»; чуть ли не каждый вечер устраивалась игра, в которой «два Сергея» — С. П. и мой 6-летний сын — сражались против «двух Татьян» — моей жены и 8-летней дочери. С. П. играл пре-

восходно и очень страстно; радовался выигрышу, но повидимому столь же искренно радовался и выигрышу своих противников.

А куриное хозяйство... По американским масштабам оно было очень маленьким (всего несколько сот кур) и примитивным — куры ютились в каких-то ветхих беседках и клетушках. Но была в нем замечательная черта — индивидуальная забота о птицах, из коих многие носили клички; одна, самая почтенная по возрасту, носила имя Царица, не совсем подходящее в хозяйстве убежденного республиканца. Заболевшие птицы брались в дом, где Прасковья Евгеньевна Мельгунова их лечила и почти всегда вылечивала. Куры неслись отлично. Великолепно росли овощи, и скоро местные крестьяне, недоверчивые как и их собратья во всем мире, стали относиться к этому, сначала показавшемуся странным чужаку, с уважением и даже любовью.

Только один раз довелось нам всей семьей длительно прожить в «имении» С. П. С огорчением узнали мы, что почти райскому житью в Сан-Пиа подошел конец. Мельгуновы переселились в один из далеких восточных пригородов Парижа, Шампиньи-сюр-Марн. Добраться туда было трудно; но мы продолжали видеться, пока судьба не перенесла сначала меня, а потом мою семью в Америку. Началась война; прервались на пять лет даже письменные сношения. Но одним из первых писем, дошедших до нас из свободной Франции, было письмо от С. П. Немало таких писем у нас сохранилось, всегда взволнованных, часто полных горечи от непониманья основных проблем России как иностранцами, так и в особенности русским зарубежьем. Когда позже С. П. стал редактором ежемесячника «Возрождение» он быстро поднял его на высокий уровень, в особенности своими статьями о февральской революции. С. П. просил и меня о статьях; я согласился, но он почему-то предпочитал печатать их в «Русском Демократе», также им редактировавшемся. Зато с большой радостью принял он к напечатанью в «Возрождении» нескольких стихотворений моей жены. Судьбе угодно было, чтобы появление первого из них почти точно совпало с ее кончиной.

Когда С. П. стал во главе «Координационного Центра», он предложил мне принять участие в его работе. Я отказался, сообщив С. П., что, по моему убеждению, американские граждане не должны участвовать в русских политических

организациях, что те из них, которые заняли известное положение в американском обществе, могут принести больше пользы России под американским нежели под русским флагом. С. П. со мною не согласился, но отнесся с уважением к моему мнению. На наших отношениях это разногласие никак не отразилось, и С. П., по моей просьбе, принял на себя наблюденье за печатанием в Париже сборника «Избранных стихотворений» Т. Н. Тимашевой.

Осенью 1955 года, после 17-летнего отсутствия я попал на 10 месяцев в Европу, и в январе 1956 года посетил Париж. Из переписки, преимущественно с Прасковьей Евгеньевной, я знал, что С. П. серьезно болен. Был назначен день свиданья, но в самый день его пришло «пти блё» (городская парижская телеграмма): болезнь осложнилась простудой, и свиданье приходится отменить. В апреле я снова был в Париже. На мой запрос П. Е. ответила, что С. П. рад будет меня видеть, но что он очень слаб и вряд ли вынесет больше чем пять минут разговора. Когда я вошел в комнату, где лежал больной, я едва узнал его: до того страдальческим, как-то странно уменьшившимся, показалось мне его лицо; только глаза горели попрежнему. С. П. так и не выпустил протянутой руки, а по его щекам потекли слезы. Не пять минут, а целых два часа длилась наша беседа. Мы говорили и о далеком милом нам прошлом, и об Америке, и о моих европейских впечатлениях, и о возможности устроить английское издание его истории большевистской революции — на этот счет у С. П. были некоторые надежды.

Настало время проститься, П. Е. вышла со мной в другую комнату и сообщила мне заключение врачей — тяжелая и мучительная болезнь С. П. всё же не неизлечима. Хотелось верить, но не верилось: на лице С. П. я увидел печать смерти, хорошо мне знакомую. Я был бы бесконечно рад, если бы оказался ложным пророком. Но, к несчастью, мое предчувствие меня не обмануло: вскоре С. П. не стало. Наша встреча с ним была действительно последней.

Н. С. Тимашев

БИБЛИОГРАФИЯ

С. Н. ПРОКОПОВИЧ. Сборник статей. Посмертное издание. Париж. 1956.

Из богатого литературного наследства С. Н. Прокоповича друзья покойного, во главе с его вдовой, Е. Д. Кусковой-Прокопович отобрали четыре статьи, объединенные общей идеей — о трудностях, встречаемых на своем пути демократией. Две из них никогда не были напечатаны, а третья появилась только на французском языке в Италии и потому осталась совершенно неизвестной русским читателям.

Наиболее интересной является первая из статей — «Способность народных масс к демократии». Автор, всю жизнь бывший убежденным сторонником демократии, не боится прямо сказать, что в отсталых странах, где демократия не была подготовлена широким развитием народного образования и участием масс в кооперативах, профессиональных союзах и органах местного самоуправления, эти массы по необходимости оказываются неподготовленными к демократии и легко поддаются соблазну диктатур. Эта опасность особенно велика в наше время ввиду расширения объема государственной деятельности. Конечно, революционная диктатура может быть благожелательна к демократии и может принять на себя задачу подготовить к ней массы; но может быть и иначе... В России это было именно «иначе». Революционная диктатура оказалась в руках Ленина. Его программе посвящена вторая статья, весьма актуальная в наши дни, когда «коллективное руководство» Советского Союза, по крайней мере официально, ищет вдохновенья у Ленина. Детально разбирая ленинскую программу, С. Н. Прокопович убедительно показывает присущую ей узость постановки вопросов, непродуманность и противоречивость.

Третья статья — «О национальном вопросе» — появилась в 1927 году в издававшемся С. Н. Прокоповичем «Русском Экономическом Сборнике», но по теме она весьма актуальна и сейчас. Особенно ценна первая половина, где мастерски показывается многогранность того объекта, который мы называем нацией или национальностью, и его зависимость от хозяйственного и культурного

развития той человеческой массы, в которой зарождается или заостряется национальное самосознание. Часть статьи, посвященная национальному вопросу в России, по понятным причинам устарела — она была написана до начала индустриализации, которая, по схеме С. Н. Прокоповича, должна была поставить вопрос по-новому. Можно, однако, учесть вероятный вывод автора: после завершения индустриализации, распад России на части по племенным признакам был бы тяжким ущербом для демократии.

Последняя статья, «Культурная и социальная опасность атомной бомбы», написанная около 1950 года, наглядно суммирует нарастание опасности для общества и культуры, благодаря усовершенствованиям в военной технике, дошедшим в наши дни до атомной, а ныне и до водородной бомбы. Любопытно, что в хронологическом перечне мероприятий, направленных к ограничению допустимых военных мер, на первое место выходит инициатива трех последних русских императоров. С. Н. Прокопович полагает, что единственное средство остановить взаимоистребление людей — это общий подъем культуры, при котором должны сгинуть «современные варвары, еще уцелевшие в недрах цивилизации», но он предлагает также несколько паллиативных мер, которые могли бы спасти хотя бы часть мирного населения. Эти варвары засели, конечно, не в демократиях; но именно проблема, поставленная в статье, может почитаться одной из проблем демократии, что оправдывает помещение статьи в сборнике, этим проблемам посвященном.

Н. С. Тимашев.

В. ДУДИНЦЕВ. «Не хлебом единым». Журнал «Новый Мир». №№ 8, 9, 10. Москва. 1956.

Роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым» привлек к себе большое внимание, как в Советском Союзе, так и за границей. И это несмотря на то, что он появился только в журнале «Новый Мир» и до сих пор не вышел отдельной книгой. Тем не менее, появление этого романа — литературное событие.

В чем причина успеха романа Дудинцева? Заслужен ли он? Мне думается, что заслужен. Некоторые читатели отрицательно отнеслись к роману с точки зрения чисто художественной. Тяжело. Местами наивно. Много схематичного. Всё это верно. И тем не менее всё это не так существенно потому, что в романе Дудинцева есть *главное* чего всегда требует подлинная литература: есть боль-

шая внутренняя тема, которую Дудинцев прекрасно провел через весь роман.

На роман Дудинцева я хочу даже указать, как на некое написание эмигрантской прозы. Ведь как это ни грустно, русская проза в эмиграции страдала и страдает от безтемы. Темы, которая бы стояла на уровне волнений современного читателя, наша литература, к сожалению, не нашла. И поэтому стала в Европе не европейско-русской, а скорее уездной русской литературой. Может быть особенно строго эмигрантскую литературу за это нельзя и обвинять, ибо кризис современного искусства — явление общее и корни его глубоки. Но я говорю об этом с сожалением потому, что эмигрантская литература — ведь единственная *свободная* русская литература. О советской литературе в этом плане нельзя даже говорить, ибо там в течение десятилетий в литературе была директива партии, а не писательская тема. И период советской литературы (начиная с конца НЭПа) грядущие литературоведы, вероятно, будут считать просто выпавшим из нашей истории литературы. Место сие — пусто. И вот тут-то появление романа Дудинцева радует потому, что в нем (повторяю, несмотря на многие его недостатки) есть большая тема, волнующая современного человека.

И в своем построении, и в подаче некоторых действующих лиц, роман Дудинцева страдает схематичностью. Он написан по-старинке. Язык тяжел (хотя легкость языка это вовсе не обязательное достоинство настоящей литературы; в неуклюжести языка Достоевского больше прелести и искусства, чем в изысканной но безземной прозе многих символистов). Повторяю, у прозы Дудинцева много недостатков. И при всем том «Не хлебом единым» — художественное произведение.

В чем же сила этого романа? Ведь наличия только большой темы — недостаточно. Тут надо сказать несколько слов о так называемой искренности в литературе. Конечно, многие литераторы-эстеты это понятие не только отрицают, но и высмеивают: «во всякой позе есть доля искренности, и во всякой искренности есть доля позы». Но это высмеивание решительно ни о чем не говорит кроме снобистической точки зрения некоторых мэтров. Кажется, Шекспир сказал, что гений это искренность. Это вполне относится ко всякому, даже небольшому таланту. Всякий неискренний талант (а таких сколько угодно, ну, хотя бы Андрей Белый) мертворожден. Его произведения лишены магии. Неискренний талант лишен способности загипнотизировать и увести читателя за собой, как лунатика. Только предельная творческая искренность художника, на-

деленного к тому же настоящим мастерством, — залог настоящей литературы.

Причина успеха романа Дудинцева отчасти именно в этом. В искренности. Пусть некоторые видят причину успеха романа в завуалированной постановке современных общественно-политических проблем, в своего рода разоблачительстве. На мой взгляд эта точка зрения неверная. Ведь те же самые проблемы, что поставил в своем романе Дудинцев были поставлены и в «Оттепели» Эренбурга. И даже, на мой взгляд, гораздо резче. Но никем книга Эренбурга не была принята всерьез, никого не взволновала. Потому, что Эренбург в своей искусственной фронде был похож на кремлевский флюгер.

Дудинцев же верит в то, что пишет — и в этом его сила. В своем романе Дудинцев вовсе не пошел в какую-то любовую атаку на власть. Роман построен совершенно по казенной схеме. И его формальная тема — тема о засильи партбюрократов и о борьбе с ними изобретателя из народа — это разрешенная властью тема, не раз и не два подававшаяся в советской литературе, как дежурное блюдо. Наконец в романе наряду с отталкивающими персонажами из кругов коммунистической бюрократии даны коммунисты с живыми человеческими сердцами, как майор Бадьин, инженер Галицкий и другие. Так что всё, казалось бы, укладывается в казенную схему. И редакция «Нового Мира» не совершала никакого государственного преступления, печатая этот роман.

Почему же с одной стороны у русского читателя роман вызвал к себе такое притяжение, а у власти — гнев, ярость, отповеди на страницах «Правды» и в конце концов — требование переделать роман? Как мне кажется, гнев власти и сочувствие читателя роман вызывает потому, что оставив в целостности казенную схему, куда прекрасно укладывается соцреалистический заказ, Дудинцев трактуя ее, может быть даже невольно (так бывает у настоящего художника) убедительно показал, что в Советском Союзе живут две России, стоящие друг против друга в идейной и мировоззренческой непримиримости. Одна Россия — официальная, верхняя, ленинско-сталинская со всем ее чудовищным государственным аппаратом, угнетающим человека. И другая Россия — настоящая, живущая страшной и трудной жизнью под этим глетчером официального коммунизма. И вдруг в романе Дудинцева из-под этого глетчера заговорил настоящий человеческий голос. И больше того — всем знакомый русский голос. На этот живой русский голос — голос героя романа Лопаткина — и отозвались читатели таким громовым эхом. О чем же заговорил этот голос? О самых простых вещах: о необходимости свободы творчества, о настоящих свободных че-

ловеческих отношениях, о дружбе, о ценности настоящей любви, о свободе человека и о том, что он жив «не единым хлебом».

Дроздов — типичный представитель верхней России. Вот как его подает Дудинцев: — «Я живу только как работник, дома, на службе я везде только работник. Мне звонят ночью, когда я спящий человек...» — «Мы работаем на базис. Чем лучше я его укреплю, базис, тем прочнее наше государство. Это, тебе, родная, не Тургенев». А когда жена его, Надя, говорит ему о той полной изоляции от людей, в которой они живут, о полном отсутствии друзей, Дроздов отвечает: — «Настоящих друзей? Вот чего захотела... Друзей у нас здесь быть не может. Друг должен быть независимым, а они здесь все от меня как-нибудь да зависят. Изоляция, милая. Чистейшая изоляция. И чем выше мы с тобой пойдем в гору, тем полнее эта изоляция будет...»

А вот представитель другой, низовой России — Лопаткин: — «Как-нибудь победим. Народ то существует или нет?..» — «Монополия... И бьют всех инакомыслящих. А инакомыслящих уничтожать нельзя. Они, как совесть, нужны тебе же... Мы с ними действительно враги... Они глядят уже не вперед, а назад. Их цель удержаться в кресле... А открыватели нового служат народу. Открыватель всегда инакомыслящий, в любой отрасли знания...» И другой представитель низовой России Крѣхов говорит Лопаткину: — «Дмитрий Алексеевич! Чудо! Вы идете, как Христос по волнам!»

Живая Россия, живущая под глетчером коммунизма, показана в романе в образах самого героя романа Лопаткина и людях его окруживших в его трудной борьбе с партбюрократами. Это — семья рабочего Сянова, учительница Валентина Павловна, недобиток, немного свихнувшийся изобретатель профессор Бусько, советские служащие Крѣхов и Антонович, и, конечно, Надя, уходящая от высокого партбюрократа Дроздова к нищему изобретателю Лопаткину. Но Дудинцев своим скальпелем деля Россию на эту страшную черную сотню власти и всё к ней примыкающее, и на живую Россию, вовсе не разрезал ее на партийную и беспартийную. Нет. Скальпель Дудинцева прошел иначе, он и в партии нашел некоторых живых людей, которые вполне могут сомкнуться с настоящей Россией. Его тема гораздо острее, глубже и значительнее. Она направлена не только против верхушки партийной бюрократии, нет, Дудинцев поворачивает свою тему вообще против, так называемого, особо распространенного «нового человека» с «волчьей искоркой в глазах» и с особой «пробивной силой» Этот человек, порожденный диктатурой, лишен многих человеческих и, в частности, для русского человека его традиционных духовных черт. Роман Дудин-

цева — против того самого «неандертальского» человека, которого с таким искусством показал еще Артур Кестлер в книге «Darkness at noon». И в этом смысле тема Дудинцева перекликается с темами многих писателей Запада: это борьба человека подавляемого чернью, ныне превратившейся в России в страшную всёподавляющую власть.

И именно здесь я хочу отметить еще одну характерную для романа Дудинцева особенность. Этот роман, как мне кажется, имеет такой успех и потому, что в своей мировоззренческой теме он смыкается с русской классической литературой. Его главные герои — это вовсе не герои Леонида Андреева, Арцыбашева, Горького — нет они гораздо ближе толстовским и тургеневским героям. При всей своей советскости в их образах черты именно того русского человека, к которому привыкла наша классическая литература. Это русский человек с запросами и вопросами. И тут мне хочется сказать о той, может быть единственно твердой среди коммунистического океана скале духовного сопротивления, которую представляла и представляет собой русская классическая литература в нашей стране. Мне думается, что самое сильное духовно-мировоззренческое сопротивление — в течение всех лет диктатуры — шло в народ отсюда. Именно из этой литературы черпали и черпают массы народа ту духовную зарядку невидимого сопротивления всё подмявшей под себя плоской и вульгарной философии тоталитаризма. И как бы власть ни пыталась оббивать и уродовать эту духовную скалу нашей культуры, уничтожить ее она не в силах. Классическая литература продолжает оставаться почти единственным духовным прибежищем народа. И это дает свои плоды. Пример — Дудинцев. Вся духовная направленность его романа от традиций былой вечной русской культуры. И именно эта духовная традиция в романе Дудинцева героически побеждает в звериной волчьей борьбе людей в так называемом бесклассовом обществе СССР.

Роман Дудинцева — очень русский. И в этом его большое качество. Этой чертой, национальной (но в самом я бы сказал утонченном понимании этого слова), произведения советских авторов отличаются редко. В годы войны и в послевоенные годы вышло много, так называемых, патриотических книг. Но это — поверхностная, казенная, подчас шовинистическая, а потому фальшивая национальная оболочка. Роман же Дудинцева национален внутренне. Совершенно прав критик лондонского «Таймса», когда пишет: — «Дмитрий Лопаткин, герой книги, чей неукротимый дух одержал победу над бедствиями, тюрьмой и партийно-бюрократической кликой — представляет собой новый национальный харак-

тер, о котором мы еще очень мало знаем.» Только критик ошибается в том, что это *новый* национальный характер. Нет, это старый национальный русский характер, сохранившийся и закалившийся под гнетом коммунистического глетчера.

Говоря об этой русскости характеров романа Дудинцева и о смычке его с классической литературой, отмечу хотя бы только одну характерную черту в отношениях между действующими лицами. Это — исконно-русская стыдливость чувств. Эта черта выступает особенно в отношениях Лопаткина и Нади, и в любви к Лопаткину Валентины Николаевны. На Западе эта черта не в фаворе. А для читателей некоторых стран, например, французов, она будет вероятно и непонятна и несколько даже смешна. Вот, например, одна из любовных сцен между Лопаткиным и Надей: «Они посмотрели друг другу в глаза и пошли гулять на Ленинградское шоссе». Средний здравомыслящий француз наверное решит, что в этом случае они сошли с ума. А любящее письмо Нади к Лопаткину? Таких писем в русской литературе, начиная с письма Татьяны, множество. Всё это только подчеркивает, что несмотря на все страдания русского человека, на все уродования властью его характера, в нем уцелела, и живет прежняя духовная основа.

«Скажите вы верите в коммунизм?» — спросил Лопаткин профессора Бусько.

Старик покраснел.

Я как-то не задумывался над этим...»

Повторяю, сила и значимость романа Дудинцева в том, что в нем ясно противостоят друг другу две борющиеся России. И низовая Россия, которая говорит, что «не единым хлебом жив человек», показана гораздо более сильной.

Роман Гуль

РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ. Под редакцией М. Карповича и Дм. Чижевского. Нью Йорк, 1956, стр. 240. \$4.00.

Перед нами новое издание того типа, в котором давно (во всяком случае с тех пор как прекратился редактировавшийся покойным С. П. Мельгуновым журнал «Голос Минувшего на Чужой Строне») ощущалась нужда в русском Зарубежье. «Русский Литературный Архив», изданный Отделением славянских языков и литератур Гарвардского Университета совместно с Библиотекой того же Университета, задуман не как периодическое издание, но редакторы выражают надежду, что за первым сборником последуют и дальнейшие. Мы разделяем эту надежду.

Состав сборника до некоторой степени случаен — в том смысле, что почти все печатаемые в нем неизданные (или полуизданные) материалы являются собственностью отдела редких книг и рукописей библиотеки Гарвардского Университета (Houghton Library) — но тем не менее достаточно разнообразен и интересен. Материал расположен хронологически. Девятнадцатый век представлен Пушкиным, Вяземским, Гоголем, Тургеневым и Лесковым; двадцатый — Блоком, Маяковским и Цветаевой. На первом месте находим рукопись второй редакции пушкинского стихотворения «К морю», к которой краткий, но содержательный комментарий дает Д. И. Чижевский, прослеживающий трактовку трех основных тем стихотворения — море, Байрон, Наполеон — в русской поэзии пушкинской поры. Интересно замечание Чижевского об «амбивалентности» поэтических высказываний Пушкина. Неясно, почему «Воздушный корабль» Лермонтова Чижевский несколько раз называет «Волшебным кораблем» — как будто во всех изданиях Лермонтова это стихотворение всегда озаглавливалось «Воздушный корабль» (в тексте корабль называется раз «воздушным» и раз «волшебным»; заглавие оригинала у Цедлица — «Корабль призраков», *Das Geisterschiff*).

Два письма кн. П. А. Вяземского редактору *Revue Encyclopédique*, Марку Жюльену приготовлены к печати Ю. П. Иваском. Оба письма связаны с проектировавшимся сотрудничеством Вяземского в этом журнале в качестве русского осведомителя. Одно из них, публикуемое впервые, представляет интерес для характеристики взглядов Вяземского в его либеральный период; другое уже было напечатано в русском переводе, но здесь впервые дается во французском подлиннике. В своей комментарии к письмам Ю. П. Иваск отзывается немного пренебрежительно, мне кажется, о сотрудничавшем в *Revue Encyclopédique* С. Д. Полторацком, которому в ту пору было всего 20 лет: у этого международно известного библиофила немалые заслуги перед русской библиографией, и ему принадлежит ряд историко-литературных работ (напр., о русско-американском писателе А. Г. Евстафьеве, о русских переводчиках Вольтера и др.). Полторацкий, кстати, дружил с другим приобретшим международную известность библиофилом и библиографом, приятелем Пушкина С. А. Соболевским. Малообоснованным во всяком случае представляется примечание Иваска о том, что под «*gueux*» в письме Вяземского подразумевается Полторацкий. Письма Вяземского сопровождаются также небольшой заметкой Р. Галлана о французском языке Вяземского. Галлан приходит к выво-

ду, что, «несмотря на некоторые... погрешности, его французский стиль — это стиль образованного француза той эпохи».

Два публикуемых Д. И. Чижевским коротеньких письма Гоголя (одно из них печатается впервые, другое уже было в печати, но с искажением своеобразной орфографии Гоголя) особенного интереса не представляют и не дают материала для сколько-нибудь развернутого комментария. С другой стороны отрывок черновой рукописи «Записок из мертвого дома» дает повод тому же Д. И. Чижевскому высказать несколько интересных соображений и о характере работы Достоевского над рукописями, и об идеологии писателя, поскольку она отразилась в данном отрывке (семь страниц печатного текста).

Записки и письма И. С. Тургенева к известному деятелю освобождения крестьян Николаю Алексеичу Милютину и его жене Марии Аггеевне являются новинкой лишь частично: из 37 публикуемых Д. И. Чижевским эпистолярных единиц лишь семь — и притом не самые интересные — печатаются впервые, в остальных же мы находим лишь исправление и пополнение первоначального текста по подлинникам. Письма охватывают десятилетие 1867-1877 г., и большая часть их адресована М. А. Милутиной, некоторые уже после смерти ее мужа. Чижевский снабдил письма обстоятельными пояснительными примечаниями, поставив даваемый ими материал в связь с другими источниками биографии Тургенева и проявив большую дотошность в попытке датировать те из них, которые не датированы Тургеневым. Отметим, однако, что в примечании к письму № 1, где Тургенев пишет, что вернулся с охоты, Чижевский говорит, что охота могла быть весенней или осенней, и на этом основании датирует письмо предположительно концом апреля или августом-сентябрем 1867 г. Между тем в письме № 5 (из того же Баден-Бадена), с датой 2/14 января 1868 г., Тургенев пишет: «Дурная погода помешала нам сегодня поехать на охоту, вследствие чего мы едем завтра». Стало быть, охота могла быть и в январе, и письмо № 1 могло относиться к тому же времени, что и письмо № 5 (в дальнейшем сам Чижевский говорит в одном месте о «зимней» охоте). То же относится к письму № 3, датированному Чижевским «по сообщению об охоте».

Письма Н. С. Лескова к Э. М. Диллону и О. И. Лесковой приготовлены к печати молодым американским славистом Ю. Маклейном и снабжены его предисловием. Из 10 писем Лескова к известному английскому журналисту, многолетнему петербургскому корреспонденту газеты *Daily Telegraph*, три и отрывок из четвертого были уже опубликованы в английском переводе в книге Диллона о

Толстом (там же было напечатано факсимиле двух страниц из двух других писем). Публикация этих писем полностью и в подлиннике представляет интерес и для биографии и характеристики Лескова, и для биографии Л. Н. Толстого, и для истории их взаимоотношений. Письма касаются главным образом эпизода с напечатанием Диллоном в *Daily Telegraph* непропущенной русской цензурой статьи Толстого о голоде 1891 г. Лесков выступает здесь перед нами как *plus tolstoïste que Tolstoï même*. Чтобы сделать весь эпизод ясным читателю, Маклейн предпосылает письмам «Хронику диллоновской истории». Он сообщает также интересные сведения о русской карьере и русских связях Диллона. Четыре письма Лескова к Ольге Ивановне Лаунерт, его будущей невестке, тогда пятнадцатилетней девушке, рисуют нам Лескова-моралиста и немного брюзгу. Как замечает Маклейн, «Хотя почти все его замечания справедливы, и хотя очевидно, что он пишет вполне искренно, всё-таки его проповедь представляется нам слишком настойчивой, навязчивой по отношению к молодой девушке». Каким во многом «трудным» человеком был в жизни Лесков, хорошо видно из интереснейшей и богатейшей по материалу биографии его, написанной тем самым сыном (Андреем), первой женой которого стала О. И. Лаунерт, впоследствии разошедшаяся с ним и после революции эмигрировавшая. Письма к ней печатаются по принадлежащим ей копиям.

Из материалов XX века наименьший интерес представляет письмо Александра Блока от 20 сентября 1913 г., приготовленное к печати Е. К. Стенбок-Фермор. Письмо носит на обороте помету чьей-то другой рукой: «к Какнебуту», и автор публикации в примечании говорит: «Имя Какнебут расшифровать не удалось». Нет никакого сомнения, что речь идет об искаженной фамилии М. М. Гаккебуша (Горелова), редактора утреннего издания «Биржевых Ведомостей» (вероятно, «Какнебуту» — ошибочное чтение вместо «Хаккебушу»: Гаккебуш латиницей мог писать свое имя через «Н», отсюда «Х»). Письмо обращено к «Михаилу Михайловичу» (так именно звали Гаккебуша), которого Блок благодарит за «любезное предложение написать рассказ для 'Нового Слова', прибавляя: «Я бы сделал это с удовольствием, но рассказы мне не даются». «Новое Слово» было, как указывает Е. К. Стенбок-Фермор, ежемесячным литературным приложением к «Биржевым Ведомостям», которое редактировал Иероним Ясинский. Гаккебуш-Горелов попал после революции в эмиграцию и одно время был близок к сменовеховцам. Дальнейшей судьбы его я не припоминаю, но в Россию он как будто не вернулся.

Очень интересны зато обе последние публикации в сборнике, касающиеся Маяковского и Цветаевой. Неизданные тексты Маяковского приготовлены к печати хорошо его знавшим Р. О. Якобсоном. Самые тексты, правда, либо не совсем новы, либо не так уж интересны: мы имеем здесь обращенное к некоей русской парижанке Татьяне -ой стихотворное послание, несколько стихотворных записок при посылке ей же цветов и шесть дарственных надписей на книгах (три ей же и три самому Якобсону). Стихотворение к Татьяне -ой состоит из 53 стихов, из которых 32 были уже напечатаны (правда, не совсем точно) тем же Якобсоном в нью-йоркском «Новосельи» в 1942 году. Кроме того, уже после того, очевидно, как публикация Якобсона была готова к печати, и потому без учета в ней, стихотворение это целиком и с раскрытием фамилии адресатки («Письмо Татьяне Яковлевой») напечатано в советском журнале «Новый Мир» (1956, апрель, стр. 59-62) в связи с начавшим выходить новым 13-томным Собранием сочинений Маяковского (стихотворение это должно войти в т. IX нового собрания). В «Новом Мире» стихотворение снабжено небольшим комментарием Н. Реформатской, заведующей научным отделом Музея Маяковского в Москве. Тексты Якобсона и «Нового Мира» несколько различаются.

Ценность публикации Якобсона не в самих текстах, а в тех фактах биографии Маяковского, которые он сообщает в связи со стихами, и в комментарии к поздней лирике Маяковского. Факты касаются романа Маяковского с молодой русской эмигранткой (ей было тогда 18 лет), о котором мы не найдем ничего в самых подробных советских летописях жизни Маяковского (например, у Катаняна), но на который сам Маяковский намекает в «Письме товарищу Кострову» и который упоминается в воспоминаниях Виктора Шкловского*. Знакомство произошло в конце октября 1928 г. и продолжалось тогда всего немногим больше месяца — до возвращения Маяковского в Москву в начале декабря. «Письмо Татьяне Яковлевой» было написано в ноябре. В Париже Маяковский часто декламировал его в русском обществе. После его возвращения в СССР между ними установилась переписка (кроме того ей по заказу Маяковского раз в неделю доставляли из цветочного магазина цветы), а два месяца спустя, в двадцатых числах февраля, они опять встретились — на этот раз на два месяца с небольшим (в начале мая Маяковский был снова в Москве). Якобсон отмечает,

* В комментарии Н. Реформатской в «Новом мире» о биографической подоплеке стихотворения почти ничего не говорится.

что толков о политике со своей парижской знакомой Маяковский избегал, «а когда заходил разговор на эту тему, несловоохотливо поддерживал официальную линию», но, если верить г-же Я. (в передаче Jakobsona), «соприкосновение с парижской жизнью и французским культурным миром... невольно начинало действовать, и уклад московской жизни... временами терял свою первоначальную привлекательность». Скажем от себя, что по стихам Маяковского как парижского, так и последующего периода это не чувствуется. За разлукой опять последовала переписка — всего, по словам Jakobsona, сохранилось семь писем и 25 телеграмм Маяковского; из некоторых писем Jakobson приводит выдержки. Переписка продолжалась до 5 октября 1929 г., когда Маяковский получил из Парижа «письмо бесповоротно прощальное». Всё это время он якобы рвался за границу, но уехать не удавалось, а в сентябре, как говорит Jakobson, ему было «наотрез отказано» в разрешении на выезд, о чем в Париже не было известно, когда отправлялось «прощальное» письмо (и о чем, конечно, умалчивают все советские биографии Маяковского). Что весь этот эпизод как-то должен был сыграть роль в воследовавшей трагической развязке, едва ли подлежит сомнению. Jakobson связывает с ним (через более ранние черновые наброски) знаменитые предсмертные строки об «исперченном инциденте» и о любовной лодке, разбившейся о быт. В связи с этим, впервые детально освещаемым, эпизодом биографии Маяковского Jakobson развивает интересные соображения о чередовании в поэзии Маяковского «лирики» и общественно-политических мотивов, но при этом проявляет, мне кажется, некоторую односторонность в привлечении фактического материала и несколько упрощает и драматизирует «ситуацию». Говоря сначала о чередовании лирической и антилирической стихий в творчестве Маяковского и намечая четыре лирических цикла, Jakobson затем сам признает *сосуществование* этих двух стихий: «Две противоположных силы — подавление и воскрешение лиризма постоянно соучаствуют в творчестве Маяковского». — Говорить, что последний период Маяковского прошел под знаком «лирики», едва ли возможно. Jakobson сам указывает, что одновременно с романом с -ой дописывалась такая антилирическая вещь как «Клоп». Уже после того была написана «Баня». Не только всего за год до парижской встречи Маяковский сделал не приводимое Jakobsonом заявление о том, что он *не поэт* («Говорят, что вот Маяковский, видите ли, поэт, так пусть он сидит на своей поэтической лавочке... Мне наплевать на то, что я поэт. Я не поэт, а прежде всего (человек), поставивший свое перо в услужение, заметьте — в услужение сегодняшнему

часу, настоящей действительности и проводнику ее — советскому правительству и партии»), но и после октября 1928 года «услужение» добросовестно и неустанно продолжается. В те самые парижские дни, когда происходит его роман с Татьяной -ой, он пишет такое социально-направленное и, надо сказать, грубое стихотворение, как «Парижанка» (о женщине, прислуживающей в уборной маленького ресторана «Гранд-Шомьер» — кстати, Якобсон упоминает, что он обедал с Татьяной -ой в ресторане «Птит-Шомьер») и еще более грубую вещь — «В 12 часов по ночам» (по поводу смерти вдовствующей императрицы Марии Федоровны). По возвращении в СССР Маяковский весь уходит в политику (может быть, и ищет забвения?): выступает на съезде воинствующих безбожников, организует на место ЛЕФ-а РЕФ (Революционный фронт) с его лозунгом «примат цели и над содержанием и над формой» и протестом против «аполитичности», и — уже незадолго до смерти — вступает в РАПП, тот самый РАПП, который его всё это время травил. За три недели до смерти, на одном собрании, в ответ на упоминание о «социальном заказе» (формула, вычеканенная в свое время им самим), он принимает вызов и бросает: «То, что мне велят, это правильно», прибавляя: «Но я хочу так, чтобы мне велели!» Конечно, эти слова могут быть тоже истолкованы как вызов. В этот же последний период, как раз за какие-нибудь два месяца до отказа ему в разрешении на выезд за границу, Маяковский пишет свой знаменитый и ставший хрестоматийным гимн советскому паспорту (должны мы его теперь понимать как насмешку?), а позже — такое программное стихотворение как «Во весь голос», в котором Якобсон видит первое, не-лирическое, вступление к новой поэме, за которым должно было последовать лирическое. Не касается Якобсон и еще одного существенного момента в жизни и характере Маяковского — его пристрастия к «благам жизни». Этому есть много свидетельств в летописи жизни Маяковского, хотя сам он и писал, что ему ничего не надо «кроме свежее вымытой сорочки». Но возьмем только тот период, о котором идет речь в комментарии Якобсона. Одной из целей поездки Маяковского в Европу осенью 1928 года было заключение выгодных договоров с западноевропейскими издателями и кинематографическими обществами. По дороге в Париж он в Берлине ведет переговоры с Malik-Verlag, в Париже — с Ренэ Клером. На ожидаемые от «капиталистов» деньги он мечтает приобрести автомобиль, о чем откровенно пишет в Москву: «Дела пока не ладятся... Парижских ауспиций не видать, вся надежда на Малик — хочет подписать со мной договор! Ввиду сего на машины пока только облизы-

ваюсь — смотрел специально автосалон...» Несмотря на неудачу переговоров с Ренэ Клером, машина покупается, и в самый разгар своего романа с Т. -ой (11 ноября 1928 года) Маяковский телеграфирует в Москву: «Покупаю Рено красавец серой масти 6 сил 4 цилиндра кондуит интерьер двенадцатого декабря поедет в Москву». Одновременно, предвидя нападки на себя за «буржуазные» вкусы со стороны своих недругов в лагере пролетарской литературы, Маяковский пишет свое поэтическое самооправдание — «Ответ на будущие сплетни», который кончается строчками: «Ну, что ж, / простите, пожалуйста, / что я / из Парижа / привез Рено, / а не духи / и не галстук». Интересный комментарий Р. О. Якобсона грешит поэтом некоторой стилизацией и идеализацией — естественной может быть, в противовес тем, кто отрицает у Маяковского всякий лиризм. О последнем, впрочем, всего лучше сказал сам Маяковский:

Но я
себя
смирля,
становясь
на горло

собственной песне. («Во весь голос»).

Письма Марины Цветаевой к Ю. П. Иваску, приготовленные к печати этим последним, несомненно самый интересный документ во всем сборнике. Литературные темы в них доминируют — для Цветаевой поэзия была всем, а для ее корреспондента самая переписка возникла из его интереса к поэзии Цветаевой и любви к поэзии вообще — но они переплетаются с темами лично-биографическими (как всегда у Цветаевой). Письма дают много для понимания Цветаевой. Когда она пишет, что не любит Толстого или «неизмеримо больше» любит Гёте, или что ни с Толстым ни с Достоевским «не хотела бы жить — и ни в курган ни на остров их книг не возьму», это нас не удивляет. Но довольно неожиданно в том же письме звучит заявление: «Из русских книг больше всего люблю Семейную Хронику и Соборян, — два явно — *добрых* дела. За *добрую силу*». Интересно замечание Цветаевой о том, что в ней вообще «мало русского», что и кровь у нее смешанная («дед с материнской стороны... из остзейских немцев, с сербской приправой, бабушка... чистая полька, со стороны матери у меня России вовсе нет»), и духовно она тоже «полукровка»: «Я в мире люблю не самое глубокое, а самое высокое, потому русского страдания мне дороже гётевская радость, и русского метания — *то* уединение». Неудивительно поэтому, что она пишет: «Достоевский мне в

жизни как-то не понадобился». Хорошо и верно говорит Цветаева о своей многоликости, о том, что в ней сожительствуют по меньшей мере «семь поэтов». В письмах вообще много такого рода самооткровений, порой лапидарно-образно выраженных. По поводу свойственных ей постоянных подчеркиваний, избытка у нее курсива, она вдруг роняет: «Я вся — курсивом».

Недоброжелатели Цветаевой, говорившие о ее эгоизме и самомнении, найдут в письмах подтверждение своим утверждениям. Цветаева решительно отвергает скромность: «Все настоящие знали себе цену — с Пушкина начиная», пишет она и продолжает: «Или, м. б. — кончая, ибо я первая после Пушкина, кто так радовался своей силе, так открыто, так — бескорыстно, так непереубедимо!» И дальше: «Нельзя не знать своей силы. Можно только не знать ее пределов... Из равных себе по силе я встретила только Рильке и Пастернака. Одного — письменно, за полгода до смерти, другого — незримо. О, не только по силе поэтической! По силе всей + силе поэтической (словесно-творческой)».

Надо быть благодарным Ю. П. Иваску за опубликование этих интересных писем. Они гораздо интереснее писем той же Цветаевой к поэту Анатолию Штейгеру, напечатанных в прошлом году в «Опытах» (кстати, в письмах к Иваску отношения со Штейгером упоминаются, и приоткрывается, почему они не «вышли»). Можно только сделать Иваску два упрека: 1) его комментарии выиграли бы от несколько большей детализации, поскольку переписка представлена односторонне, и не всегда всё до конца ясно в письмах Цветаевой без встречных писем Иваска; и 2) в письмах слишком уж много купюр, которые и интригуют, и раздражают. В предисловии сказано: «Полностью печатать их нельзя. В письмах упоминаются лица, еще живущие». Дело, конечно, не в том, что лица еще живые упоминаются. Но чувствуется, что редактор, в боязни задеть некоторых лиц, заходит слишком далеко, забывая, что покойнику о живущих можно позволить гораздо больше, чем живым. Подобная редакторская цензура плохо вяжется с натурой самой Марины Цветаевой. Да и по контексту во многих случаях сдается, что своим правом купюр Иваск пользовался очень широко. От этого письма в какой-то мере теряют.

Насколько можно судить без доступа к оригиналам печатаемых документов, серьезных опечаток в сборнике нет. Некоторые мелкие погрешности легко поддаются исправлению читателем. Отметим неправильные инициалы на стр. 37 и 113 (следует: А. Подолинский и Б. Н. Чичерин). В примечаниях к письмам Цветаевой — ошибка в имени её дочери: её звали Аля (Ариадна), а не Ася.

Часть печатаемых документов воспроизведена в виде факсимиле (автограф Пушкина, черновик Достоевского, начало одного из писем Тургенева, стихотворение Маяковского).

Глеб Струве

Г. АНДРЕЕВ. *Горькие воды*. Очерки и рассказы. Франкфурт/М. 1954.

Г. Андреев — писатель из новой эмиграции. Его книга состоит из двух частей. В первую — входят отрывки из воспоминаний. Вторую составляют рассказы из советской жизни и из жизни в Германии.

У автора книги м. б. не очень громкий писательский голос, но он как-то сразу запоминается. Больше того: Андреев умеет завоевывать читательское доверие. Вот только один небольшой пример: в современной литературе, как советской, так и эмигрантской, можно теперь часто встретить в качестве действующего лица шофера. Кроме Мирзоева в романе «Кружилиха» и Тоси Алмазовой в повести «Ясный берег» В. Пановой, шоферы есть в произведениях Паустовского, Федина, Чаковского, в очерках Овечкина; шоферам посвящен роман «Водители» А. Рыбакова. В эмигрантской литературе роман Г. Газданова «Ночные дороги» ведется от имени русского парижского шофера. В очерках Г. Андреева тоже есть беглый силуэт шофера, и он так выразителен, что сразу западает в память:

«Наши шоферы — потомки ямщиков. Многие из них любят разухабистую вихревую езду. Однажды я думал, что не останусь в живых: шофер-девушка, богатырски-сильная и дочерна загоревшая, перед этим занятая срочной работой, не спала две ночи. Она дремала, склонившись на руль, но машину гнала так, словно мы катили не по степной дороге, а по бесконечному утрамбованному плацу. Два раза мы въезжали в неглубокую придорожную канаву, несколько раз шаркали бортом о телеграфные столбы — то ли чудо выручало, то ли крепость самодельных бортов трехтонки»...

Хороши и андреевские пейзажи:

«Плетется дорога по холмам и пригоркам, гудят нескончаемую песню провода над головой, гулко прожужжит, вдруг откуда-то вылетев, навозный жук, заливаается в неоглядном небе невидимая пичуга — ширь, простор, и в груди такая же ширь и радостный, примиряющий покой. Никого не видно на десятках километров, идешь один и ничего нет: ни Союзрыбы, ни прошлого, ни будущего, только вечные степные тишина и покой...»

У очерков имеется подзаголовок «На стыке двух эпох». Они начинаются с рассказа о том, как автор, отбыв восемь лет концлагеря, в один долгожданный день был вызван в Учетно-распределительный отдел лагеря, где ему выдали справку о его освобождении. Согласно этой бумажке он имел право поселиться в любом месте Советского Союза, кроме сорока одного города, в том числе обеих столиц и ряда крупных областных и республиканских центров. За годы концлагеря Андреев растерял все свои прежние связи с волей и ему было безразлично куда ехать. Он выбрал маленький степной городок на юго-востоке страны. В последние годы пребывания в лагере он часто мечтал о дне освобождения. Но, выйдя через проходные ворота лагеря, он поймал себя на том, что ничего не испытал. Только на вторые сутки, очутившись в ночном Ленинграде, через который лежал его путь, он подпал под чары колдовской красоты этого города и понял, что, выйдя из лагеря, он живет в состоянии какого-то оцепенения, словно боится: а вдруг он снова проснется на жестких нарах и как сумасшедший побежит в привычный строй к человеку с винтовкой...

По приезде на место, Андреев с первого же дня стал испытывать трудности своего «второго рожденья»: в гостинице не оказалось места для бывшего сидельца концлагеря, на работу его боялись принимать. Но в конце концов судьба улыбнулась ему: он нашел комнату у тихой старушки и место на заводе у молодого еще директора Непоседова, не испугавшегося андреевского документа из лагеря. Непоседов оказался по-своему интересным человеком: родителей своих он почти не помнил, рос в детских домах, откуда часто убегал. Несмотря на такую биографию он к 25 годам стал директором завода. Политики Непоседов не любил. И хотя на пост директора он был выдвинут компартией, в глубине души Непоседов считал, что всего этого он добился сам. Около Непоседова нельзя было жить, не заражаясь его энергией и вскоре Андреев и Непоседов стали друзьями. Но директор перерасходовал смету и был в конце концов снят с работы и переведен в Москву в резерв работников Наркомата, а Андреев решил попытать счастья в областном центре. Здесь ему вновь пришлось столкнуться с теми же трудностями, которые выпали на его долю в районном городке. Правда, за полтора года работы ему удалось скопить небольшую сумму денег. В конце концов он и на новом месте нашел кров и работу. Портретом Непоседова открывается в очерках галерея хозяйственников и администраторов советской провинции. В рамках небольшой рецензии нет возможности останавливаться на этих литературных портретах. Интересны не только эти зарисовки, но

и многие наблюдения автора. Например, в награду за свою работу Непоседов был премирован автомашиной. Надо было видеть радость директора, он был влюблен в машину и возился с ней, как ребенок с игрушкой, о которой давно мечтал. Андреев замечает, что и в этом Непоседов не был исключением: «в конце 20-х и в начале 30-х годов среди молодежи было чуть не поголовное увлечение техникой». И только к концу 30-х годов это увлечение техникой прошло и прежняя любовь сменилась почти «презрением» к машине... События «ежовщины» и больших процессов в провинции не вызвали особо оживленного отклика: «...мы выслушивали на собраниях пропагандистов райкома о 'происках врагов народа'... послушно голосовали за вынесение им смертных приговоров, но между собой все это почти не обсуждали: расправа производилась где-то на недостижимой высоте и люди чувствовали, что лучше на эти темы не говорить. Получался никем не организованный заговор молчания»...

Ярки впечатления о начале войны и о бегстве из Москвы советской партийной и хозяйственной бюрократии. До начала войны автор работал преимущественно в провинции, изредка лишь приезжая в столицу. С началом войны он решил переехать в Москву, поближе к своему «главку». Кое-как добрался до Кимр. Отсюда можно было ехать поездом, но в ночной тьме трудно было разыскать дорогу на вокзал. Андреев пошел напрямик через поле и здесь наткнулся на одинокую женщину. Она сидела на чемодане и плакала, около нее на мешке устроилась ее дочка и тоже плакала. Андреев помог им нести чемодан и кое-как они добрались до вокзала. Поезд был переполнен. Среди пассажиров было много людей бежавших с работ из-под Калинина (Тверь). Калинин был уже занят немцами. В Москве Андреев стал свидетелем лихорадочного уничтожения корреспонденции в главке: «Секретарши, чертежницы, счетоводы, машинистки охотно предаются делу уничтожения. Похоже, их охватила радость разрушения».

Среди рассказов Андреева хочется выделить «Тамару». Тематически этот рассказ как бы продолжает серию очерков: осенью 1941 года рассказчика командироват из Москвы в Новосибирск для приема вывозимого из Европейской России оборудования. Здесь он встречает буфетчицу заводской столовой Тамару, бывшую комсомолку, умудрившуюся «в сердце своем» остаться цельной натурой, способной на большое чувство. Книга из таких рассказов была бы слабоватой, но будучи поданы в сочетании с очерками, эти рассказы вносят свою лепту в прерывистый повествовательный поток воспоминаний автора.

В. Александрова.

М. Е. ВЕЙНБАУМ. На разные темы. Из-во «Новое Русское Слово». Нью Йорк, 1956.

Как правильно указывает автор этой книги в своем предисловии к ней, газетные статьи — однодневки, и они скоро забываются. Но едва ли он прав, когда он в том же предисловии как бы извиняется за издание настоящего сборника. Оно оправдано прежде всего тем местом, которое занял М. Е. Вейнбаум в нашей зарубежной журналистике как публицист и как бесценный, в течение многих лет, руководитель «Нового Русского Слова», сейчас самой большой и самой распространенной газеты в русской эмиграции. Есть у М. Е. Вейнбаума и еще одно право на внимание со стороны русского читателя. Он приехал в Америку уже много лет тому назад и сейчас является одним из ветеранов среди «русских американцев». За эти годы он был свидетелем не только численного роста здешней русской эмиграции, но и роста ее удельного веса в общеэмигрантской общественной и культурной жизни. А одновременно — уже в мировом масштабе — происходил и неуклонный рост удельного веса и влияния Соединенных Штатов в международных отношениях. Так, волею судьбы, М. Е. Вейнбаум оказался в самом стратегическом пункте международной политики, в которой русская проблема занимает сейчас такое исключительно важное место — преимущество в наши дни для русского журналиста немаловажное.

Но конечно, не в одной только воле судьбы тут дело — важно то, что как публицист М. Е. сумел это свое преимущество использовать. Внимательный и вдумчивый наблюдатель, одинаково хорошо осведомленный в проблемах как русской, так и американской жизни, он знает, как рассказать о своих наблюдениях и передать свои мысли в точном, ясном и живом изложении. Все эти его качества читатели найдут и в статьях рецензируемого сборника. Содержание его достаточно разнообразно: оно включает в себя американские и европейские путевые впечатления, портреты и характеристики русских и американских политических и культурных деятелей, заметки о русских писателях и книгах и статьи по политическим вопросам.

В составлении сборника такого рода выбор материала всегда затруднителен, как на это опять же указывает сам автор. Но какой бы выбор ни был сделан, на все вкусы всё равно угодить нельзя. Мне, например, хотелось бы, чтобы в сборнике были статьи по русской политике Соединенных Штатов и очерки на темы из прошлого русской эмиграции Америки. У других читателей могут найтись другие пожелания. Но думаю, что все они будут признательны М. Е. Вейнбауму и за то, что он дал в этом сборнике.

М. Карпович

*ДВУХСОТЛЕТИЕ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. (1755-1955).
Празднование в Америке. Нью Йорк. 1956.*

Эта книга в честь двухсотлетия Московского университета издана по инициативе его последнего выборного ректора, проф. М. М. Новикова. Редакционная коллегия сборника — М. М. Новиков, К. Г. Белоусов, А. А. Гольденвейзер, Г. И. Новицкий и В. А. Юревич. В сборник вошли следующие статьи: проф. М. Новиков — «Традиция Московского университета», проф. Н. Арсеньев «Московский университет и духовное лицо русской культуры», К. И. Солнцев «Университет и правительственная политика», проф. Н. Тимашев «Потомство юбиляра», проф. Н. Лосский «Профессора философии Московского университета», проф. М. Карпович «Московские истории», проф. М. Поливанов «Историко-филологический факультет университета», Л. Сабанеев «Мои университетские воспоминания», проф. Л. Розенталь «Мои студенческие годы в Московском университете», д-р Г. Альтшуллер «Московский университет и русская медицина».

В статье «Традиции Московского университета» проф. М. М. Новиков дает исторический обзор академической жизни университета, начиная с времен, когда был выбран «первый его выборный ректор Харитон Андреевич Чеботарев, профессор истории, нравов, учения и красноречия». Далее М. М. Новиков останавливается на истории академической жизни всех факультетов университета, отмечая их выдающихся профессоров. Говоря о неизменной традиции академического свободомыслия, М. М. Новиков указывает также и на другую традицию — общественного служения, присущую деятелям Московского университета. Автор заключает свою статью личными воспоминаниями о его двадцатимесячном пребывании на посту последнего выборного ректора, которое закончилось отдаением его под суд за то, что он «не ликвидировал домашней университетской церкви», разгромом университетской автономии и, наконец, высылкой М. М. Новикова за пределы Советского Союза в 1922 году вместе с другими русскими учеными.

В статье «Потомство юбиляра» Н. С. Тимашев задается вопросом, каково же «потомство» Московского университета в наши дни? Охарактеризовав первые годы после октябрьской революции, когда «тяжелая рука коммунизма легла на университеты и другие высшие учебные заведения», Н. С. Тимашев считает, что в начале тридцатых годов положение начало меняться: «в 1932 г. был частично восстановлен авторитет профессоров... в 1938 г. было сильно сокращено преподавание марксизма-ленинизма... в 1935 г. было уже 25 университетов, а в 1951 г. — 34». «Количественный рост несомненен, — говорит Н. С. Тимашев, — но каково качество?.. В атмосфере несвободы падает качество научных изысканий, а вместе с ним и ка-

чество преподавания». Но в день двухсотлетия с начала русского университетского просвещения «естественно выразить надежду, — говорит Н. С. Тимашев, — что... придет время... и как родоначальник, так и разросшееся его потомство... восстановят во всей полноте служенье культуре, как то было до порабощенья внутренними варварами».

Н. О. Лосский в статье «Профессора философии Московского университета» останавливается на характеристиках Л. М. Лопатина, кн. С. Н. и Е. Н. Трубецких, Н. Я. Грота и М. М. Троицкого. В статье «Московские историки» М. М. Карпович характеризует профессоров-историков Московского университета, начиная с М. Т. Каченовского и кончая умершими в эмиграции А. А. Кизеветтером, П. Н. Милюковым и умершим в СССР Р. Ю. Виппером. Статья М. П. Поливанова посвящена воспоминаниям о историко-филологическом факультете. В ней автор говорит о Ф. Фортунатове, А. Шварце, Ф. Корше, В. Ключевском, В. Герье, П. Виноградове и других.

Статья д-ра Г. И. Альтшуллера посвящена «человеку, с именем которого связана вся русская медицина первой трети девятнадцатого столетия» — Матвею Яковлевичу Мудрову, положившему «основание той терапевтической школы, которая справедливо называется московской и которая позже была связана с именем Г. А. Захарьина». Проф. Л. С. Розенталь дал свои воспоминания о медицинском факультете Московского университета, с его профессорами — Зерновым, Сеченовым, Вернадским, Остроумовым, Спизарным, Мартыновым, Снегиревым и др.

Интересны также статьи проф. Н. Арсеньева о духовном лице русской культуры, воплощенном в традициях Московского университета, воспоминания о студенческих годах Л. Сабанеева и обстоятельный очерк о правительственной политике и Московском университете К. И. Солнцева.

В. Г.

ОТВЕТ НА ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ Ю. ДЕНИКЕ

Ю. Денике упрекает меня в двух ошибках, якобы допущенных в моем «Моцарте» (во всяком случае, эти ошибки его «поразили»). При всем желании, не могу согласиться ни с одним из его обвинений.

1. «Невосторженные» замечания Пушкина о Расине отменяются Ю. Денике слишком легко. К «напудренной Мельпомене» можно добавить много других: «План и характеры Федры верх глупости и ничтожества в изображении...», «Расин понятия не имел об создании трагического лица». Обе цитаты из письма к брату (1824), где, между прочим, Расину ставится в пример не кто иной, как Байрон (!). Неужели и эти высказывания «пренебрежительны только на первый взгляд» и «на самом деле таковыми не являются»? Прибавим к ним иронические замечания о дяде, предпочитающем Расина и Мольера Шекспиру и Кальдерону (Материалы к «Отрывкам из писем...»); заметку «Не думаю» на полях статьи Вяземского, где последний говорит о Расине, «победившем Корнеля» (1827); строки о том, что «нашему театру приличны народные законы драмы Шекспировой, а не придворный обычай трагедии Расина» (наброски предисловия к «Борису Годунову», 1827) или о том, что Расин «тешил короля заказными трагедиями» (О ничтожестве литературы русской, 1834). Да и в той же статье «О народной драме...», которой, как козырем, бьет меня Ю. Денике, сравнение с Шекспиром в дальнейшем развивается вовсе не в пользу Расина. Наконец, сами строки о «высоте недосягаемой» Расина — какие-то «неделовые», почти «непушкинские», вроде фраз из речей в День Русской Культуры, где в один присест называется с десятков гениев, к 90 процентам которых оратор глубоко равнодушен. В другом месте (уже упомянутое предисловие к «Борису») Пушкин называет Расина «гением», впрочем, без особого восторга, раза два-три упоминает его в почетных перечислениях и только раз, говоря о Расине, роняет слова «будучи истинным поэтом» (Письмо к издателю «Московского Вестника», 1827). Это единственная похвала Расину, где Пушкин звучит «по-пушкински», и странно, что как раз ее Ю. Денике и не вспомнил. Короче, можно было бы посоветовать мне заменить слово «не ценил» на «недооценивал», но тогда и Ю. Денике можно посоветовать не называть «ошибкой» того, что ею не является.

2. Не бесспорно и возражение Ю. Денике по поводу «Лакризмозы», хотя он и прибегает к такому авторитету, как А. Эйнштейн. Не знаю, достаточно ли Ю. Денике знаком с остальной литературой по Моцарту, но, конечно, не один Эйнштейн придерживается

такого мнения. Вот передо мной клавир «Реквиема» издания 1956 г., где Германн Кречмар (тоже видный специалист по Моцарту) так и пишет, что окончание «Лакримозы», после первых восьми тактов, принадлежит Зюсмайру. Были у Эйнштейна и предшественники. De Wyzewa и de St.-Foix шли еще дальше в оспаривании авторства Моцарта, а критик Готфрид Вебер вообще отрицал подлинность «Реквиема», за что и удостоился замечания на полях самого Бетховена: Du, Erzesel! Но дело в том, что наличие в Венской Библиотеке только восьми тактов «Лакримозы» в рукописи Моцарта (почерк которого, кстати, удивительно напоминает Зюсмайров) доказывает только то, что сохранилось восемь тактов. Это вовсе не доказывает, что он не написал остальных. Я, впрочем, в своем утверждении исходил не из подсчета тактов. К тому же, по новейшим исследованиям Зиверса, Моцарт и оборвал-то на двенадцатом, а не на восьмом. Я надеялся на одно мое несовершенное ухо, которое до сих пор твердит мне, что вся «Лакримоза» написана Моцартом. Вслушивание — метод ненадежный, но ведь не один Бетховен основывал на нем и единственно на нем свои суждения, вроде вышеприведенного резкого возражения Веберу. Сам талантливейший, но капризный и arrogantный Эйнштейн, когда это ему удобно, насмехается над фактами (см. его замечания о мертвых тактах появления Сузанны во II акте, стр. 433 английского перевода 1945 г.). Впрочем, на моей стороне тоже не одно вслушивание, а и некоторые факты, весьма достойные внимания. В сообщении певца Шака, приведенном Ниссенем, вторым мужем Констанцы, говорится, что 4-го декабря, за день до смерти Моцарта, к нему заходили друзья. Моцарту была подана партитура в постель и они четвером пели (Моцарт альт, Шак сопрано) не что иное, как «Лакримозу», которую Моцарт, вдруг разрыдавшись, оборвал. Не пели же они только восемь тактов, там всего-то тридцать. Да и незачем было подавать партитуру в постель из-за восьми тактов. Вся эта история прекрасно знакома всем, кто хоть немного интересуется Моцартом, и упоминается почти повсюду. Известно также, что в тот же вечер у Моцарта был Зюсмайр, который получал указания, как кончать «Реквием». Даже если имелось всего восемь тактов, подробно рассказать, как кончить, Моцарт вполне мог, да наверное с «Лакримозы» и начал, если она (предположим) была прервана в середине работы да еще несколько часов тому назад пелась и, повидимому, была любимой частью «Реквиема» у Моцарта (а если так, то он опять-таки должен был постараться кончить ее). Наконец, не все музыковеды разделяют точку зрения Эйнштейна-Денике. Эрик Блом, например, в своей знаменитой книге пишет: «Нужно помнить, что

мы никак не можем знать, сколько набросков на отдельных листках было сделано Моцартом и уничтожено его учеником, когда он закончил партитуру» (издание 1935 г., стр. 178). Германн Аберт, автор двухтомной монографии о Моцарте (последнее издание, Лейпциг, 1956), пожалуй, подробнее всех (а по утверждению Словаля Гров и лучше всех) разбирает историю написания «Реквиема». И он пишет: «Авторство Зюсмайра вовсе не так бесспорно... последнее слово по этому трудному вопросу еще не произнесено» (стр. 718). Тот же Аберт, разбирая «Лакримузу», видит в ней «моцартовское величие» и «единство» и «после того, как рукопись Моцарта обрывается» (там же). После тщательного анализа Аберт именно в развитии «Лакримузы» и находит настоящего Моцарта и вещи, не свойственные творчеству Зюсмайра. Только оркестровка возбуждает у него сомнения (стр. 719). Вывод Аберта: «Надо предположить, что или он (т. е. Зюсмайр. В. М.), развивая «Лакримузу», превратился из таланта в гения, или же согласиться, что он пользовался набросками Моцарта, что соответствует как природе вещей, так и сообщению Шака».

Не скрою, когда я писал «Моцарта», то, не будучи специалистом в музыке, ожидал не одного ляпсуса. Но если самые серьезные «ошибки» указаны Ю. Денике в его письме, мне дышится свободнее.

В. Марков.

ПОПРАВКИ К КНИГЕ 47 Н. Ж.

- Стр. 154, 18 строка сверху: Надо: «читатели» вместо «читателей».
 Стр. 172, 1 строка сверху: Перенести слова «Но я тогда была уже не в Саратове» в 3-ю строку, перед словами «Потом слышала...».
 Стр. 246, 12 строка снизу: Между «приводящие к» и «Джано де ла Белла» должно быть «революции».

Мы продолжаем печатание

НЕИЗДАННЫХ ПИСЕМ А. И. ГЕРЦЕНА

к Н. И. и Т. А. Астраковым.

Письма приготовлены к печати Л. Л. Домгером.

Начатые печатанием в 46 кн. Н. Ж. письма эти печатаются с особой пагинацией. По окончании их публикации письма выйдут отдельным изданием. РЕД.

КНИГА 46-я. *М. Иваницков* — Заговор. *Вл. Корвин-Пиотровский* — Золотой песок (поэма). *И. Красуский* — Утренница. СТИХИ: *Н. Берберова, В. Набоков-Сирин, А. Присманова, Л. Алексеева, А. Гингер.* ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: *В. Александрова* — Сов. литература после XX съезда КПСС. *Ю. Иваск* — Батюшков. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: *Н. Валентинов* — Встречи с А. Белым. *А. Гумилева* — Н. С. Гумилев. *М. Шнееров* — Воспоминания об Азефе. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: *Д. Анин* — Проблема «дебольшевизации». *М. Вишняк* — Перечитывая Хрущева. *С. Зеньковский* — Россия и турки. *А. Боголепов* — Государственная Дума. *М. Карпович* — Комментарии. О воспоминаниях Ф. А. Степуна. — К семидесятилетию *М. А. Алданова.* БИБЛИОГРАФИЯ: *М. Поливанов* — По поводу книги А. В. Карташева «Воссоздание Св. Руси». *Ю. Елагин* — S. Bertenson and J. Leyda. S. Rachmaninoff. *М. Гофман* — Бар. Л. Врангель. Семья Раевских. *М. Карпович* — Г. Струве. Русская литература в изгнании. *И. Ульянов* — Н. Кодрянская. Глобусный человек. ПРИЛОЖЕНИЕ: Неизданные письма А. И. Герцена под редакцией *Л. Л. Домгера.*

КНИГА 47-я: *Г. Андреев* — Трудные дороги. *Г. Евангулов* — Игра. СТИХИ: *А. Величковский, Олег Ильинский, А. Гингер, А. Горская, Н. Дудорова.* ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: *Прот. В. Зеньковский* — Эстетические воззрения Вл. Соловьева. *Зоя Юрьева* — О творчестве И. Виттлина. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: *Ю. Анненков* — Об Александре Блоке. *Н. Валентинов* — Встречи с Андреем Белым. *Ек. Кускова* — Давно минувшее. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: *Н. К. Метнер* — Мысли о музыке. *Ю. Делике* — Два кризиса. *Н. Ульянов* — «Патриотизм требует рассуждения». *М. Вишняк* — Вторжение в Египет и ООН. *Г. Федотов* — Об утопии Данте. *М. Карпович* — Комментарии. М. Алданов и история. БИБЛИОГРАФИЯ: *Ю. Иваск* J. Vescharov. Imagery of the Igor's Tale. *Ю. Елагин* — Н. Горчаков. История советского театра. *Г. Струве* — Д. Кленовский. Неуловимый спутник. ПРИЛОЖЕНИЕ: Неизданные письма А. И. Герцена к Н. И. и Т. А. Астраковым под ред. *Л. Л. Домгера.*

"Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л"

под редакцией М. М. КАРПОВИЧА

ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ



В 1957 году выйдет ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная цена по 1 дол. 75 цент. за книгу,
т. е. 7 долларов за 4 книги с пересылкой.

Цена одной книги — 2 доллара

Во Франции — 400 франков, в Германии — 4 марки,
в Бразилии — 50 крузейро



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, 2700 Broadway
New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: МО-6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме
праздников и суббот, от 4-х до 5-ти час. дня
